

# НОВЫЙ Журнал

XXXIV

Нью-Йорк



# Новый Журнал

---

THE  
NEW REVIEW



*Основатель М. ЦЕТЛИН*

*Двенадцатый год издания*

**Кн.  
XXXIV  
1953**

*Редактор М. М. КАРПОВИЧ*

*Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ*

*Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО*

Printed in U. S. A.  
RAUSEN BROS.  
417 Lafayette Street  
New York 3, N. Y.



## О Г Л А В Л Е Н И Е :

<i>Ив. Бунин</i> — Каир (стихотворение) .....	5
<i>Г. Газданов</i> — Пилигримы .....	6
<i>Г. Альтшуллер</i> — Дело Тверитинова .....	52
<i>Вл. Корвин-Пиотровский</i> — Рассказ пожилого человека .....	83
<i>А. Ремизов</i> — В сырых туманах .....	88
СТИХИ: — Н. Берберовой, Н. Бренера, А. Браиловского, А. Величковского, Ивана Елагина, И. Легкой, И. Чиннова	116
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
<i>Н. Ульянов</i> — Об историческом романе .....	124
<i>А. Конский</i> — Бернгард Беренсон .....	139
<i>А. Ольховский</i> — Творческий путь С. С. Прокофьева .....	153
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Протопресвитер Г. Шавельский</i> — Николай II-й в ставке ..	172
<i>В. Зензинов</i> — Февральские дни .....	188
<i>Н. Витов</i> — Рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР .....	212
<i>В. Страхова-Эрманс</i> — Воспоминания о Шалапине .....	242
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Владас Станка</i> — Мрак и свет экзистенциализма .....	254
<i>М. Вишняк</i> — О социализме, неосоциализме и неолиберализме .....	269
<i>Ю. Денике</i> — Социализм и хозяйственная демократия ....	279
<i>М. Карпович</i> — М. И. Ростовцев и А. А. Васильев .....	287
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:	
<i>А. Родичева</i> — Ф. И. Родичев и П. А. Столыпин .....	294
<i>М. Вишняк</i> — Для истории .....	296
БИБЛИОГРАФИЯ .....	298
<i>Д. Анин</i> — "Through the Glass of Soviet Literature". <i>П. Ершов</i> — Б. Зайцев «Древо жизни». <i>М. Коряков</i> — G. Bernanos "La liberté, pour quoi faire?" <i>Георгий Иванов</i> — Р. Гуль «Конь рыжий». <i>В. К.</i> — F. Rounds "A Window on Red Square". <i>Б. Ольшанский</i> — П. Пирогов «За курс!». <i>Н. Р.</i> — Кн. О. Трубецкая «Кн. С. Н. Трубецкой». <i>Роман Гуль</i> — Л. Ржевский «Между двух звезд» и Р. Березов «Далекое и близкое». <i>Ю. Маклейн</i> — M. Slonim "Modern Russian Literature". <i>Прот. А. Шмеман</i> — "Russische Heiligenlegenden". <i>В. Петров</i> — Herman Wouk "The Caine Mutiny". <i>З.</i> — «Вестник Инст. по изуч. истории и культуры СССР».	



## КАИР

В жарком золоте заката Пирамиды,  
Вдоль по Нилу, на утеху иностранцам,  
Светят в воду шолком парусные лодки  
И бежит с Луксора белый пароход.  
Это час, когда повсюду пальмы чётки  
И в Каире окна блещут алым глянецом  
И Хедив в ландо катается и гида  
Отдыхают по кофейням от господ.

А сиреневые дали Нила к югу,  
К дикой Нубии, к Порогам, смутны, зыбки  
И все так же миру чужды, заповедны,  
Как при Хуфу, при Камбизе... Я привез  
Лук оттуда и колчан зелено-медный,  
Щит из кожи носорога, дротик гибкий,  
Мех пантеры и суданскую кольчугу,  
Но на что всё это мне — вопрос.

1912-1953 гг.

Ив. Бунин

---

Это стихотворение — новый вариант старого стихотворения  
И. А. Бунина. Ред.

## ПИЛГРИМЫ\*

Андрэ Бертэ, единственный человек, с которым Роберт хотел поговорить и с мнением которого он считался, был в отъезде. Роберт знал, что его отец вел переговоры в Англии и в Испании и что он вернется не раньше, чем через десять, двенадцать дней. Он ждал его с нетерпением. За это время он два раза обедал дома, вдвоем с матерью; она небрежно спрашивала его, как он поживает и что делает, но невнимательно слушала его ответы и была занята как всегда своими постоянными заботами о здоровье, диетой, докторами, новыми лекарствами, словом, тем, чем она занималась много лет. Но даже она, при всем своем отсутствии интереса к жизни собственного сына, заметила то новое выражение, которое появилось в лице Роберта. Она, впрочем, истолковала это по своему.

— У меня такое впечатление, что ты как-то изменился — сказала она в конце обеда. — Нет, вы же знаете, что я никогда не пью кофе — заметила она горничной, которая по ошибке подошла к ней с кофейником. — Скажи, милый друг, ты действительно хорошо себя чувствуешь? Ты знаешь, болезнь иногда тебя сваливает сразу, но иногда она подкрадывается незаметно и когда ты спохватишься, бывает слишком поздно. Так было с моей школьной подругой, Дениз, — ты ее помнишь? И я была единственной, которая ее своевременно предупреждала, но она не хотела даже слушать то, что я ей говорила, она была тогда увлечена какой-то там любовью. А результат ты знаешь: мы похоронили ее два года тому назад.

— Да, да — рассеянно сказал Роберт. — То есть я хочу сказать, что в данном случае дело обстоит не так, я прекрасно себя чувствую, лучше, чем когда-либо.

---

\* См. кн. 33 «Нов. Журнала».

Соланж покачала головой.

— Вспомни Дениз — сказала она опять.

Роберт прекрасно помнил Дениз, худенькую, моложавую женщину с огромными глазами, *la Grande Amoureuse*, как ее называли те, кто ее хорошо знал. Он помнил ее родинку в левом углу накрашенного рта, ее легкие движения, быструю походку и голос, в котором всё время точно слышался сдержанный смех. Она четыре раза была замужем, жила шумно и беспорядочно, в постоянной и совершенно неразрешимой сложности своих любовных отношений с разными людьми и если вообще существовало что-либо, что ей было абсолютно чуждо и представление о чем никогда, казалось бы, не могло возникнуть при мысли о ней, это возможность чего бы то ни было трагического во всем, что касалось ее. Но однажды, уехав на автомобиле за город с тем, кто должен был стать через некоторое время ее пятым мужем, она внезапно умерла в номере провинциальной гостиницы от какого-то чрезвычайно короткого и страшного припадка, который продолжался всего несколько часов. Из двух врачей, присутствовавших при ее последних минутах, — лицо ее потемнело, она не приходила в себя, — ни один не мог определить, от чего, собственно, она умерла. Было объявлено, что произошло мгновенное заражение крови, совершенно необъяснимое, — и причину которого знала только Соланж Бертье, — вероятно потому, что она никогда не сомневалась в правильности своих суждений и потому, что она ничего не понимала в медицине. И Роберт ничего не возразил матери, поступив так же, как поступал в таких случаях его отец. И так же, как его отец, он понимал, что они оба так бережно относились к ней потому, что каждый из них любил в ней не эту блеклую Соланж со своими надоедливими и вздорными рассуждениями о болезнях, а те воспоминания, которых не существовало бы без нее и которыми они были обязаны именно ей и только ей: Роберт — о своем детстве, Андрэ — о своей молодости. Тогда она была другой; и они продолжали ее любить такой, какой она была тогда и против этой любви было бессильно время и те изменения в ней, которые оно принесло с собой.

Эти первые две недели, проведенные с Жаниной, были наполнены для Роберта той значительностью, которой он так тщетно искал раньше и которой не находил ни в чем. Он засыпал рядом с Жаниной и просыпался с мыслью о ней, так, как если бы она была далеко, — в то время, как их кровати разделяло расстояние нескольких сантиметров. Он никогда столько не говорил как в эти дни, объясняя ей множество вещей, о которых она ничего не знала, потому что в том мире, откуда она пришла, их не существовало. Днем он водил ее в Булонский лес или возил на автомобиле за город и в течение всего этого времени он не прочел ни одной строки, что тоже случилось с ним первый раз в жизни.

Всё его внимание было сосредоточено на мысли о ней. Несмотря на то, что ему бессознательно льстило ее обожаение, несмотря на то, что он всякий раз испытывал непонятное волнение, когда она останавливала на нем свои широко открытые глаза и было совершенно очевидно, что она искренно считает его высшим существом, несмотря на непреодолимое тяготение к ней, вне которого он не представлял себе в данный момент своей жизни, он не мог не понимать, что между ним и Жаниной было огромное расстояние и что просто пренебречь этим нельзя. В сотый раз он думал о том, что, может быть, творческое напряжение, необходимое для того, чтобы приблизить к себе Жанину и добиться ее хотя бы приблизительного равенства с собой, — что это напряжение окажется ему не под силу. Он никогда до сих пор не задумывался над тем, имеет ли его собственный умственный и культурный багаж какую-либо ценность и был бы склонен скорее полагать, что она, в сущности, незначительна. Но сейчас этот багаж мешал ему. Он думал о Жоржетте и о наивной ее невежественности во многом; но все-таки, даже сравнение Жанины с Жоржеттой было невозможно. Он утешал себя тем, что с чисто социальной точки зрения Жанина была более приемлема, чем многие его знакомые, принадлежавшие к его кругу и с которыми он не мог найти общего языка, потому что они были в культурном смысле малограмотны и душевно примитивны.

Но он не заметил того, что за это время Жанина — с необыкновенной легкостью — изменилась так, как этого от нее требовали те неожиданные обстоятельства, в которых она оказалась. Во всем, что происходило теперь, не было ничего, что она знала бы раньше и то, с чем она сталкивалась, возникало для нее впервые. Это было похоже на кинематограф, с той разницей, что там это касалось каких-то почти отвлеченных красавиц, а здесь была она сама, Жанина, дочь венгерского портного и французской поденщицы. И всё это исчезало в том стремительном и безвозвратном движении, которое меняло всё и не оставляло времени даже чтобы обернуться и постараться понять, когда и как это началось и почему это стало возможно. В те редкие часы, когда она оставалась одна и смотрела на себя в зеркало, она не узнавала своего собственного лица. У нее потемнели и углубились глаза и в них появилось выражение, которого она не могла определить сама и которое, вероятно, показалось бы чужим и далеким для всех, кто так хорошо знал ее раньше, для матери, деда, бабушки и даже может быть для сумасшедшего аббата, если бы он остановил на ее лице свой дикий взгляд из под мохнатых, седых бровей.

Но в отличие от Роберта, никогда не думавшего о том, что непосредственно предшествовало появлению Жанины в его жизни, она не могла ни на один день забыть о rue St. Denis и о страшном лице Фреда, которое всё время преследовало ее. Она боялась его больше всего на свете. Она знала со слов тех, кто ей говорил о нем, что человеческая жизнь для него не играет роли, что ему неизвестно чувство страха и что он сам глубоко убежден в своей собственной необыкновенности, в том, что ему предстоит исключительная судьба и нет препятствий, которые могли бы его остановить. Так ей о нем говорили. Но сама она ничего не знала об его прошлом, — ни кто он был, ни откуда он появился и это только усиливало ее ужас перед ним. Если вдруг ему удастся найти ее след и обнаружить ее теперешнее местопребывание, то тогда... Каждый день она собиралась незаметно уйти, вернуться на rue St. Denis и избавить Роберта от угрозы, которая нависла над

ним. Но у нее не хватало сил это сделать. Она смутно надеялась сама не зная на что, но чаще всего у нее было томительное ощущение временности и хрупкости ее теперешней жизни. И то, чего она не знала, — это, что сознание ежедневной опасности и готовности к тому, что это может насильственно и страшно оборваться каждую минуту, придавало ее чувству к Роберту ту зыбкую глубину и то душевное изнеможение, которых не было бы, если бы рядом с ними не было мысли о смерти.

Жанина тоже думала о неравенстве между ней и Робертом, но думала об этом с восторженностью. Она никогда не представляла себе, что могут существовать такие люди, как он: Он всё знал, мог ответить на любой вопрос, всё читал, видел и понимал; в его обращении с ней была мягкость, которой она тоже до сих пор не встречала — в его движениях, в интонациях его голоса, во взгляде его глаз, в его постоянной сдержанности. И только в редкие минуты, когда она ощущала, обнимая его шею руками и приблизив к нему свое лицо, прикосновение его твердого тела, его губы вдруг начинали вздрагивать, выдавая его волнение. Она смотрела в его глаза и не смела повторить ему того, что она сказала ему в первый день: что она боится за его жизнь и что даже эта боязнь не может ее оторвать от него. Ей казалось, так же, как ему, что это самый важный период ее жизни, и в конце концов, по сравнению с пониманием этого, всё остальное теряло на минуту то значение, которое должно было иметь.

Андрэ Бертье вернулся в Париж после пятнадцатидневного отсутствия. Роберт позвонил ему на квартиру и когда он услышал, наконец, этот голос, который он так хорошо знал, у него внутри что-то дрогнуло, как это бывало с ним в детстве после очередной провинности.

— Да, да, приезжай ко мне на фабрику, часа в три.

Фабрика Бертье была далеко за городом, на берегу реки. Роберт проехал по набережной мимо ровно посаженных каштановых деревьев и остановил автомобиль против окон директорского кабинета. Через две минуты он увидел отца, сидевшего за столом в своем всегдашнем вращающемся кресле.

Он чувствовал непривычное волнение и впервые за долгое время не знал, с чего начать. Но он не успел еще ничего произнести. Андрэ Бертье поднялся с кресла, взял его за плечи, посмотрел ему в лицо и спросил:

— Что-нибудь случилось? А?

— Да — сказал Роберт неуверенным голосом. — Я всё это время ждал твоего приезда и никогда еще так не жалел о твоем отсутствии, как теперь.

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо сказал отец. — Ты только скажи: всё благополучно?

— Да, конечно.

— Но что-то произошло, о чем тебе трудно говорить? Какая-нибудь темная история? Это на тебя не похоже.

— Я тебе просто расскажу всё по порядку — сказал Роберт. — На следующий день после твоего отъезда...

Когда Андрэ Бертье слушал рассказ сына, в его глазах стояло то выражение далекой насмешки, которое почти неизменно появлялось в них каждый раз, когда Соланж говорила о медицине. Кончив рассказ, Роберт замолчал и вопросительно посмотрел на отца.

— Хорош, милый мой, хорош — сказал Андрэ Бертье. — Так вот, если ты хочешь знать мое мнение, то я нахожу, что кажется, первый раз за всё время ты поступил как живой человек, а не как ходячая библиотека. Я не хочу этим сказать, что ты действовал очень умно или очень хорошо. В частности то, что с тебя должна была начинаться ее карьера, звучит настолько глупо и невероятно, что, повидимому, это, действительно, правда. Но из всякого положения есть выход. И ты знаешь, что ты всегда можешь рассчитывать на меня.

Он задумался на минуту, потом сказал:

— Я приду к тебе завтра обедать.

Он протянул руку к телефону, который звонил уже несколько секунд, но на который он до сих пор не обращал внимания.

— И пусть она приготовит курицу.

Когда Роберт после прощанья с отцом подходил к своему автомобилю, он вдруг сам заметил, что насвистывает венский

вальс. У него было необыкновенно легко на душе. Все было так, точно он избавился от смутного сознания своей ответственности за то, что произошло с ним, — хотя это сознание появилось у него только вчера, когда он звонил отцу, до этого его не было. Отец сказал ему, что он одобряет его поведение и берет на себя устранение тех трудностей, которые могли бы возникнуть. Он, правда, не сказал ничего похожего на это, но это было очевидно, настолько очевидно, что венский вальс был звуковым подтверждением этого. Он ехал домой, не замечая дороги, не видя улиц и почти не зная того, что уже давно идет довольно сильный дождь.

Когда он отпер ключом дверь, Жанина, — он знал, что это не могло быть иначе, — стояла почти на пороге и он сразу увидел ее расширенные глаза.

— Ну, что? — спросила она почти неслышным от волнения голосом.

Он, не отвечая, обнял ее талию и насвистывая все тот же вальс, стал кружиться с ней по комнате.

— Ты с ума сошел — сказала она, смеясь. — Я тебя спрашиваю о серьезных вещах.

Но он продолжал свистеть, заставляя ее следовать за собой в танце. Потом он остановился и сказал:

Нет ничего хуже ковра, когда танцуешь.

Ответь мне на мой вопрос.

Хорошо. Ты умеешь жарить курицу?

Какое это имеет отношение к тому, о чем я тебя спрашиваю?

— Самое непосредственное — сказал Роберт. — Завтра вечером мой отец обедает у нас и он просил меня передать тебе, что ему хотелось бы есть жареную курицу.

— Боже мой! — сказала она, опускаясь в кресло. — Я умру от страха, Роберт.

Но на следующий день все прошло благополучно. Жанина, которая действительно испытывала неподдельный страх при одной мысли о встрече с отцом Роберта, вначале говорила едва слышно, но потом оправилась: Андрэ Бертье обращался

с ней так, точно они были давно знакомы. И когда после обеда они переходили из столовой в кабинет и он обнял одной рукой плечи сына, другой плечи Жанины, она почувствовала к нему необыкновенное доверие и последние следы ее боязни исчезли.

В течение всего вечера разговор ни разу ни коснулся того самого важного вопроса, из за которого Андрэ Бертье приехал обедать к сыну. Он рассказывал смешные истории о своем заводе, о рабочих, о сенаторе Симоне и быстрые его глаза переходили с Жанины на Роберта. Когда была подана курица, он стал говорить о вегетарьянцах, до этого он смеялся над Робертом и его книгами — в общем было впечатление, что этот человек пришел обедать к хорошим знакомым, к которым он искренно расположен и что во всем этом нет ничего ни особенного, ни значительного.

Но когда Роберт вышел его провожать, он видел, что лицо отца стало серьезным. Они прошли молча несколько шагов. Бертье сказал:

— Да, в ней что то есть. В ранней молодости такой была твоя мать. Я не говорю, конечно, о внешнем сходстве.

Роберт кивнул головой. Бертье, поняв причину его молчания, прибавил:

— Я хочу сказать следующее: есть сравнительно мало женщин, при виде которых ты рискнешь подумать — с ней могу связать мою жизнь. Понимаешь? В хорошем и плохом.

— Я об этом не думал — сказал Роберт откровенно.

— Неудивительно. А я подумал сразу же. Я могу ошибиться в расчете. Но не во впечатлении, понимаешь?

— Я все время чего то боюсь — сказал Роберт, — хотя ей об этом, конечно, не говорю. Я не знаю сам, чего именно, какой то катастрофы, которой я не могу определить. Вдруг она выйдет на улицу и попадет под автомобиль, как ее отец. Кроме того, я боюсь еще, что в один прекрасный день она уйдет из дому и не вернется, чтобы избавить меня от той опасности, которую она так преувеличивает.

Они дошли до угла и повернули обратно.

Если все будет благополучно, то в дальнейшем мы постепенно устроим разные вещи — сказал Бертъе. — В сущности, никто не обязан знать ее биографии, в которой, кстати нет ничего плохого, — кроме эпизода с Фредом, конечно. В остальном...

Он пожал плечами.

— Торопиться вообще ни с чем не следует. Ты мог бы уехать с ней в провинцию или в путешествие. Но это потом будет виднее.

Затем прибавил:

— А бояться не нужно, это бесполезно. Нужно знать, чего ты хочешь и быть готовым это защищать. Это может быть не Бог весть какая философия, но этому меня научила моя жизнь.

И когда он уже сел в автомобиль и Роберт стоял у дверцы, он вдруг сказал:

— Разница между ней и тобой, конечно, большая. И ты ее не сгладишь, я думаю, никогда. Но может быть, это не так плохо, как кажется.

Когда Роберт вернулся, она ждала его у порога, как всегда. Он отворил дверь, увидел ее лицо, ее фигуру в синем платье, вспомнил о той, какой она была, когда он встретил ее впервые на Rue St. Denis, — ее клетчатую короткую юбку, испуганные глаза, сдавленный голос, — и подумал, что самая властная сила в мире, это сила случая, не поддающаяся ни предвидению, ни определению. Он смутно думал о том, ощущая на своих щеках прикосновение ее теплого лица и глядя в ее глаза, которые были так близко, что он видел только их цвет и их дрожащую влажность.

Прошло еще несколько дней. Он ездил в город вместе с Жаниной, они делали покупки в магазинах, по его настоянию она заказала себе четыре платья и выбрала купальный костюм, потому что подходило лето и он сказал ей, что они поедут к морю. И он не обратил особенного внимания на то, что когда они выходили из магазина на Rue Lafayette и когда он отпер

ключом дверцу своего автомобиля, полицейский огромного роста, прохаживавшийся по тротуару, сказал ему с улыбкой:

— Есть все-таки любители чужих автомобилей, *monsieur*. Только что один такой тип очень внимательно осматривал вашу машину, вероятно ему кузов понравился. Но на его счастье он во время обернулся и увидел меня. После этого он не задерживался.

Роберт пожал плечами и сказал:

— Значит мне на этот раз повезло.

На следующий день он с утра уехал в Латинский квартал, где купил несколько книг для Жанины, именно тех, которых не было в его библиотеке и которые по его мнению были ей нужны. Он вернулся в начале двенадцатого, вошел в квартиру и вдруг сразу остановился на месте. Потом он прислушался. Стояла тишина, которая почему то показалась ему тревожной. У него сразу пересохло во рту от волнения, он проглотил слюну и крикнул:

— Жанина!

Ответа не было. Он быстро прошел в одну комнату, в другую, в ванную, в кухню. Жанины не было нигде. Он вошел в кабинет — и почувствовал незнакомую ему боль в левой стороне груди: посередине стола лежал лист бумаги, на котором он увидел подпись Жанины. Он несколько раз, не понимая, прочел эти строки. Это было, конечно, именно то, чего он боялся. Она писала, что она уходит потому что не может перенести того, что его жизнь подвергается ежедневной опасности из за нее. Она прибавляла, что хотела бы ему сказать еще очень много, но слезы мешают ей писать и она боится, что он может вернуться каждую минуту и она знает, что второй раз у нее не хватит силы принять это решение.

Он простоял несколько секунд неподвижно. Потом у него начали трястись плечи. Наконец, он закрыл глаза, набрал воздуха в легкие, подошел к телефону и позвонил отцу. Голос Бертье сказал:

— Алло, я слушаю.

Роберт не мог произнести ни слова. Через секунду тот же голос повторил с нетерпеливой интонацией:

— Алло, я слушаю.

— Это я, папа, — сказал Роберт.

Голос Андрэ Бертье опять изменился, сделавшись глубже и мягче.

— Да, мой милый. В чем дело?

У Роберта опять спазматически сжалось горло. Через секунду он сказал без всякой выразительности:

— Жанина ушла сегодня утром.

Последовало короткое молчание. Потом Бертье ответил:

— Этого надо было ждать. Приезжай немедленно ко мне.

---

Сенатор Симон, кутаясь в теплый мохнатый халат, пил кофе утром один, как всегда, в своей огромной столовой, где его невысокая фигура совершенно терялась среди больших стульев, громадного стола, покрытого бесконечно длинной скатертью, и потолков, почти пропадавших вверху. Утренние часы были для него самыми неприятными — потому что он плохо спал, потому что он сам отчетливо чувствовал свой собственный старческий запах размякшего за ночь тела, потому что у него всё болело, голова, грудь, поясница, и еще потому, что именно утром он находился в таком состоянии, вспоминая о котором он говорил иногда очередному собеседнику:

— Да, да. И если вы дадите себе труд немного подумать, вы увидите что человеческая жизнь, в сущности, некрасивая штука.

И для того, чтобы так говорить, у него были, конечно, совершенно достаточные основания, так как, высказывая это суждение общего порядка, он каждый раз имел ввиду именно свою собственную жизнь. Он, однако, давно забыл то далекое время, когда он был почтовым чиновником в маленьком провинциальном городе и когда никто не мог бы предсказать карьеры, которая была ему суждена.

Сначала он был выбран муниципальным советником. Через год он был помощником мэра. Еще через три года, истратив на выборную кампанию свои последние сбережения, —

как он говорил об этом всем, — он стал депутатом. Дальнейшее разворачивалось автоматически, почти не встречая препятствий. Он никогда не отличался преувеличенным честолюбием и поэтому к нему относились терпимее, чем к другим. Чисто политические вопросы его не интересовали в такой степени, чтобы ради них поступиться какой либо непосредственной выгодой. Его продвижению не мешали никакие сильные страсти: он не был игроком, был почти равнодушен к женщинам, не любил и не понимал скачек, пил в умеренном количестве красное вино и полагал, что существующий порядок вещей достаточно хорош уже хотя бы потому, что он обеспечивал ему, Пьеру Симону, ту жизнь, которую он вел и которая могла бы только ухудшиться, если бы произошло какое либо изменение этого порядка. Когда он выставлял свою кандидатуру в депутаты, вопросы общего порядка не играли для него никакой роли; это было долгосрочное коммерческое предприятие, не сопряженное ни с риском, ни с угрозой банкротства, ни с опасностью переутомления. За все годы своего пребывания в парламенте он не произнес ни одной речи, если не считать тех застольных и очень коротких тостов, которые были обязательны для банкетов и содержание которых было всегда одним и тем же: мы принимаем близко к сердцу интересы такой то корпорации и принципы, определяющие нашу политику, остаются неизменными — жизненное благополучие народа и защита наших национальных достижений. В молодости он любил банкеты, теперь они утомляли его. Уже много лет тому назад он потерял способность предпочитать одно блюдо другому. Он постоянно ощущал во рту всевозможные неприятные привкусы, — то мыла, то зубной пасты, то непонятно как возникшую горечь дегтя и каждый раз все, что он ел, отзывалось именно зубной пастой, мылом или дегтем. Врач объяснил ему, что это происходит от недостаточно интенсивного действия печени. Но так или иначе, это было чрезвычайно неприятно и повлекло за собой исчезновение целой области ощущений, которая доставляла ему столько удовольствия в прежние времена. Этого он не предвидел, того, что было характерно для теперешнего периода его жизни: именно, что в результате многолетних

и иногда довольно сложных финансовых комбинаций, составив себе крупное состояние, он будет лишен возможности жить по человечески, без этих мучительных ощущений, которые отравляли ему существование. Он прекрасно понимал, что это было в известной мере естественно для его возраста, но все-таки это казалось ему несправедливым и главное, незаслуженным. Он не мог об этом думать без раздражения особенно потому, что член той же финансовой комиссии сената, что и он, и его соперник Рибо, который проиграл несколько состояний на скачках и беспечно прожил бурную и беспорядочную жизнь, этот Рибо был теперь так же свеж и весел, так же щелкал пальцами и языком и так же говорил о блондиночках и ресторанах, как тридцать лет тому назад. Все, что всегда доставляло Симону неизменное удовлетворение — то, что он соглашался числиться членом правления в таком то коммерческом предприятии, куда он являлся раз в полгода на четверть часа и получал ежемесячное жалованье, превышавшее его депутатский оклад, то, что ему платили крупный гонорар за право поставить его подпись под статьей об основных принципах экономического либерализма, статьей, которой он даже не читал, то, что он делался, в нарушение этих же принципов, владельцем известного количества тех или иных акций, — одним словом, почти все, что составляло главный интерес его жизни, было как то незаконно скомпрометировано этой глупейшей печенью, почками, и еще десятком других явлений этого же порядка, тех самых, которые в такой идеальной степени отсутствовали у Рибо. И когда Рибо скорострительно умер от удара, после завтрака, у себя на квартире, Симон почувствовал нечто вроде удовлетворения, хотя не был злым человеком по природе и хотя понимал, что смерть Рибо никак не может восстановить правильного действия печени или заставить исчезнуть мыльный привкус во рту. И своему соседу в сенате он сказал:

— Что вы хотите, этот человек прожил беспорядочную жизнь. За такие вещи расплачиваются дорогой ценой.

Но когда сенатор повернулся к нему, Симон понял, что его фраза не могла быть оценена, так как увидел, что в этот день его сосед опять забыл дома свой слуховой аппарат, без

которого мир представлялся ему чем то похожим на огромное, но совершенно беззвучное движение.

Вернувшись домой в день смерти Рибо, он снова вспомнил о нем и потом стал думать о том, что стало со многими людьми, которые были ему близки когда-то, в начале его карьеры. Он вспоминал фамилии дельцов, с которыми был некогда связан, финансовые скандалы, газетные разоблачения, аресты, допросы. Обычно эти люди, проведя известное время в тюрьме, потом всетаки опять появлялись, чаще всего в провинции и держались в тени. Потом они умирали от старости или болезни и над их могилами ставили мраморные памятники. Все это было закономерно и в этом можно было усмотреть проявление какого то трудно определимого, но несомненно иерархического принципа. Но Симон никогда не был теоретиком и говорил, что предпочитает иметь дело с положительными понятиями, в которых есть реальное содержание, а не с абстракциями, как бы они ни назывались; и не будучи силен в терминологии, он ошибочно называл это позитивизмом. Он не отдавал себе отчета в том, что он склонен сам, именно он, Пьер Симон, к иллюзии и отвлеченности — потому что деньги в его представлении имели мистическую ценность, которая совершенно не соответствовала действительности и не могла ей соответствовать ни в каких обстоятельствах. Он бессознательно придавал им это мистическое значение и поэтому ему казалось, что в его личной судьбе было нечто несправедливое и незаслуженное: Рибо, который умел только тратить и не умел зарабатывать, чувствовал себя превосходно, а Симон, который мало тратил и много зарабатывал, проводил свою жизнь в ежедневной борьбе с мучительными недомоганиями. И даже смерть Рибо была, в конце концов, недостаточно убедительна, потому что была похожа на мгновенную катастрофу и не могла рассматриваться как настоящее возмездие за это пренебрежение к тому, вне чего для Симона все остальное могло иметь лишь относительную и случайную ценность.

Но помимо всех этих соображений у него были еще другие основания для беспокойства и огорчения. Он думал прежде всего о своей племяннице, которую воспитал, после того,

как она осталась круглой сиротой. Она была дочерью его младшего брата, который действительно умер много лет тому назад. Но она не была круглой сиротой, потому что ее мать была, к сожалению, жива. Она, правда, носила теперь другую фамилию и официально, для всех, она вскоре последовала за своим мужем и Симон, предвидя неизбежный вопрос о том, от чего она умерла и где она похоронена, выработал версию, которой никогда не изменял: жена его брата погибла в море, на маленьком судне, которое неизвестно почему пошло ко дну и с которого никто не спасся. *Perdu corps et biens*. Это судно, однако, существовало только в воображении Симона. Анна — ее звали Анна — была жива.

Того, что она была очень хороша собой, никто никогда не отрицал. Симон прекрасно помнил ее огромные пьяные глаза и те особенные интонации ее голоса, которые делали ее непохожей на других. Но вся жизнь этой женщины целиком укладывалась, — как сказал о ней один из ее кратковременных любовников, адвокат по профессии, — в уголовный кодекс. Всюду, где она появлялась, начинались драмы, скандалы, револьверные выстрелы, бурные объяснения, растраты и уходы из дому. У нее была одна положительная черта: она была бескорыстна и материальные соображения не играли роли в ее жизни. И кроме этого она была по своему очаровательна, хотя в ее привлекательности, в этих огромных ее глазах и в ее голосе было нечто по настоящему трагическое и с первого же взгляда становилось ясно, что ее любовь меньше всего должна быть похожа на безоблачное счастье. Она изменяла шоферу с адвокатом, адвокату с матросом, матросу с учителем — в хаотической последовательности разных мест, квартир и условий жизни. Несколько раз она попадала в тюрьму, несколько раз она была в клинике, где ее лечили от наркомании, но как только она выходила оттуда, все начиналось сначала. Она отличалась необыкновенным здоровьем, которого ничто не могло сломить, и когда Симон встретил ее в последний раз в Марселе, — ей было тогда за сорок, — у нее был вид двадцатипятилетней женщины. Из Марселя она уехала в Африку и с тех пор он ее не видел. Но один тот факт, что она существо-

вала, не давал ему покоя. Он представлял себе, что было бы, если бы это стало известно.

То, что это оставалось неизвестным, стоило ему ежегодно крупной суммы денег. Она сама вероятно об этом не знала; и если бы даже знала, она бы не придала этому никакого значения и не сделала бы ничего, чтобы это изменить. Уже давно Симон стал жертвой шантажа, против которого был бессилён. Он знал, что обращаться за помощью к ней было бы бесполезно. Он помнил, как однажды он попытался заговорить с ней о денежных делах, это было как раз после смерти ее мужа, он никогда не мог потом ей простить того высокомерного презрения, с которым она его слушала. И когда он кончил излагать ей свои соображения, она сказала, покачивая головой:

— Бедняга!

Потом она вышла из комнаты, не взглянув на него — и он увидел ее только через пять лет, после этого разговора. У него были тогда десятки готовых возражений, он мог бы ей сказать, в частности, что для нее, конечно, объятия какого-нибудь случайного мерзавца значили больше, чем все другие соображения; но та непонятная робость, которую он всегда испытывал в ее присутствии, помешала ему сказать что бы то ни было.

И вот, к нему однажды явился в Париже очень благообразный, лысый человек, уже немолодой, по фамилии Шарпантье, мелкий служащий страхового общества, примерный гражданин и отец семейства, который обстоятельно изложил ему свою биографию и упомянул о стесненном материальном положении. Когда он заговорил об этом, Симон ощутил ту печальную тревогу, которую ощущал всякий раз, когда ему предстоял непредвиденный заранее расход. Но это оказалось гораздо хуже, чем он мог предполагать. Шарпантье, подобострастно вежливый и говоривший тихим голосом, после многократных извинений — вы понимаете, господин сенатор, я никогда не позволил бы себе... то уважение, которое я к вам питаю... ваша репутация, господин сенатор, которой вправе гордиться наша страна... ваше положение в парламенте... действительно, только трагические финансовые обстоятельства и забота о моих

детях, будущих гражданах того государства, которого вы являетесь столь достойным представителем... — сказал в конце концов Симону, что благодаря слепой случайности ему стал известен один факт, который... Он был любовником Анны в течение нескольких часов — и когда она заснула, он долго рылся в ее сумке, надеясь найти там деньги. Денег в ней, однако, не оказалось; но зато он нашел нечто более важное, ее бумаги. И тогда он выяснил, что эта пьяная женщина более чем сомнительной нравственности была вдовой человека, которого звали Марсель Симон и который в свою очередь был родным братом того самого сенатора Пьера Симона, имя которого он так хорошо знал. Он потратил несколько месяцев на собирание необходимых ему сведений и когда это было сделано, он явился лично к сенатору, чтобы его шантажировать. Он долго это обдумывал и предвидел все возможности — и Симон был бессилен против него. Но как это ни странно, неизменно огорчаясь по поводу необходимости платить Шарпантье за сохранение секрета, Симон не питал к нему никакой личной ненависти; этот человек ему даже нравился. Шарпантье точно соответствовал типу гражданина, который Симон считал положительным: он служил, был отцом семейства, платил небольшие налоги, воспитывал детей в консервативном духе, говорил о своей жене, верной подруге его жизни, отличался здравым взглядом на вещи, был чрезвычайно экономен и вносил деньги в сберегательную кассу. Правда, он был шантажистом. Но это в конце концов была подробность, которой можно было бы пренебречь, если бы его жертвой стал ктонибудь другой, а не он сам, Пьер Симон. Но так как, к сожалению, этой жертвой оказался именно он, то после каждого очередного взноса он заболел и проводил два или три дня в постели. У него начиналось нечто вроде чисто физиологического отравления. Лежа часами в кровати, с серо-желтым, небритым лицом, он не мог без ненависти думать об этой пьяной развратнице, которая была виной всего, — потому что, если бы она действительно умерла, то Шарпантье совершенно приблизился бы к идеалу положительного гражданина, так как был бы лишен возмож-

ности заниматься вымогательством и увеличивать свои вклады в сберегательную кассу за счет сенатора Симона.

Но это было еще не все. Оставалась племянница, дочь Анны, Валентина, *mademoiselle Valentine Simon*, студентка последнего курса юридического факультета. В ней было немного меньше той размашистости поведения и того презрения ко всему, что о ней могли сказать, которые были так характерные для ее матери. Этим она несколько отличалась от Анны. Кроме того, она кажется не была наркоманкой, по крайней мере до последнего времени. Но в остальном она была ее достойной дочерью. Когда ей было двенадцать лет и она совершила какой то проступок, — он не мог теперь вспомнить, какой именно, — он сделал ей строгий выговор и сказал, что так поступать нельзя, потому что это нехорошо.

— А почему это нехорошо?

— Потому что так нельзя поступать. Так девочки не делают.

— А почему нельзя делать нехорошие вещи, если это приятно.

— Довольно болтовни, — сказал он. — Иди спать.

Много позже он вспомнил об этом разговоре, похожем на тысячи разговоров между родителями и детьми. Того, что Валентина не понимала тогда, когда ей было двенадцать лет, она продолжала не понимать теперь, когда ей шел двадцать третий год. Что значит нехорошие поступки и почему нельзя их совершать, если они доставляют мне удовольствие? Самым тревожным было, однако, не то, что она восставала против общепринятой морали во имя других, более рациональных или более справедливых принципов, — это было бы терпимо, — а то, что ее поведение и вся ее жизнь определялись только одним: доставляло ей это удовольствие или нет.

— Для этой девушки, господин сенатор, нет ничего святого — говорила Симону ее воспитательница в лицее. — Я прошу у вас прощения за то, что так резко выражаюсь. Но я не могу найти других слов: ничего святого.

Он отправил ее в монастырь, но через две недели его очень почтительно попросили ее оттуда взять и пожилая на-

стоятельница с ледяными синими глазами — Симон взглянул на нее и с беглым сожалением подумал, что она вероятно была очень хороша в молодости, — даже отказалась ему сказать, почему именно необходимо, чтобы Валентина немедленно покинула монастырь. Она не дала никаких объяснений, но была совершенно непреклонна.

— Что ты там опять натворила? — спросил он Валентину с раздражением.

Она сидела рядом с ним в автомобиле. Глядя на него туманными глазами, — он вдруг с ужасом вспомнил, что у ее матери иногда бывал такой же взгляд, — она сказала:

— Глупости, ничего особенного. Я им объяснила вещи, которые все знают, и это привело в ужас эту старую дуру.

— Я тебе запрещаю говорить в таком тоне о настоятельнице — сердито сказал он. — Если бы ты была наполовину так умна, как эта почтенная женщина...

Пришлось ее снова отдать в лицей. Со сдержанной злобой он думал, что если бы он был просто Дюпон или Дюран, он выгнал бы ее из дому. Но в его положении он не мог этого сделать. Он не мог даже не платить ее долгов. Каждый день он ждал, что ему пришлют счет из магазина или из ресторана, как это было в тот раз, когда Валентина пригласила туда своих подруг и угостила их обедом, никого об этом не спрашивая и не предупреждая. Когда ей представили счет, она сказала пьяным голосом — перед этим было много выпито:

— Это меня не интересует, ваш счет. Отправьте его моему дяде по этому адресу.

— *Mademoiselle*, — сказал бесстрастным тоном мэтр-д'отель — за такие вещи, извините меня, пожалуйста, бывает сначала полицейский участок, потом уголовный суд.

— Не говорите глупостей, это меня утомляет — лениво сказала она. — Я вам даю визитную карточку, а вы стоите как истукан и не берете ее.

Мэтр д'отель взял протянутую карточку, взглянул на нее и лицо его мгновенно изменилось.

— Ради Бога, простите меня, *mademoiselle*, — сказал он,

— я имел несчастье не знать... извините меня... я надеюсь, что этот незначительный инцидент...

— Идите к чорту — сказала она. — Следующий раз будете знать. Мне наплевать.

— Как твой университетский диплом? — спросил ее однажды Симон.

— Когданибудь я его наверное получу — сказала она. — Но вряд ли я буду заниматься практикой.

— Почему?

— Это меня не интересует.

Это была фраза, которую она чаще всего произносила.

— А что же тебя интересует?

— Другие вещи — ответила она. — Совершенно другие, такие, которых ты наверное даже не знаешь.

И рад, что не знаю — сердито сказал он.

Когда ей было восемнадцать лет, она пришла к нему и заявила, что ей нужно три тысячи франков.

— Даже не думай об этом — сказал Симон. — Ты мне достаточно дорого стоишь и без этого.

— Ты меня, повидимому, не понял, дядя, — сказала она своим неторопливым голосом. — Ты непременно хочешь, чтобы я тебе объяснила, зачем мне необходимы эти деньги?

Ему кровь бросилась в лицо и показалось, что не хватает воздуха. Губы его начали дрожать.

— Какой ты впечатлительный — сказала она. — В твоём возрасте следует относиться к вещам более спокойно.

— Уходи сейчас же отсюда! — закричал он. — И чтобы я больше тебя не видел!

Он выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда три тысячефранковых купюры.

— Спасибо — сказала она. — Я вероятно буду дома вавтра к вечеру.

Он не знал, с кем она встречается и где проводит время и предпочитал об этом не думать. Несколько раз, глубокой ночью или под утро, ее привозили домой чрезвычайно почтительные широкоплечие люди с бесстрастными лицами, приезжавшие в синем открытом автомобиле. После одного из та-

ких возвращений, в морозную январьскую ночь, он пришел в необыкновенную ярость, начал топтать ногами и кричать что-то совершенно нечленораздельное, но вдруг захрипел, втянул в себя воздух со странным, булькающим звуком и свалился на толстый ковер, неловко подвернув руку. Его перенесли на диван и вызванный по телефону доктор сказал значительным голосом, что с сенатором случился апоплексический удар.

На следующий день, в сумерках, когда Пьер Симон неподвижно лежал в кровати, глядя пустыми глазами в высокий потолок, Валентина сидела за столиком кафе с молодым человеком в синем пальто и между двумя длительными поцелуями говорила:

— Я должна возвращаться домой, у дяди вчера ночью был удар. Может быть он умрет и тогда я получу наследство. Но я не выйду за тебя замуж, потому что ты сволочь. Да, я не спорю, ты умеешь целоваться. Но этого недостаточно.

Вернувшись домой и войдя в комнату дяди, она увидела, что он еще не двинулся. Но в его глазах уже опять появилось то выражение, которое было в них всегда, когда он смотрел на нее, — смешанное выражение бешенства и презрения. И она поняла, что ему стало лучше, потому что когда она уходила, его глаза были безжизненными и пустыми и смотрели на нее без всякой враждебности.

Он, действительно, оправился через несколько дней. Но смысл этого предостережения был для него ясен. И он подумал тогда не без некоторого облегчения, что вероятнее всего, он умрет не от печени и не от почек, а так же примерно, как умер Рибо, оттого, что в какую-то минуту, со счастливой невозможностью ее предвидеть, без этого длительного предсмертного томления, которого он так боялся всю жизнь, — у него мгновенно остановится сердце и всё будет кончено.

Врач предписал ему длительный покой и непрерывный сон после завтрака. Он послушно ложился на диван, накрывался пледом, подкладывал себе под голову подушки, но почти никогда не засыпал. И так как он не спал и ему было нечего делать, он невольно начинал размышлять о самых разных и случайных вещах. До удара этого с ним почти не бывало.

И самое неприятное было то, что его рассуждения нередко касались именно отвлеченных вещей, к которым он до сих пор всегда относился с презрением. Что-то было не так, как нужно, во всей его жизни. Не то, чтобы он испытывал раскаяние или вдруг поверил в загробное возмездие. И если бы ему пришлось начинать сначала, он, вероятно, опять поступал бы так же. Но главное было не это. Вопрос заключался в следующем: стоило ли это делать, стоило ли навлекать на себя презрение огромного количества так называемых порядочных людей, — на этот счет у Симона не было никаких иллюзий, — для достижения того, что у него было сейчас? Может быть действительно для того, чтобы в конце жизни почувствовать некоторое нравственное удовлетворение, следовало действовать во имя чего-то, одного из тех отвлеченных принципов, упоминание о которых его неизменно раздражало? Он вдруг вспомнил ту презрительную интонацию, с которой Анна ему сказала: *rauvre homme!* Тогда его привело в бессильное бешенство то, как она это произнесла и он не задумался над тем, что она хотела сказать. Теперь, столько лет спустя, он думал именно об этом. Сенатор Пьер Симон — *rauvre homme*? Так вот что она хотела сказать, — что он был неспособен понять ничего бескорыстного. Она презирала его за то, что непосредственно после смерти его брата, которому она изменила уже тогда, когда он лежал на своем смертном одре, когда ее преследовали два одинаково сильных чувства — печаль, которую она испытывала, глядя своими туманными глазами на труп мужа и одновременно с этим неудержимое и почти кошунственное в эти дни тяготение к новому любовнику, — что он, Пьер, не видел и не понимал ни того, ни другого, и думал в это время о денежных делах и о том, как всё это, то есть измена, смерть, печаль и начало новой любви, как именно это всё отразится на его бюджете. Это было единственное, что ему казалось важным и дальше этого он не мог пойти.

Вот что значила ее интонация. Он слышал, как сейчас, ее голос и вспомнил с необыкновенной отчетливостью узкую улицу Авиньона, где это происходило, старый дом с темными стенами, сумерки в комнате покойного, его мертвое, небритое

лицо и темные волосы Анны, когда она стояла на коленях перед его кроватью, положив голову возле его худой желтой руки с синеватыми ногтями. Он повернулся лицом к стене — и вдруг заплакал старческими слезами, только теперь смутно поняв, что всё непоправимо, что смерть, вероятно, близка и стало быть всё неправильно и ничто не имеет значения.

Он никогда не был женат. В молодости он полагал, что не может себе позволить такого расхода. Позже, когда у него было достаточно денег, — потому что он всё-таки до конца рассматривал брак прежде всего как известное финансовое обязательство, нечто вроде частного и тягостного налога, — как-то не пришлось. Кроме того, он никогда не испытывал по отношению к женщинам таких сильных чувств, из-за которых стоило бы пожертвовать всеми другими соображениями.

У него не было ни жены, ни детей и единственной его наследницей была Валентина. Когда он думал об этом, его охватывало отчаяние. Какому мерзавцу достанется в конце концов его состояние, результат сорокалетнего труда? С кем она встречается в эти поздние вечера? — она никогда не возвращалась домой раньше двух-трех часов ночи.

И вдруг это изменилось: это произошло после его удара. Она опять стала посещать лекции в университете, по вечерам она сидела дома за книгами и он не мог понять, чем всё это объяснялось. Ему начало казаться, что может быть он ошибался в своем суждении о ней, может быть наследственность не так беспощадна и может быть вообще всё это завершится каким-то благополучным концом.

Именно в этот период времени он встретил Андрэ Бертье, с которым его познакомил Ренэ, коммерческий директор автомобильной фабрики Бертье — и Симон был приглашен вместе с Валентиной на обед, где должен был присутствовать Роберт.

---

Фред не знал, какой национальности был Лазарис. Этого, впрочем, не знал никто. Лазарис свободно говорил на нескольких языках, сохраняя, однако, во всех обстоятельствах какой-

то неопределимый акцент. Это был старый, согнувшийся человек с желтым, как пергамент лицом и выцветшими серыми глазами, всегда одетый в один и тот же черный, лоснящийся халат. У него были худые руки с длинными пальцами, тупой нос и тонкие губы, постоянно улыбавшиеся. Но улыбка его была тоже особенная, характерная именно для него и от которой каждому его собеседнику как-то становилось не по себе. Он был собственником небольшого магазина готового платья, на узкой и темной улице, недалеко от Hôtel de Ville. Его известность — он был скупщиком краденых вещей — была такова, что становилось непонятно, почему об этом не знает полиция и чем объясняется то, что у него никогда не было никаких недоразумений. Фред знал его давно, но избегал к нему обращаться, во первых потому, что он ему инстинктивно не доверял, во вторых оттого, что Лазарис платил совершенно ничтожные цены. Но в тех случаях, когда сбыть что-либо оказывалось совершенно невозможно, приходилось идти к нему, так как он был единственным человеком, который не боялся покупать любую краденую вещь, если она действительно имела известную ценность. И в то утро, когда Жинетта принесла Фреду огромный золотой хронометр с эмалевой крышкой, который она украла у одного из своих клиентов, Фред отправился к Лазарису.

Лазарис принял его со своей обычной улыбкой, но когда Фред показал ему хронометр, его лицо стало совершенно бесстрастным. Он открыл крышку, посмотрел на эмалевую поверхность, изображавшую миниатюрного пастушка, игравшего на свирели перед пастушкой, которая лежала, окруженная почему-то стеблями сверкающего тростника, — каждый стебель был сделан из крохотных бриллиантов, — посмотрел затем на механизм, потом пожал плечами и вернул часы Фреду.

— Что это значит? — спросил Фред.

— Это значит, — сказал Лазарис, — что хронометр меня не интересует. Я мог бы его купить для себя лично, но вопрос об этом не возникает. Продать его кому-нибудь другому нельзя.

— Что ты мне рассказываешь? — раздраженно сказал

Фред. — Ты думаешь, что я слепой и что я сам не вижу, насколько это дорогая вещь?

Улыбка Лазариса стала еще шире.

— Ты всегда был умницей, Фред, — сказал он, — но ты многого не знаешь. Вот чего тебе нехватает, Фред, — знаний.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что был такой знаменитый мастер, которого звали Jean Pierre Nuaud и который был специалист по эмали. Он умер в Женеве, в 1680 году. Эта эмаль его работы. Она стоит очень дорого. Но у нее есть еще одна особенность: тот, кто вздумал бы ее продавать, немедленно и автоматически попал бы в тюрьму. Теперь ты понимаешь? Я уже прожил большую часть своей жизни — и даже для того, чтобы доставить тебе удовольствие, я все-таки не хотел бы провести мои последние годы в заключении.

Эта манера говорить тоже всегда казалась подозрительной Фреду: Лазарис был слишком красноречив для скупщика краденого.

— Другими словами, сколько ты даешь за хронометр?

Лазарис опять пожал плечами.

— Сто франков.

Черные, неподвижные глаза Фреда пристально смотрели в его лицо. Он знал, по давнему опыту, что его взгляда боялись все, даже самые тупые и самые отчаянные люди. Но лицо Лазариса хранило свое бесстрастное выражение. Так продолжалось две или три секунды. Потом Фред протянул ему часы и сказал.

— Хорошо, я согласен.

Из под прилавка вдруг появилась бутылка коньяку и две рюмки. Лазарис налил обе, подвинул одну из них Фреду и сказал:

— Пью за твои успехи.

Фред кивнул головой и молча выпил. Лазарис передал ему деньги и небрежным движением положил хронометр в карман.

— Замечательно сделан тростник — сказал Фред.

— Совершенно верно — замечательно. Фигуры пастушка

и пастушки тоже хороши. А ты успел это рассмотреть, сынок?

— Я тебе сказал, что я не слепой.

Лазарис посмотрел на него со своей всегдашней улыбкой.

— Ты хороший парень, Фред, — сказал он, полуобернувшись и делая вид, что собирается отойти от прилавка: Фред понял, что ему пора уходить. — И так как я к тебе дружески расположен, то я дам тебе один совет. Я делаю это потому, — он вздохнул, — что мне кажется, у тебя есть данные, которые позволяют предполагать, что ты плохо кончишь. Вот тебе мой совет: никогда не имей дела с людьми, которые стоят выше тебя, ты понимаешь? Оставайся в той среде, где ты живешь. Не стремись выше — потому что это гибель.

— Ты знаешь, что я ничего не боюсь.

— Это неважно. Я хочу сказать, что есть случаи, когда никакая храбрость тебя не спасет.

— Ты говоришь так, точно очень хорошо это знаешь.

— Я стар, Фред, я видел много вещей. Желая тебе успеха.

Фред дотронулся до шляпы и вышел из магазина. Лазарис вынул из кармана лупу и еще раз внимательно посмотрел на эмаль: в магазине было темновато и в неверном освещении казалось, что на тростнике дрожат и переливаются радужные капли воды.

Фред шел по улице, засунув руки в карманы и выражение его лица оставалось таким же мрачным, каким было до визита к Лазарису: Фред был недоволен. Но он вообще и всегда был недоволен. Слова Лазариса преследовали его: «никогда не имей дела с людьми, стоящими выше тебя». Если бы он следовал этому совету, он остался бы на всю жизнь в том деревянном бараке возле *Porte d'Italie*, где прошло его детство, в глубокой и безвыходной нищете; красное вино, побои, драки, распухшее лицо его матери с постоянными кровоподтеками от ударов, и тот ненавистный, жилистый человек с деревянной ногой, ее сожитель, который бил его, Фреда, ремнем по щекам — до тех пор, пока, однажды, пятнадцатилетний Фред не ударил его ножом в бок. Калека согнулся вдвое, выронил из руки ремень и прохрипел:

— Сволочь, ты меня убил!

Фред поднял с полу ремень и сколько было сил, отхлестал его по лицу, не произнося ни слова. Потом он ушел из барака и никогда больше туда не вернулся. Он узнал значительно позже, что калека выжил и что он, конечно, не обратился в полицию: люди оттуда никогда не обращались в полицию. После этого Фред работал некоторое время недалеко от Notre Dame de Paris. Целыми днями он стоял на одном и том же месте, с жестяной кружкой в руке; на глазах его были черные очки, на груди кусок картона с надписью «слепой от рождения». Он проработал так довольно долго, у него были уже отложенные деньги, он жил в подвальной комнате, на одной из маленьких улиц возле Avenue des Gobelins. И вот однажды к нему подошли справа и слева одновременно двое мужчин, которые взяли его под руки и повели в комиссариат. Один из них сорвал с него очки и положил их себе в карман. Фреду было тогда шестнадцать лет. Он рванулся было бежать, но после первой же попытки понял, что его держат крепко. Из комиссариата он попал в тюрьму, из тюрьмы в исправительный дом. Оттуда его послали работать к крестьянину; он проработал два дня, потом сбежал и после трех суток утомительного перехода, ночуя в заброшенных зданиях или в туннелях, проходивших под железнодорожным полотном, добрался до Парижа. В первую же ночь, в Париже, его взяла к себе молодая накрашенная женщина, которая натолкнулась на него, когда он сидел над Сеной, глотая от голода слюну и глядя на темную поверхность реки. Она тронула его за плечо. Он быстрым движением поднял голову и увидел ее лицо с тупыми и добрыми глазами.

— Ты что здесь делаешь? — спросила она.

— Ничего.

— Ты совсем не мальчик — сказала она, всмотревшись в него внимательнее. В неверном свете фонаря на нее смотрело худое юношеское лицо с неподвижными черными глазами.

— Ты голодный?

— Нет.

— Говори правду — сказала она. В ее голосе было что-то

настолько простое и доверчивое, что он опять проглотил слюну и ответил:

— Да.

— Идем со мной.

Она привела его в сырую комнату на третьем этаже гостиницы. Они прошли по узкому коридору, едва освещенному голыми желтыми лампочками, и остановились перед набухшей дверью, которую она отперла своим ключом, достав его из потертой кожаной сумки. Потом она повернула выключатель. В комнате стояла двуспальная кровать, на стене было зеркало, над зеркалом были приколоты веерами фотографии разных людей, военных и штатских, с усами и без усов, молодых и среднего возраста. В углу стоял небольшой стол, перед ним стул. В другом углу белел маленький умывальник. Обои с огромными желтыми цветами были в разводах от сырости.

Она накормила его колбасой и хлебом, потом разделась. В тусклом электрическом свете он увидел ее белый и мягкий, опадающий живот, короткие, полные ноги и круглые плечи. Она легла в кровать и сказала:

— Раздевайся, ложись рядом со мной. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?

Он лег рядом с ней и впервые за всё это последнее время, в эту холодную октябрьскую ночь, почувствовал тепло от прикосновения к ее мягкому и вялому телу. До этой минуты он не знал женщин.

Через полчаса он заснул крепким сном, но она скоро его разбудила.

— Вставай, милый, — сказала она, — он вот-вот придет и если он тебя здесь застанет..

Он плохо понимал спросонья, что она говорила.

— Я бы хотела остаться с тобой, — сказала она, — потому что я его больше не люблю и потому что он только одно знает — в морду. Раньше, когда я его любила...

— Я ему скажу, чтобы он уходил — сказал Фред.

— Он изобьет и меня и тебя.

— Это мы увидим — сказал он сквозь сонную муть. В

кровати было тепло, ему не хотелось уходить. Через несколько минут он опять заснул.

Он проснулся от пощечины. Он вскочил с кровати и увидел человека в хорошем костюме. На бледном, бритом его лице был большой шрам. Прежде чем Фред успел выпрямиться, мягкая рука с кольцами опять хлестнула его по щеке.

— Оставь его, это ребенок — сказала женщина. — Он сейчас уйдет.

Человек в хорошем костюме приблизился к Фреду, который стоял у кровати совершенно голый. Он занес над ним руку, но вдруг встретил его неподвижный взгляд и Фред понял, что он испугался. Тогда Фред уцепился обеими руками за лацканы его пиджака, потом, смешно присев, подпрыгнул вертикально вверх и ударил его головой в подбородок. Его научил этому удару мальчишка поляк в исправительном доме. Человек в костюме замертво свалился на пол. Фред быстро обыскал его карманы и вытащил оттуда бумажник и небольшой браунинг. Он положил их под подушку. Затем он набрал воды в плохо вымытый стакан, стоявший на умывальнике и плеснул ему в лицо несколько раз. Человек в костюме с трудом поднялся на ноги. Мутные его глаза смотрели, не понимая, на Фреда.

— Убирайся теперь отсюда — сказал Фред. — Я взял у тебя бумажник и револьвер. Если ты вздумаешь еще когда-нибудь сюда вернуться, это будет твоим смертным приговором. Понял?

Женщина, которая в течение всего этого времени оставалась в постели, смотрела на Фреда с восхищением.

— Ты настоящий мужчина — сказала она. — Я тебя обожаю. Я буду работать для тебя.

Ее звали Одетт и он прожил с ней несколько месяцев. Это она назвала его Фредом — потому что она тогда читала в иллюстрированном журнале авантюрный роман, герой которого носил это имя. Развернув журнал и глядя на рисунок, изображавший широкоплечего мужчину, который держал в вытянутой руке револьвер, она сказала:

— Он англичанин, Фред. Он мне очень нравится, я буду тебя так называть. Хорошо?

Однажды под утро, вернувшись домой, он нашел ее труп: она была задушена полотенцем. Его тотчас арестовали по обвинению в убийстве и через три дня выпустили. Он сказал инспектору полиции:

— Можете быть спокойны, он от меня не уйдет.

— Глупости — ответил инспектор. — Ты ничего ему не сделаешь: он сидит в сумасшедшем доме.

Инспектор говорил правду: Одэтт стала жертвой маньяка, железнодорожного служащего, которого посадили в отделение буйно помешанных, где он умер несколько месяцев спустя.

Фред давно привык к тому, что не было ничего более хрупкого, чем человеческая жизнь. Одэтт была задушена; мать Фреда утонула, упав ночью в реку; на рассвете зимнего дня, в одном из пригородов Парижа был найден труп жилистого калеки с тремя пулями в животе. Потом были арестованы его убийцы, которых Фред тоже знал. Теперь они отбывали многолетнее наказание в тюрьме. Из всех, с кем встречался Фред, только один Лазарис жил так, что ему, казалось, ничто не угрожало. Может быть это объяснялось тем, что он знал много вещей и среди них был секрет долгой жизни.

Он вернулся домой к одиннадцати часам дня. Он жил теперь вместе с Жинеттой на Rue St. Denis, в большой и светлой комнате с центральным отоплением и горячей водой. Соседнюю комнату он снял для Ренэ, которая тоже работала на него. Когда он вошел, Жинетта лежала на кровати и лакировала себе ногти.

— Он взял? — спросила она.

— Не твое дело — сказал Фред.

— Как хочешь.

Он сел в кресло, не снимая шляпы и просидел, не двигаясь и не произнося ни слова, около часу. Жинетта взглядывала на него несколько раз — он продолжал сидеть в той же позе, прищуривав один глаз и о чем-то, повидимому, размышляя.

— О чем ты думаешь? — спросила она наконец.

Он точно очнулся -- и быстро посмотрел на нее. Потом он сделал гримасу и сказал:

— Если бы я попытался тебе объяснить, ты бы не поняла. Не утомляй себя напрасно.

Затем они позавтракали в маленьком ресторане. Завтрак тоже прошел в молчании. Потом Фред сказал:

— У меня дела, я уйду.

И выйдя из ресторана, он пошел по направлению к большим бульварам.

Его всё время занимала одна и та же мысль: почему Лазарис сказал ему сегодня утром эти слова и что они значили. Фред привык считаться только со своим собственным мнением и то, что говорили и думали другие, его не интересовало. Но его уже несколько лет, с тех пор как началась его сознательная жизнь, преследовало давно знакомое чувство непонятной неудовлетворенности. Жинетта говорила подругам, пожимая плечами:

— Вы же знаете, он никогда не бывает доволен.

Это было чрезвычайно странное ощущение, нечто вроде душевной жажды. Он привык быть окруженным людьми, которые были готовы воспользоваться первой его минутой невнимания или слабости, чтобы занять его место и захватить то, что ему принадлежало. Его могла ждать судьба жилистого калеки или Одэтт. Для того, чтобы этого не случилось, нужно было быть сильнее других. Это было несомненно и ясно, он именно так и поступал, никто не сомневался, что он был готов во всех обстоятельствах к мгновенной защите или нападению, — он доказал это много раз, — и что кроме того, ему было действительно неизвестно чувство страха. Этого было достаточно, чтобы его теперешнему положению не угрожала немедленная опасность. Но то, чего не знал ни один из его товарищей и в чем он сам себе не признавался, было то, что он не был уверен — стоило ли действительно всё это защищать.

Но он думал сейчас не об этом. У него не выходили из головы загадочные слова Лазариса и он упорно возвращался к ним — потому что, несколько дней тому назад, проходя по

Rue Lafayette, он вдруг увидел, что у тротуара остановился автомобиль и из него вышла Жанина в сопровождении человека, который увез ее на такси в тот вечер, когда она исчезла. Он остановился в изумлении. Потом он подошел к автомобилю и заглянул внутрь. На маленькой металлической дощечке были выгравированы слова: Роберт Бертье, 71, Rue Poussin. Он оглянулся по сторонам: в нескольких шагах от него стоял огромного роста полицейский, равнодушно поигрывая свистком и поглядывая в его сторону. Фред неторопливо пошел дальше. Когда он через несколько минут вернулся к этому месту, автомобиля уже не было.

Он давно терялся в догадках — чем объяснялось ее неожиданное исчезновение? Он думал о несчастном случае, об автомобильной катастрофе, отравлении газом. Никто за это время ни разу и нигде не встречал Жанины и в газетах о ней тоже не было ни слова. Может быть ее увезли в провинцию, может быть отправили в Буэнос-Айрес? И вот теперь оказывалось, что она в Париже, с этим самым человеком, собственником автомобиля, которого зовут Роберт Бертье и который живет на Rue Poussin. Он посмотрел по плану Парижа, где находится эта улица. Это было совсем близко от скакового поля Auteuil.

Он не питал никаких чувств к Жанине. Его раздражало неизменно печальное выражение ее лица, раздражала ее постоянная робость. Но она принадлежала ему и он не мог допустить, чтобы кто-либо захватил то, что ему принадлежало. Он вспомнил с пренебрежительной гримасой заботливое выражение на лице Роберта и то, как он помог Жанине выйти из автомобиля. Теперь, когда он знал, где именно она находится, вопрос об ее возвращении должен был быть разрешен немедленно. Он, однако, откладывал и — он сам не мог понять, почему, — свою поездку на Rue Poussin со дня на день. И вот, наконец, после того, как он был утром у Лазариса, позавтракав с Жинеттой и сказав, что он уходит по делам, он сел в метро и поехал на Porte d'Auteuil. Перед этим он еще раз пощупал в кармане пиджака свой браунинг. Он не думал,

что ему придется прибегнуть к угрозе оружием, но был готов на всё, — как всегда.

Роберт ехал к отцу хорошо знакомой дорогой, по улицам, где он знал каждый дом и каждый угол, но он, конечно, не мог бы сказать, почему именно он поворачивал там, а не здесь, и почему в известных местах он начинал тормозить. Он делал это совершенно автоматически. Он не мог сколько-нибудь ясно подумать о том, что привело его в это почти сомнамбулическое состояние. Он только повторял про себя имя Жанины и это звуковое соединение было единственной вещью, сохранившей для него какое-то реальное — и трагическое — значение. Но он не сделал ни одной ошибки, ни одного неверного поворота, ни одного лишнего движения и остановил автомобиль именно там, где было нужно.

Он вошел в кабинет отца, забыв постучаться. Андрэ Бертье посмотрел на него с сочувствием и сказал:

— Здравствуй, Роберт.

— Извини меня, папа, — сказал он. — Я совершенно потерял голову.

— Ну, ну, успокойся. Я надеюсь, что всё устроится.

— Что? — спросил Роберт, не понимая.

— Я говорю, что мы ее найдем. Но расскажи мне, как всё произошло.

— Я вернулся домой...

— Значит, ты уходил?

— Я уехал утром в Латинский квартал, чтобы купить несколько книг.

То, что отец разговаривал так спокойно, невольно подействовало на Роберта. Он понимал, что Андрэ Бертье не мог равнодушно отнестись к тому, что его сын считал катастрофой и если он был так спокоен, то стало быть для этого у него были какие-то основания. Роберт не думал именно так; но он это чувствовал.

— И когда ты вернулся...

— Ее не было, она оставила записку.

— Что она написала?

Роберт помнил каждое слово, как он помнил наивный прямой почерк Жанины.

— В котором часу это было?

— Я вернулся около одиннадцати.

— А в котором часу ты вышел из дому?

— В девять.

Бертье повернул быстрым движением левую руку: часы показывали двадцать пять минут двенадцатого.

— Когда ты уходил, она была одета?

— Да, мы выпили кофе.

Бертье опять посмотрел на часы и в это время раздался телефонный звонок. Он неторопливо снял трубку и сказал, ничего не спрашивая и как будто ни к кому не обращаясь:

— Я занят.

И повесил трубку.

— Надо полагать, что она ушла от половины десятого до десяти.

Он смотрел прямо перед собой задумчивыми глазами.

— Если бы я знал, где она сейчас! — сказал Роберт с отчаянием.

Андрэ Бертье утвердительно кивнул головой. Потом он опять прямо посмотрел перед собой и сказал:

— Я надеюсь это узнать с минуты на минуту.

— Что? — с невольным недоверием в голосе спросил Роберт. — Узнать? Каким образом?

— За ней следят — сказал Бертье, откидываясь назад в своем вращающемся кресле. — Начиная с того дня, что я у тебя обедал, против твоего дома, от девяти утра до восьми вечера дежурит человек, который должен был последовать за Жаниной, если бы она вышла из дому одна. Ты не заметил его? Это высокий мужчина в коричневой шляпе и непромокаемом плаще.

— Но как тебе пришла в голову эта мысль?

— Милый мой, ты же говорил мне, что боишься ее ухода. С моей стороны было совершенно естественно принять какие-то меры предосторожности, о которых ты, конечно, не мог подумать.

Теперь зазвонил второй телефон, на другом столе, чуть-чуть дальше. Андрэ Бертье протянул руку к трубке, снял ее с некоторым усилием — она была далеко — и сказал:

— Алло, я слушаю. Да. Да, да. Хорошо. Не знаю, что именно? Отказывается сказать? Boulevard de la Gare? Поднимитесь немедленно в ее комнату. Да. Что хотите. Очень хорошо. Да, да. В крайнем случае взломайте дверь. Скажите ей, что я прошу ее подождать меня несколько минут. Да.

Роберт смотрел на него широко открытыми глазами. Андрэ Бертье поднялся со своего места с юношеской быстротой, сказал сыну — идем! — и выбежал из кабинета. Роберт первый раз в жизни видел, что его отец бежал.

Он помнил, что отец втолкнул его в автомобиль, что тотчас тихо зашумел мотор и через несколько секунд машина, набирая скорость, неслась по набережным Сены. Бертье говорил:

— Она вышла из дому, села в метро и поехала на Place d'Italie. Оттуда она пошла вниз по Boulevard de la Gare и зашла в аптеку, где что-то купила; аптекарь отказался сообщить, что именно. Затем она вошла в гостиницу, немного ниже аптеки и сейчас находится там, под охраной моего агента. Я сказал ему, чтобы он поднялся в ее номер и попросил ее подождать меня. Я надеюсь, что она не успела ничего предпринять за это время.

— Боже мой! — сказал Роберт.

— Как в романе — сказал Андрэ Бертье, пожав плечами.

В разных частях города вслед машине несколько раз неслись полицейские свистки, но шофер не замедлял хода.

— Прекрасно правит — сказал Бертье. — Один из лучших шоферов, которых я знал. А знал я многих.

Автомобиль уже спускался по Boulevard de la Gare. Роберту казалось, что мостовая струится под его колесами, как быстрая каменная река.

— Стоп! — сказал Андрэ Бертье. Он вышел из машины, Роберт, как тень, следовал за ним. Бертье вошел в маленькую контору гостиницы, что-то сказал хозяйке и стал быстро подниматься по лестнице. Затем он остановился у седьмого но-

мера, постучался и отворил дверь. С порога Роберт увидел безумные, как ему тогда показалось, глаза Жанины и прямо против нее профессионально равнодушное лицо высокого человека в непромокаемом плаще. Андрэ Бертье посмотрел через плечо, обернувшись на сына и сказал:

— Я вас жду внизу.

Обратно они ехали в такси. Андрэ Бертье укоризненно посмотрел на Жанину и уехал со своим шофером. Тотчас же выяснилось, что Жанина хотела принять гарденал, который ей продали в этой аптеке, потому что очень хорошо ее знали: именно там она покупала в течение долгих месяцев все лекарства для своей матери. Но она не успела не только принять его, но даже подумать об этом, потому что в комнату вошел незнакомый человек, который ей сказал, что Андрэ Бертье просит ее несколько минут подождать его и что он сейчас будет здесь. Она не могла понять ни появления и присутствия этого равнодушного мужчины, ни того, каким образом ее местопребывание стало известно, ни, наконец, необъяснимого вмешательства Андрэ Бертье. На выяснение этих подробностей ушло несколько минут. Она почувствовала себя совершенно разбитой и когда они вернулись домой, Роберт уложил ее в постель.

Он задернул занавески окна и вышел из комнаты, приотворив дверь. Но она знала, что он недалеко. Он, действительно, сидел в кресле, почти у ее порога и читал книгу, которая ему подвернулась, — и только прочтя целую страницу, заметил, что не помнит оттуда ни одного слова.

Жанина лежала на кровати с закрытыми глазами и у нее было впечатление, что этим теперешним минутам предшествовало нечто похожее на смерть или исчезновение. Ее уход стоил ей необыкновенного напряжения и сейчас она чувствовала, что у нее не хватило бы сил даже подняться. Всю предыдущую ночь она не спала и, прислушиваясь время от времени к ровному дыханию Роберта, она повторяла себе, что это последний раз и на следующую ночь не будет ни Роберта, ни этой кровати, ни настоящего, ни будущего, и вместо этого наступит, вероятно, холодная тьма. Она думала обо всем, что

предшествовало этой последней ночи, — о своем детстве, о деревне, о том, как ее преследовало огромное снежное поле и зимние сумерки во сне. Она боялась смерти, которая ее ожидала и когда она думала, что больше никогда не увидит Роберта, у нее каждый раз сжималось горло. Но ее решение уйти и покончить с собой было неизменно. Когда она поняла, что у нее, может быть, не хватит мужества это сделать и это окажется невыполнимым, было уже слишком поздно, — так, точно она пропустила ту минуту, в которую еще было можно это остановить. Она знала уже давно, не понимая его, этот странный закон невозможности остановиться, когда было принято очень важное решение и когда вдруг появлялось слишком позднее сознание его явной неправильности. Так было в этом случае: она покидала Роберта и без него ее жизнь не имела смысла. Все ее душевные силы сопротивлялись этому, но это слепое движение было неудержимо. Ее собственной воли хватило на то, чтобы принять это решение; но чтобы изменить его, нужно было вмешательство какой-то внешней и механической силы. Она ехала как во сне, сидя в вагоне метро; и когда она шла по Boulevard de la Gare, она вдруг поняла, что каждый ее шаг приближает ее к смерти. Она отчетливо понимала это и в то же самое время она знала, что такая простая вещь, как вернуться назад, снова сесть в метро и через некоторое время войти опять в квартиру Роберта, — она знала, что это было невозможно, хотя и не могла бы сказать почему. Между ней и смертью было пустое пространство, которое уменьшалось с каждой секундой — и в конце этого воздушного коридора она почти физически ощущала присутствие того, что было самым страшным и к чему она так неудержимо приближалась. Она запомнила навсегда белобрысое лицо приказчика из овощного магазина, который пересыпал помидоры из одной корзины в другую, и гарсона кафе, уносившего с террасы поднос, его слишком короткие черные брюки над стоптанными башмаками, бедную простоволосую женщину, с трудом катившую по тротуару ручную тележку, нагруженную узлами белья, ее лицо — огромная лиловая мышь на левой щеке и две бородавки на подбородке. Это были люди,

мимо которых она проходила и она успела подумать, что они последние, которых ей суждено видеть в ее жизни. Она почти не слышала голоса толстой, пожилой женщины, которой она заплатила за номер гостиницы. И когда она, наконец, легла на кровать, с ощущением нестерпимого холода внутри, вдруг раздался стук в дверь и, не дожидаясь ее ответа, в комнату поспешно вошел этот человек в плаще, который ей сказал, что Андрэ Бертье сейчас приедет и просит ее подождать его несколько минут. И тогда тот мир, который секунду тому назад уходил от нее в этом слепом и безвозвратном, казалось бы, движении, — простоволосая женщина с тележкой, гарсон кафе, приказчик, метро, Роберт, — этот мир вдруг вновь возник перед ней таким, каким он был до вчерашней ночи, когда она приняла свое решение. Теперь это движение было остановлено необъяснимым появлением этого незнакомого человека, который заслонил собой ее смерть. Она быстро посмотрела на него: у него было не очень хорошо выбритое лицо, потертый воротник плаща, мягкая шляпа, серый, полинявший галстук. Он сохранял выражение профессиональной вежливости, — такое выражение могло бы быть у швейцара, шофера, контролера на железной дороге. Выцветшие его глаза смотрели мимо Жанины и он, конечно, меньше всего мог бы думать, что его присутствие здесь имело важное значение в жизни нескольких людей, судьба которых его интересовала только в той мере, в какой была связана с его служебным вознаграждением.

Жанина вспомнила сейчас его лицо, вздрогнула, зажмурилась и снова открыла глаза. В комнате было темно и тихо.

— Роберт! — сказала она негромко.

В просвете двери тотчас показалась его фигура.

— Я очень устала — сказала она. — Ты простишь меня за всё, что я сделала?

И когда он нагнулся над ней, она обняла его шею руками и поцеловала его. Потом руки ее разжались и голова упала на подушку. Через несколько секунд она уже спала. Он вздохнул и вышел из комнаты. Он снова сел в кресло, закинул руки за голову, вытянул ноги и подумал, что только теперь понимает,

что значит для него присутствие Жанины. Это было неверно: он понял уже давно. Но ему было приятно так думать.

Несколько позже Роберт с удивлением вспоминал, что после возвращения Жанины все вопросы казались разрешенными и, в частности, та угроза появления Фреда и опасность, связанная с ней, которая заставила ее решиться на уход и самоубийство. Это было результатом странного психологического заблуждения, так как Фред продолжал существовать где-то в окрестностях Rue St. Denis и в этом смысле возвращение Жанины ничего не изменило. Но и Роберт и Жанина одновременно перестали думать об этом. Ни с его, ни с ее стороны это не определялось никаким расчетом, — это вышло само собой. И в этом состояла ошибка Роберта — потому что через три дня после его поездки с Жаниной в магазин на Rue Lafayette, около одиннадцати часов утра раздался звонок и когда Роберт отворил дверь, перед ним стоял Фред.

Роберт сразу узнал его по сдвинутой набок шляпе и покатым плечам; таким он запомнился ему в тот вечер, когда он увидел его позади Жанины, на Rue St. Denis. Он почувствовал холодное томление, когда Фред молча посмотрел на него своими неподвижными глазами и успел подумать, что в этом человеке было действительно что-то, внушавшее страх всем, кто с ним сталкивался.

Он отступил на шаг и Фред вошел вслед за ним, захлопнув за собой дверь. Он не снял шляпы и не вынул рук из карманов. Потом он коротко сказал с вопросительной интонацией:

— Ну?

Роберт молчал. Он боялся, что Жанина вдруг войдет в комнату. Но она, к счастью, не появлялась. За эти несколько секунд он успел подумать о многом и, в частности, о том, что убедить в чем бы то ни было Фреда нельзя и что он, Роберт, впервые поставлен перед необходимостью защищать свою жизнь. При этой мысли он испытывал почти что ужас. Но в отличие от других людей, с которыми Фреду приходилось иметь дело до сих пор, то, что сейчас чувствовал Роберт, объ-

яснялось не физической трусостью, а другими, почти отвлеченными причинами. Фред не мог этого понять, тем более, что нерешительное поведение Роберта внешне было таким же, как поведение других, которых он знал и к которым он всегда чувствовал презрение.

— Ну? — повторил он. — Пусть она выходит. Я ее беру с собой. Она у меня узнает, что значит убежать от Фреда.

И тогда Роберт произнес свои первые слова за всё это время. Голос его звучал неуверенно.

— Я думаю, что это невозможно — сказал он.

— Что?

— Я думаю, что это невозможно — повторил Роберт. Его голос стал немного тверже.

— Значит ты меня плохо знаешь — сказал Фред. — Я всегда добиваюсь своей цели. Тебе Жанина не говорила об этом?

— Нет — сказал Роберт. — Но надо полагать, что цели у тебя очень скромные.

— Почему?

— Если ты всегда добиваешься всего, что хочешь и если в результате этого ты только бедный сутенер...

Роберт не мог угадать, что хотел сделать Фред, когда он рванулся к нему в следующую секунду. Но он знал, что эта секунда решает всё и до того, как движение Фреда успело принять какую-либо форму, он ударил его кулаком в подбородок. Фред тяжело рухнул на пол. С порога комнаты раздался короткий крик. Роберт обернулся и увидел бледное лицо Жанины с расширенными глазами.

— Разговор кончен, Жанина — сказаал он. — Возьми, пожалуйста, в правом ящике моего стола шнурки для занавесок, которые мы на днях купили и принеси мне.

Он опустился на колени и обыскал Фреда. В правом кармане его пиджака он нашел браунинг, который вынул и положил на стол. Затем он туго связал шнурком руки Фреда, заложив их за спину. Потом он легко поднял его, внес в ванную и подставил его голову под кран с холодной водой. Через некоторое время Фред открыл глаза. Роберт, держа его за во-

ротник пиджака, — ноги Фреда волочились по полу, — дотащил его до следующей комнаты и посадил в кресло. После этого Роберт подошел к телефону и позвонил в полицейский комиссариат.

Фред мутно смотрел на него. В голове его стоял гул, он не понимал, что произошло и что происходит теперь. Он слышал точно издали голос Роберта, и не понимал значения его слов. Он делал страшные усилия, чтобы вернуть себя к действительности, но это ему не удавалось. Ему вдруг начало казаться, что он проваливается в мягкую и холодную яму; потом перед ним появлялась неясная фигура человека, находившегося в этой же комнате, и он не мог вспомнить, где он его уже видел и почему он здесь. Затем ему стало казаться, что где-то между его глазами и затылком струится ледяная вода, причиняющая ему нестерпимую боль. Он закрыл глаза и опять потерял сознание.

С улицы донесся приближающийся звук автомобильной полицейской сирены. Через несколько секунд раздался звонок и вошел инспектор в сопровождении двух полицейских. Он вежливо снял шляпу и поздоровался с Робертом, пожав ему руку. Роберт объяснил, что подвергся нападению неизвестного субъекта, в кармане которого был револьвер. Он взял со стола браунинг и передал его инспектору. Инспектор подошел к креслу, поднял пальцем подбородок Фреда, голова которого после этого снова упала на грудь, и сказал:

— Господин Бертъе, я думаю, — он улыбнулся, — что если тут кому-нибудь угрожала опасность, то это скорее ему, — он посмотрел в сторону Фреда, — чем вам. Поздравляю.

— Я боюсь, что плохо рассчитал удар — сказал Роберт. — К сожалению, у меня не было для этого времени.

— Если бы вы действовали иначе, — сказал инспектор, — то это могло для вас скверно кончиться. Вы без сомнения занимались боксом?

— Да, немного — сказал Роберт, пожав плечами.

Потом полицейские вынесли Фреда, — один взял его подмышки, другой поддерживал ноги. Из окна Роберт видел, как они положили его на заднюю скамейку машины; затем опять

завыла сирена и они уехали. Жанина стояла рядом с Робертом и смотрела на автомобиль, пока он не завернул за угол. Она подумала, что еще несколько минут тому назад от этого человека, голова которого так беспомощно и страшно свисала вниз и тело которого только что небрежно волокли полицейские, зависела ее жизнь. Она повернула голову и взглянула на Роберта. Лицо его было спокойно и в глазах стояло далекое выражение, которое она запомнила с того вечера, когда впервые увидела его.

Когда на следующее утро Роберт позвонил в комиссариат и назвал себя, голос вчерашнего инспектора ответил ему, что Фред лежит в тюремной больнице и врач отказывается от окончательного диагноза: возможно, кровоизлияние в мозг, возможно, что-нибудь другое. — Вероятнее всего, он все-таки выживет — сказал инспектор. Он прибавил тут же, что его, Роберта, беспокоить не будут понапрасну. — *C'est un repris de justice* — сказал он, — и вдобавок профессиональный сутенер. Мы никогда не позволили бы себе надоедать вам по этому поводу.

— Дело в том, — сказал Роберт, — что я собираюсь уезжать на днях, но если бы мое присутствие было необходимо...

— Нет, нет, господин Бертъе — сказал инспектор. — Разрешите вам пожелать приятного путешествия.

— Ты уезжаешь? — спросила Жанина, стоявшая рядом.

— Мы уезжаем — сказал он, улыбнувшись. — Разве ты забыла, что я говорил тебе об этом?

Весь день он укладывал вещи и возился в гараже с автомобилем. На следующее утро он рано разбудил Жанину и сказал ей, что надо торопиться, так как предстоит длительное путешествие. В восемь часов утра они выехали из дому. Они завтракали в дороге, в лесу, ужинали в каком-то маленьком местечке, названия которого она не запомнила и там же провели ночь, в комнате с низким потолком и огромной двуспальной кроватью. Было около четырех часов дня, когда Роберт остановил автомобиль перед невысокими железными воротами, за которыми был парк. В глубине парка был виден дом того желтовато-красного

цвета, который был характерен для Прованса. Вокруг был лес — сосны, дубы, эвкалипты, вперемежку с густым кустарником. Кричали цикады, пахло раскаленными стволами деревьев, солнце высоко стояло в синем, безоблачном небе. Роберт позвонил, через некоторое время пожилой человек в берете отворил ворота, почтительно поздоровавшись с Робертом, и автомобиль въехал в парк.

— Это называется «Ласточка» — сказал Роберт. — Мой отец купил это имение много лет тому назад, в день рождения моей матери. Но он не знал тогда, что она не переносит жары.

Потом он улыбнулся и прибавил вполголоса:

— Впрочем, на свете вообще мало вещей, которые она переносит.

На несколько километров вокруг не было ни домов, ни людей, — только деревья, да тугая, зеленая листва кустарника, с лысынами красноватой земли, с какими то маленькими зверьками, которые убегали так быстро, что их нельзя было рассмотреть и за которыми охотился огромный черный пес, стороживший имение, со странным человеческим именем Онезим. Провизия покупалась в деревне, отстоявшей от имения в двух километрах, куда Луи, сторож, ездил на поскрипывающем велосипеде с педалями разной длины. Недалеко от входа в парк проходила желтовато красная дорога, усыпанная мелкими камнями, которые трещали под автомобильными шинами. Она шла круглыми изгибами вниз, среди деревьев и кустарника, потом пересекала большую дорогу и обрывалась над бурными скалами, которые расступались; и там, где они расступались, было несколько сосен и желтый песок, а за соснами и песком — море.

Днем Роберт и Жанина купались; под вечер, когда спадала жара, они гуляли по лесу, почти никого не встречая. Их неизменно сопровождал Онезим. Они шли по мягкой дороге, среди высоких деревьев и он говорил ей о том, что он считал необходимым знать и чего она не знала. Впервые в жизни, — он замечал вообще, что все, происходившее с ним теперь, было

всегда впервые и этим, как он думал, он был обязан ее присутствию, — его знания нашли себе практическое применение. Дома он диктовал ей целые страницы, которые она послушно писала, объяснял ей, почему одни слова надо произносить так, а другие иначе, почему следует употреблять эти выражения, а не те. Потом она читала ему вслух и он терпеливо поправлял ее ошибки. Она обладала способностью быстро усваивать, по крайней мере внешне, всё что она слышала и он с удовольствием замечал, что она постепенно теряет ту манеру говорить, которая была для нее характерна вначале и по которой можно было безошибочно определить ее социальное положение.

Вещи и понятия, которые Роберт объяснял Жанине, приобретали для него значение, какого раньше не имели. Он настолько привык полагать, что всякое определение неточно, всякое утверждение может оказаться в некоторых случаях необоснованным, всякая истина относительной, что вся сумма его знаний представлялась ему чем то не особенно ценным. Рассказывая о самых разных вещах Жанине, он думал о той совокупности понятий, которая определялась словом «культура»: это было то, чего нельзя было не знать. Миллионы и миллионы людей были чужды этим понятиям и этой культуре. И в том, что ее можно было передать женщине, которую он любил, он находил удовлетворение, какого не знал раньше, — ни тогда, когда ему казалось, что он приближается к пониманию далекой истины, найденной много лет тому назад умершим философом, ни тогда, когда ему удавалось построить более или менее гармоничную теорию в той или иной области.

Но самое важное, то, в чем главная роль принадлежала Жанине, — хотя он и не отдавал себе в этом отчета, и чем объяснялась для него невозможность представить теперь себе существование вне ее присутствия, это были их любовные отношения. Она нигде не могла бы научиться этому, это было заложено в нее природой. Когда Роберт пытался это понять, ему казалось, что даже тело Жанины, которое он так хорошо знал,

заключало в себе — в том или ином повороте бедер, в движении плеч — возможности, каких он до сих пор не мог себе представить. У него было впечатление, что каждый раз она уступает ему не так, как это было вчера или третьего дня, хотя на самом деле это никогда не было уступкой с ее стороны, а вызывалось именно и ее желанием. То, как в ее положении вела себя Жоржетта, его раздражало и утомляло, — то самое, что теперь казалось ему совершенно иным и бесконечно лучшим. Жоржетта была чувственной девчонкой, как он ее определял, когда она засыпала рядом с ним, а он еще не спал. О Жанине он никогда так не думал и ему не приходила в голову мысль, что ее чувственность была несравненно длительней и глубже, чем бурные и быстрые реакции Жоржетты. Но он твердо знал, что теперь перед ним возник целый мир такой эмоциональной глубины, о которой он раньше не подозревал и которой может быть не существовало вообще вне Жанины и того, как она уступала ему.

И лишь изредка он вдруг испытывал приступы прозрачной печали — именно оттого, что всё было так замечательно. Он думал тогда, что между всем тем трагическим и отрицательным, к чему сводилось его представление о мире и о человеческой жизни и тем, что он испытывал теперь, было расстояние, которое, казалось бы, должно было исчезнуть и которое не укладывалось ни в какую теорию. Он думал еще, что всё, происходившее в его жизни до появления Жанины, было очень давно и совершенно незначительно. То, ради чего стоило жить, возникло именно тогда, в тот вечер, когда он не досмотрел фильма в кинематографе и в случайной своей прогулке свернул с больших бульваров на узкую улицу, спускающуюся к Сене и проходившую через один из самых мрачных кварталов Парижа.

Проходило лето, уже раньше начинало темнеть, но стояла всё та же сухая жара и море было таким же теплым. Они продолжали жить, ни о чем не думая и не заботясь. И он сказал как то, разговаривая с Жаниной, что деньги, ценность которых он никогда не был склонен преувеличивать, имеют

всё-таки свою хорошую сторону — потому что ему не нужно ни возвращаться к определенному сроку, ни спешить куда бы то ни было, и что в этом есть известная приятность, которая до сих пор от него ускользала. Он посмотрел на календарь: было восемнадцатое сентября. Но этот день отличался от других, как ему казалось, только тем, что Жанина была по иному ближе ему, чем накануне, или два дня, или две недели тому назад.

*(Продолжение следует)*

*Гайто Газданов*

## ЭПИТАФИЯ АРМИИ НАЕМНИКОВ

*(Из Хаусмена)*

В тот час, когда валились неба своды  
И колебались основанья гор,  
Наемных этих войск погибли взводы,  
Усердно выполняя договор.

Они плечами небо поддержали,  
Остановили буйный сдвиг земли,  
Что Бог покинул, честно отстояли  
И за паек вселенную спасли.

*Александр Браиловский*

# ДЕЛО ТВЕРИТИНОВА

## АПТЕКА В НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ\*

### 1

Большое кресло с высокой резной спинкой и маленькая скамеечка, на которую так удобно было ставить уставшие ноги, стояли не в главной зале аптеки, а в соседней небольшой комнате, у окна, так что сидевший в ней мог видеть и улицу, и большой трактир, всегда полный народа, и недалекую кирку, и даже, немного поодаль, огромный дворец недавно скончавшегося любимца царя, Лефорта. А отвернувшись от окна можно было следить за тем, что происходило в аптеке.

Кресло и скамеечка принадлежали доктору Блументросту. Не только бывавшие в аптеке лекаря, алхимики и ученики аптекарских дел, но и сам владелец аптеки, молодой и весьма ученый Иоганн Готфрид никогда, даже в минуту забывчивости не позволил бы себе сесть в это удобное кресло. Кресло это было очень старое. Спинка и тяжелые его ручки были изрядно потерты, лежавшая на сиденьи подушка, от времени и постоянного употребления стала совсем плоской, и глядя на нее не сразу можно было догадаться, что когда-то она была сделана из дорогого красного бархата. Очень стар был и сам доктор Блументрост.

Хозяином аптеки был Грегори. Именно ему, «иноземцу Ягану Готфриду Григорию» указал великий Государь, открыть в Немецкой Слободе у Язуы новую аптеку для вольной продажи лекарств. Таких аптек в Москве раньше не было. Обе старые аптеки, в Кремле и в Китай-городе, были царские, сидели в них приказные дьяки, и аптекаря и алхимики все были на

---

\* Глава из книги, посвященной жизни известного московского вольнодумца начала 18-го века, лекаря Дмитрия Тверитинова.

царской службе и жалованьи. Да не только в Москве: вольных аптек не было до того времени нигде в целой Московии. Неудивительно поэтому, что приступив к такому новому и трудному делу, Грегори прежде всего позаботился о том, чтобы обеспечить себя от возможных убытков, которые могла бы ему причинить непредвиденная злостная конкуренция или просто интриги. Открыть аптеку было делом нелегким, и денег на это было нужно немало. Молодому аптекарию пришлось истратить на покупку всяких нужных вещей и лекарств не только «всё свое имение и пожиток, но к тому же и долг на себя присовокупить», не имея при этом никакой уверенности в том, что будущие прибыли оправдают все эти большие расходы. В новом деле надо всегда поступать осмотрительно и предвидеть случайные неприятности. После долгих и усиленных хлопот, и со ссылкой на примеры всем известных городов за границей, где такие же привилегии были заведены уже в прошлом столетии, Грегори добился того, что в выданную ему царскую грамоту приписан был строгий запрет: «чтобы других аптек в Немецкой слободе под опасением Великого Государя жестокого гнева ни русским людям, ни иноземцам опричь его, Ягана, не заводить и не строить, и в домах своих лекарств не продавать»... В той же жалованной царской грамоте было упомянуто и о том, «что та его аптека не токмо одному ему, и жене его и детям была состоятельна, но и тому, кому она иногда впредь продана будет в таких же вольностях и способностях пребывала». И хотя добиться этого всего было нелегко, и на хлопоты и на беготню по приказам, и на подарки нужным людям ушло много времени и еще больше денег, Грегори был доволен: Аптека в Немецкой слободе будет только одна, его, Иоганна Грегори. А будут ли другие аптеки в Китае или в Белом Городе, — это его естественно беспокоило мало.

Об успешных хлопотах молодого аптекаря и о царском указе узнала, конечно, скоро вся слобода. Долгое время они были важным предметом бесед и рассуждений за кружкой холодного пива и в тавернах, и за уютным столом в домах слободских иноземцев. Как бывает всегда в таких случаях,

люди не сходились во мнениях. И много было почтенных и весьма уважаемых граждан, которые просто завидовали Грегори и не могли примириться с тем, что такой молодой и совсем недавно вернувшийся из-за границы аптекарь сумел уже начать новое дело, и при том столь умно и осторожно обеспечить будущее свое и своей семьи. Но, конечно, всем было ясно, — и на этом сходились все, — что удалось это трудное дело Иоганну Грегори только потому, что за ним стоял старый доктор Блументрост, помогший ему в трудную минуту не только своим огромным влиянием, но и крупной суммой денег, данной взаймы. И, несмотря на понятную зависть, все соглашались, что эта помощь была только лишним доказательством благородства старого доктора: почти тридцать лет назад он дал слово умиравшему пастору Грегори, что позаботится об его единственном сыне и сдержал обещание, воспитал мальчика, как своих сыновей, вывел в люди и теперь помог ему открыть прекрасную собственную аптеку.

Большое кресло, стоявшее у окна, и было выражением признательности и уважения Иоганна Грегори к своему благодетелю. Кресло торжественно принесли в день открытия аптеки из дома доктора, где оно стояло не один десяток лет, тоже у окна, из которого была видна улица, и где доктор отдыхал в нем после трудового дня, проведенного среди москвитов в Кремле или в Приказе, или в царской аптеке. Это было его отдыхом: сидеть всё на той же подушке и, опираясь о высокую спинку любимого кресла, покуривать короткую трубку и наблюдать жизнь слободской улицы. Последние годы доктор Блументрост всё больше времени проводил в своем кресле и в Кремль ездил всё реже. Возраст давал себя знать: ему шел уже восемьдесят третий год. Всё чаще зимой, от московской стужи, у него болели спина, ноги и руки, и от этих упорных болей мало помогали даже самые лучшие втирания и мази, которые готовились для него по его собственным рецептам в царской аптеке. Спасался он от болей только теплом.

Однако ни мороз, ни преклонный возраст, ни эти боли не мешали доктору Блументросту зорко следить за всем, что происходило в Приказе, и не было случая, чтобы без его

одобрения был принят на службу доктор, или лекарь, или даже аптекарь, или чтобы, в случае болезней в царской семье, не выслушали его совета и указания.

В день открытия аптеки Иоганна Грегори в самой лучшей таверне в Немецкой слободе было устроено шумное и веселое празднество, на котором было произнесено множество приличествовавших случаю речей с пожеланиями всяческого успеха, и было выпито несчетное количество кружек пива и прекрасного ренского. За столом, уставленным обильными явствами, сидели все лучшие и наиболее известные доктора, лекаря и именитые немецкие купцы и военные, и пастор кирки, к которой был приписан Грегори. Пастора другой кирки, к глубокому огорчению Грегори, не могли пригласить, потому что священнослужители эти уже много лет не встречались после ссоры, повод к которой был давно забыт прихожанами.

Вместе с мужьями за столом сидели и их жены, разодетые в лучшие наряды, свидетельствовавшие об их богатстве и вкусе. Русских на пиршестве не было.

Торжество удалось на славу. Молодой аптекарь и его жена, сияя от счастья, пили вино и пиво с гостями и благодарили за пожелания, не забывая следить за тем, чтобы всем досталось угощения вдоволь, и чтобы не было тех ненужных обид, без которых так редко обходятся подобные празднества. После пиршества молодой Грегори, оставив других гостей для приятной беседы с докторами, лекарями и аптекарями, прошел в находившийся неподалеку дом, где помещалась аптека и с гордостью показывал всем блиставшие чистотой и благоустроенные покои, а особенно запасы всевозможных специй, трав, настоек и мазей, готовых для продажи или для приготовления лекарств по рецептам. Всем желающим, особенно тем, кто научился понимать трудную русскую речь, — их было немного — Грегори с особенным удовольствием показывал, не выпуская ее, конечно, из рук, драгоценную царскую грамоту с привесными большими печатями, скрепленную посольского приказа дьяком Борисом Михайловым. Он даже прочел ее вслух, переводя на немецкий слово за словом, что

«...Мы, Пресветлейший и Державнейший Великий Госу-

дарь, (и прочая) наше Царское Величество того иноземца аптекаря Ягана Готфрида Григория пожаловали, велели поимянному нашего Великого Государя указу... построить в Ново-немецкой Слободе вновь аптеку своим иждивением, в котором месте пристойно, и где бы от того никому утеснения не было, и держать ему в той аптеке потребные всякие лекарства, а для скорбящих и в болезнях сущих целительные спирты и водки и иные лекарственные напитки... и то всё продавать ему в той новой аптеке всяких чинов людям ценою мерною без прибавки...».

Гости слушали, стоя, и одобрительно качали головами, рассматривая царскую грамоту. А потом снова ходили с Григори по аптеке и хвалили хозяина. Только доктор Блументрост, утомленный пиршеством, остался сидеть в своем кресле и скоро незаметно задремал, опустив голову на грудь.

Аптека была, действительно, обставлена прекрасно. Она, конечно, не могла равняться по роскоши убранства с царской аптекой, где на полках стояли ряды хрустальных ваз, привезенных из Италии и Голландии, и где даже доска, на которой аптекари готовили «сахары с анисовым маслом и пластыри» была серебряная, тринадцати фунтов весом, и такая же была и «крушка с крышкой», в которой варили «лекарства от гортанных болезней которые подороже в верховые отпуски»... Много на свете выдавшие знатные иностранцы неизменно восхищались царской аптекой, не находя ей равной по роскоши даже в Европе.

Аптека Григори была его собственная и была поскромнее. Но и в ней можно было найти всё нужное для приготовления любого, даже самого сложного и дорогого лекарства.

В главной зале вдоль стен тянулись высокие до потолка полки, и на них стояли разных размеров вазы с четко выписанными названиями трав, порошков, кореньев и всяких других запасов. Самые дорогие или опасные средства хранились отдельно, в шкапу, под замком. На большом столе посреди комнаты стояли большие бутылки с жидкостью красной и желтой. Об этих бутылках темные люди твердили, что хранится в них человеческая кровь и желчь, которые немецкие доктора

выпускают из своих несчастных больных. А для чего это докторам было нужно, об этом не знал никто, только говорили: «на что другое может быть немцу нужна христианская кровь, как не на волшебство»? И на бутылки смотрели со страхом.

Рядом с бутылками стояли большие весы и лежала «ценовая книга», составленная в приказе. В ней было точно указано сколько аптекарю считать за лекарства: за двенадцать золотников листьев сенны считали восемь алтын, за пулвис антикатарралис, — порох от насморка, — шесть денег за золотник, за мазь от сверботы всего две деньги золотник, а за камень Безуй — два рубля золотник. И так о всяком лекарстве.

Рядом с «ценовой» книгой лежала другая толстая книга, куда заносились рецепты, по-латыни и с переводом на русский язык, с фамилией доктора, его прописавшего, аптекаря, который лекарство готовил, и больного. Книга эта теперь была раскрыта и на первой странице уже был вписан рецепт. И доктора, заглянувши в книгу, многозначительно улыбались, так как рецепт был, конечно, на знаменитое средство доктора Блументроста, называвшееся тинктура безоардика, тайну приготовления которого он доверил только Иоганну Грегори. Средство это должно было помогать от всевозможных горячек, от меланхолии и от дурных сыпей, но единственное, что могли узнать о его составе любопытствовавшие коллеги старого доктора было то, что оно содержало камфору. Но, конечно, не в камфоре было дело!..

Рядом с главной залой были две комнаты поменьше. В одной сейчас дремал доктор Блументрост; в ней, кроме его кресла, были еще другие кресла и стулья, а по стенам полки. На полках стояло два больших чучела: птицы с диковинным оперением и рыбы с острым и длинным носом. Чучела эти Грегори купил по сходной цене в Амстердаме, и купил он их, думая о молодом царе: он был уверен, что тот непременно побывает в его аптеке, а о страсти царя к чучелам и уродам в Голландии знали все.

На небольшом столе у стены лежало несколько книг: новое издание знаменитой Фармакопеи Шредера, толстые трав-

ники, латинский лечебник и несколько других книг, немецких и латинских.

Отдельно, на почетном месте, лежало сочинение доктора Блументроста, напечатанное им за границей под названием

“*Laurentii Blumentrosti Medicinae et Philosophiae Doctoris Muhlhusani und seiner Zaarischen Majestaet Leibmedici HAUS- und REISEAPOTHEKE.*”

Книга была полна важных и необычайно ценных советов и указаний и содержала множество полезных рецептов. Она была так популярна, что, пятьдесят лет спустя, через много лет после смерти доктора Блументроста, она была напечатана вторым изданием и долго служила подспорьем в работе и врачам и аптекарям.

Все книги, лежавшие на столе были в тяжелых кожаных переплетах с застежками, и рядом с ними лежали хорошо очиненные новые перья и поставец, с чернилами и песком. Тут же хранились и выписки из наставлений Аптекарского Приказа. В них аптекарю строго предписывалось «чинить так, чтобы всякая водка и состав совершенную силу по преднаписанному действию в рецептах дохтурских имела», и чтобы «сверх своего домыслу и обыклости описанных в формокопей з дохтурскаго совету никакого злого зелия или предательских и смерти наводящих и скверных или скоромных в постные дни вещей не примещивать и не прикладывать, чтобы никакому человеку тем никакого внешнего ни внутреннего зла, ни смерти навесь, и не осквернить и не оскоромить».

Хотя аптека Григори и находилась в Немецкой слободе, но лекарства в ней ведь могли покупать и русские, православные люди.

По другую сторону главного зала была комната, где варились лекарства. Здесь на низких маленьких печках стояли «скляничные колбы и реторты для перепуску водок и масел», на столах и на полках стояли бокалы для порошков, тяжелые медные ступки и горшки, в которых мешались мази, и «фиолы и сулеи четвертные, фунтовые и полуфунтовые реципиенты и иные скляницы», в которых хранились масла и водки, сахара и сиропы. Всё было новое и чистое, и все кубы и ножи и

ложки были натерты до блеска. У столов, почтительно кланаясь гостям, стояли помощники господина аптекаря, алхимики и ученики-подмастерья. Среди них были Тверитинов и Олисов.

Доктор Блуменрост очнулся от дремоты и, чуть-чуть приоткрыв глаза, стал прислушиваться к голосам, доносившимся из соседней комнаты. Гости уже обошли всю аптеку, не пропустив ничего, и даже заглянув в задние комнаты, где хранились запасы, и теперь, похвалив всё, что видели, готовились разойтись по домам. Хозяин аптеки, уставший, но довольный, еще продолжал рассказывать о некоторых новшествах, которые он привез из своего заграничного путешествия, и которые, — добавил он с поклоном, несомненно, будут одобрены учеными докторами, почтившими его своим присутствием в этот памятный день. «Эти новые лекарства», рассказывал он, «позволяют теперь в Париже и Лейдене вылечивать без труда целый ряд до тех пор почти неизлечимых болезней, и поэтому достаточный запас и опиума, и антимония, и драгоценной иезуитской коры и даже редкого корня ипекакуаны будет всегда в этой аптеке для тех, кто бы пожелал их прописывать». В увлечении своим рассказом молодой аптекарь даже позволил себе с некоторой иронией отозваться о старых и общепризнанных средствах, упомянутых во всех фармакопеях, в роде истолченных человеческих костей в красном вине, которое прописывалось против поносов, или человеческой желчи, которая помогает от глухоты, или волчьих и рачьих глаз. Но, взглянув на строгие лица докторов, он тут же спохватился, и дал понять, что в его аптеке всегда будут все средства, старые и новые, и что, в конце концов, только время покажет, так ли хороши, как о них говорят, модные ипекакуана и опиум...

Доктор Блуменрост поправил сползший на сторону большой белый парик, с длинными и тщательно завитыми, спадавшими на плечи, кудрями, и неодобрительно покачал головой:

— Надо сказать Иоганну, чтобы он не слишком увлекался новым. Ach! Diese Jugend! В Дрезденской Гофапотеке у нас тоже были и *stereus hominis* и *urina pueri* и *axungia homi-*

nis. А доктора в Саксонии были не хуже голландских. И лучше териака молодые до сих пор всё равно ничего не придумали... Нам, иностранцам нужно быть осторожными с новшествами. Надо непременно напомнить об этом Иоганну... Он слишком похож на отца, — тот тоже всегда увлекался всем новым, и оттого имел ненужные неприятности... И такой же был его дед... Там, в Мерзебурге... *In der schönen Stadt Merseburg! Doctor Victor Gregory — der Stadtphysicus!! Er war ein sehr tüchtiger Arzt... Lieber Gott!..* Как давно это было! Почти шестьдесят лет назад. И все они давно уже умерли...

Доктор снова закрыл глаза: слушать о чем говорил молодой Грегори с гостями ему не хотелось.

«Надо только не забыть сказать Иоганну, чтобы был осторожней... Люди так завистливы и всюду столько доносчиков. Сколько месяцев допрашивали в приказах его почтенного отца за то, что о д и н раз, один единственный раз, по недосмотру вознес в церкви молитву за герцога Эрнеста раньше молитвы за здравие московского государя. Хорошо еще, что *Seine Majestaet*, покойный царь Алексей Михайлович, ценил генерала Баумана, иначе дело могло кончиться плохо... А потом Иоганну помог и театр»...

Доктор улыбнулся, не открывая глаз:

«Ведь вот, приехал он в Москву учить в школе, стал пастором, а успеха добился только тогда, когда завел для царя театр... И какие на него за это посыпались милости!... Это было как раз в тот год, когда Цецилия Берман, наконец, согласилась стать моей женой. *Die schoene Cecilie!* Она была прекрасная женщина, — а какая хозяйка!».

Девица Берман была второй женой доктора. До приезда в Москву он был женат на вдове доктора Грегори, и пастор Иоганн Грегори был его пасынком. Жена его умерла вскоре после приезда в Москву, оставив ему сына и двух дочерей. Давно умерла и Цецилия Берман. Доктор Блументрост был женат третий раз, — он прожил очень длинную жизнь...

Из аптеки донеслись громкие голоса, оживленно обсуждавшие уже не лекарства, а приезд из-за границы новых хи-

ругов, которых Приказ не медля рассылал по полкам. Северная война началась неудачно для русских, и в тылу всюду готовилось новое войско.

Приезжие немецкие доктора, плохо разбиравшиеся в ходивших по Москве слухах, жадно расспрашивали о новостях Грегори, родившегося в Москве.

Кто-то заговорил о Нарве. Доктора обступили Грегори, слушая его рассказ о поражении русских, и на лицах их было выражение не сочувствия, а равнодушного любопытства. И расспрашивали они не о потерях русских, а о взятых в плен или сдавшихся шведам немцах. Кто-то назвал имя доктора Карбонариуса, тоже попавшего в плен под Нарвой:

— Вы думаете, он об этом жалеет? — иронически спросил немолодой уже доктор, лишь недавно приехавший в Москву из Саксонии.

Другой гость рассмеялся в ответ на удачную шутку: —

— В шведской армии он встретит не мало своих старых друзей и коллег, заметил чей-то голос, *Ich war auch im Dienste des schwedischen Koenig...*

— Все армии одинаковы. Но не всякое сборище солдат можно назвать армией...

— То, что случилось под Нарвой, говорят, даже трудно назвать сражением...

Гости, забыв об аптеке, перебивая друг друга, заговорили о достоинствах шведов.

Доктор Блуменрост, морщась от боли в коленях, тяжело поднялся с своего кресла. Ему вовсе не хотелось от приятной полудремоты и от ленивых мыслей о далеком прошлом возвращаться к беспокойной действительности. Но было что-то в тоне говоривших, что заставило его насторожиться и, покинув уютное кресло, присоединиться к Иоганну Грегори: хотя он, доктор Блуменрост, тоже был немец и даже сейчас, прожив половину жизни в Москве, вспомнил с умилением свою старую родину, но он всегда честно служил московскому государю и презрительная ирония ничего не знавшего о москвитях саксонского доктора показалась ему неприличной и совсем неуместной.

Медленно он вошел в главную залу и строго окликнул Грегори:

— Иоганн!

Молодой аптекарь почтительно подбежал к старику. Вслед за ним доктора окружили и гости.

— Пока вы отдыхали, герр Доктор, — любезно сказал Блументросту тот доктор, который назвал русское войско сборищем, — мы осмотрели всю аптеку и я хочу поздравить вас с таким успехом вашего молодого родственника...

Доктор Блументрост, не отвечая ему, обратился к Грегори:

— Я слышал имя доктора Карбонариуса, — ты узнал о нем что-нибудь новое?

— Нет, нет, — удивленно посмотрел на сердитое лицо старика аптекарь, — это был общий разговор, мы говорили о войне... о Нарве... — добавил он многозначительно, понизив голос.

— Нарва — не конец, а начало... Это несчастье... Ein grosses Unglueck! — перебил его Блументрост. — Будет еще много сражений. И на службе его царского величества есть еще достаточно опытных и честных офицеров, der braven deutschen Offiziere, которые помогут ему одержать не одну славную победу над шведами. И достаточно есть докторов и лекарей, которых мы приняли на царскую службу в Приказе (доктор особенно подчеркнул слова «мы приняли») — для того, чтобы они лечили больных и раненых в тылу и на поле сражения...

Доктор Блументрост говорил очень громко и очень сердито, и его гладко выбритые, по старчески дряблые щеки, даже покраснели от негодования.

— А доктор Карбонариус, — вдруг обратился он к переглядывавшимся удивленно гостям, — почтенный и всеми уважаемый врач, и он служил его величеству честно двенадцать лет и в Москве и во время Азовских походов. Конечно, все знают, что в первый год по приезде к нам в Москву, его близость к иезуитской коллегии в Вене навлекла на него

неприятности, и ему даже запретили всякую переписку. Но я хотел бы, чтобы мои сыновья служили всегда Его Величеству также честно и усердно, как Григориус Карбонариус. И он наверное очень жалеет, что попал в плен, и что теряет время в бездействии, когда Его Величеству так нужны ученые люди...

Гости слушали молча и немного смущенно. Внимательно слушали старика доктора из соседней комнаты и аптекаря, и алхимики, и немецкие подмастерья, хотя они и не вполне поняли, на что так сердится доктор после столь приятного и веселого праздника. Вместе с ними внимательно слушал его и Тверитинов, — но он не понял ни слова, так как Блументрост говорил по-немецки.

— Хоть бы знать, о чем говорят? — тихо прошептал он стоявшему рядом Степану. — Чем-то, видно, старик недоволен.

Степан в ответ только пожал плечами.

В зале аптеки воцарилось неловкое молчание. Григори, немного растерянный, почтительно наклонился к самому уху старого доктора и очень тихо начал ему что-то рассказывать. Рассказывал он, верно, что-то забавное, потому что лицо старика прояснилось, он вдруг засмеялся тонким старческим смехом и, поглядывая на окружавших его докторов, начал набивать свою трубку. Гости снова заговорили, но уже не о войне и не о политике, а о последних слободских сплетнях. Григори вздохнул с облегчением.

Прошло еще немного времени, и гости стали прощаться. Григори учтиво проводил их до самых дверей и долго благодарил за честь, которую они ему оказали, посетив его в столь торжественный и памятный день и почтив своим одобрением его скромную аптеку. Он постоял еще несколько времени на пороге, у открытых дверей, улыбаясь и кланяясь, пока гости совсем не скрылись из вида, и только тогда вернулся в аптеку.

Доктор Блументрост поджидал его у стола, перелистывая немецкий лечебник.

— Ты проводишь меня домой, Иоганн, и когда вер-

нешься, не забудь запереть на замок все двери. Марта уже наверное с детьми наверху.

Служащие попрощались с хозяином и ушли, почтительно поклонившись доктору. Тот приветливо кивнул им головой:

— Gute Nacht, gute Nacht!..

В аптеке сразу стало тихо и пусто. Грегори проверил замок у шкапа, где хранились самые дорогие и ядовитые средства, обошел задние комнаты, поставил на место реторту, которую кто-то снял с полки, аккуратно сложил на столе книги. Потом он подошел к Блуентросту, готовый проводить его до дому. Но тот отрицательно покачал головой:

— Ich moechte mit dir reden, Johann, — сказал он, садясь на скамью и показав Грегори рукой на небольшой стул, стоявший рядом, — мне надо с тобой поговорить с глазу на глаз.

Грегори сел, выжидательно поглядывая на доктора. Старик снова медленно вытащил из кармана короткую трубку, набил ее табаком из кисета и старательно раскурил от поднесенного ему Грегори уголька. С наслаждением затянувшись, он посмотрел на аптекаря выцветшими от старости, но всё еще живыми и умными глазами:

— Иоганн, держись в стороне от интриг, — сказал он, — будь осторожен. Глупые речи опасны... И доносчиков всюду много. Не только среди москвитов... Они есть и среди нас, среди немцев. И чем лучше у тебя пойдут дела в аптеке, тем у тебя будет больше завистников...

Он затаился, поглядывая на разгоревшийся уголек в трубке:

— О твоём отце когда-то донесли москвитам, что он в молодости служил в Польше рейтаром, и что имя его, как бесчестного человека было там публично прибито к виселице... Я помню, как трудно было ему, пастору и почтенному члену des Kirchenkollegium опровергнуть эту гнусную ложь, которую и распространял-то о нем никто иной, как пастор Фокеродт, завидовавший его учености и талантам. А меня, штатдфизикуса из Мюльгаузена, имевшего свидетельства и письма от самого курфюрста Иоганна Георга, разве меня не

обвинили в незнании латинского языка?.. И это после того, как Его Величество осыпало меня милостями и презентами и готово было назначить меня его, государя, лейбмедиком? Всё это было так дико, что даже в приказе смеялись над этим доносом. А всё-таки заставили меня держать экзамен, и почти три года я тщетно добивался врачебной работы, и по моим рецептам запрещено было выдавать лекарства из царской аптеки... Ты ведь знаешь приказы!.. А кто был доносчиком? Доктор из Иены... Он давно уже вернулся на родину, может быть, уже умер. Он был гораздо старше меня...

Блументрост помолчал немного и продолжал:

— Тебе нужно быть очень осторожным, Иоганн. Московиты будут тебе завидовать. Ты ведь их знаешь, ты родился в Москве. Нас всегда ценили цари и лучшие из бояр, они понимают, что без нас в Московии не будет ни торговли, ни войска. Но простые люди нас боятся и даже, может быть, ненавидят. Темные люди всегда ненавидят знание. Варвары тоже ненавидели Рим.

— Но московиты от нас всё же учатся, — осторожно возразил Грегори, — и среди них уже есть ученые люди...

— Где они? До этого им далеко... Может быть, через много лет... Я этого не увижу, и ты не увидишь тоже... Их можно научить готовить лекарства, или даже ставить клистиры, или даже показать им, как лечить раны. Но разве московит может понять писания славного Галена, или тайну движения в теле соков, или афоризмы великого Гиппократата? Учить их этому — значит терять время...

— Мне говорили, — заметил почтительно Грегори, — что челобитные о праве открытия новых аптек разрешено подавать не только иностранцам, но и русским... И я читал об этом в царском указе.

— Да, да, это правда, — раздраженно проворчал доктор, — три московита из торговых рядов даже подали уже челобитные... Но им всем будет отказано. Разве можно доверить аптеку неученому русскому? Нет, Иоганн, им еще надо долго учиться; и хотя наш долг им помогать, но мы не можем позволить им занять наше место, которого мы доби-

лись с таким трудом благодаря нашим знаниям и нашему опыту. Как может полуграмотный москвит, кое-как добившийся диплома за границей, соперничать с нами, как равный? Ты наверное слышал о докторе Постникове? Он вернулся недавно из Падуи или из Лейдена... Я уже принял меры в Приказе... Может быть, и придет их время, не знаю, но им еще надо долго учиться. Нет, нет!! Я прожил с ними половину своей жизни, и мои дети выросли среди них... Как недалеко они еще ушли от варварства!.. Даже их обряды похожи скорее на языческие... Что они знают? Без школ, без учителей, без книг...

Он помолчал немного и, морщась от боли, потер ладонью колено. Потом сел поудобнее и продолжал, внушительно подняв палец:

— Твой отец когда-то по повелению покойного отца *Seiner Majestaet* устроил театр для развлечения царя и придворных. Ему пришлось тогда самому делать всё: и писать пьесу, и разучивать ее с детьми, и показывать москвитам, как надо устраивать сцену. Я помню, как мой сын играл главную роль — кажется, он изображал Эсфирь. Его Величество смотрело представление десять часов подряд, не вставая с места, и приказал переписанную комедию переплести в сафьян с золотым обрезом... А сколько твой отец получил тогда ценных подарков, денег, соболей!.. А почести! Он и все дети были даже допущены к царской руке и твоему отцу разрешили дома варить себе пиво, как самому знатному боярину!

Старый доктор совсем забыл про усталость и про нестерпимую боль в суставах. Погрузившись в воспоминания, он рассказывал, то и дело поглядывая на внимательно слушавшего Грегори.

— Один театр он устроил в Преображенском, а другой — над нашим Аптекарским Приказом. Представления шли одно за другим. Все пьесы писал твой отец, и их тотчас же переводили в Посольском Приказе. В театре ему помогал другой немец, Рингубер, а музыкантов учил Газенкрух. Ах, как давно это было!.. И всё это кончилось сразу, когда умер

твой отец. Разве они от него чему-нибудь научились? Я помню, как москвиты, видя царскую милость к немецким детям, и своих детей послали учиться комедиям. А сейчас прошло уже почти тридцать лет, а я что-то не слышал о хорошей комедии...

— Говорят, молодой царь тоже любит театр, — решил-ся заметить Грегори.

— Но театра-то нет! — недовольный тем, что его перебили, ответил доктор. — Будет, всё будет... Может быть, и они всё же чему-либо научатся, или в нашей слободе найдется опять человек вроде твоего достойного отца... Да, да, москвитов надо учить... Мы их и учим... Was war es doch, dass ich dir sagen wollte?..

Старческое лицо под большим париком вдруг осветилось довольной улыбкой:

— Да, ты слышал, что мой Laurentius защитил с успехом диссертацию в Кенигсберге? Мне прислали из Кенигсберга *Novis Litterariis*, — там подробно описано всё торжество. Они пишут, что в своей диссертации он описал, как никто до него, обычаи москвитов, положение в царском войске военных врачей и много, много других важных вещей, о которых за границей знают так мало. Mein Laurentius! Он уже уехал в Лейден, но через год вернется домой. Я всегда думал, что из него выйдет ein sehr tuechtiger Arzt. Ты послушай, Иоганн...

Доктор вытащил из кармана небольшую книжечку, на обложке которой стояло: «*Novis Litterariis Maris balthici et septentrionis, Editis MDCC*».

Перелистав несколько страниц, он нашел нужное место и протянул книгу Грегори:

— Прочти мне это вслух.

Грегори послушно взял раскрытую книгу и прочел:

“*Regiomontis die 9 Novembris sub praesidio Johannis Godscheld auctor et Responens Johann D. Blumentrost, Moscovia—Russus, disputationem habuit de medico castrensis exercitui Moscovitarum praeficiendo*”...

Доктор задумчиво постучал о скамью потухшей трубкой:

— *Moscovia-Russus!! Kein Deutsche!* Ну, что ж, он здесь родился... Но он, конечно, никогда не забудет, что он всё-таки немец... —

Он посмотрел на Грегори:

— Ты ведь тоже *Moscovia-Russus*, как мой Лаврентий... Ха-ха!! Ты тоже не немец... А скажи мне, Иоганн, кто эти московиты, которых ты взял в ученики или в подмастерья? Ведь они могли понять глупые речи саксонского доктора?

— О, эти двое... безобидные люди. И по-немецки не понимают ни слова. Они хотят учиться, и из одного из них, может быть, выйдет толк. За него просил Иоганн Термонт, он знает его с Азовских походов.

— Учи их, учи... Только всегда помни о доносах...

— Дмитрий всё просит меня научить его читать полатыни, — сказал Грегори, — но, кажется мне, не только для того, чтобы читать рецепты. *Ich glaube, dass er das Evangelium in Lateinischer Sprache lesen moechte...* Он всё спрашивает меня о нашей религии.

— Иоганн! — доктор Блументрост выпрямился и строго погрозил Грегори пальцем, — *tuhe es nicht!!* Лучше пошли его с этим к господину учителю. И предупреди господина учителя, чтобы ничего не говорил об обрядах и вере. Я сам поговорю с ним об этом при встрече. Он как раз начал заниматься латинским с моим мальчиком. Пусть учится и твой русский. Но ты этого не делай... Если бы ты только видел, Иоганн, всё, что в жизни пришлось видеть мне! Я привык к московитам, я нашел у них вторую родину. Но я давно понял, что их нельзя учить истинному христианству в той возвышенной форме, которую нам дал великий Лютер... Мы не должны трогать их веры... Это бесцельно и очень опасно. *Ach, diese Moscoviten!* Они могут быть страшны, как настоящие варвары! Двадцать лет назад меня от разъяренной толпы и верной смерти с трудом спасла царица Софья... Они хотели убить меня, за то, что я немец... Они были как звери, Иоганн! А потом опять кланялись мне в пояс при встрече... Варвары!..

Старик медленно поднялся со скамьи.

Пойдем, проводи меня до дому...

Оба вышли на улицу. Грегори тщательно запер двери аптеки. В окне в комнате наверху уже светился огонек, — жена аптекаря была дома и ждала мужа после утомительного, но приятно проведенного дня. В таверне, напротив аптеки, почтенные жители слободы, среди которых преобладали военные, пили пиво и горячо обсуждали последние, принесенные из города новости. В окнах освещенных аккуратных домиков, за спущенными белыми занавесками, мелькали фигуры готовившихся к ночи хозяек.

Доктор Лаврентий Блументрост шел по улице очень медленно, тяжело опираясь на руку Грегори и то и дело отвечал на почтительные приветствия встречавшихся по дороге прохожих. Дом его, с небольшим садом, отгороженным низким деревянным забором, был недалеко. Двери дома были открыты настежь, и на пороге доктора поджидала жена и мальчик лет десяти, его младший сын, тоже Лаврентий — будущий первый президент Российской Академии Наук и будущий куратор первого русского университета в Москве.

## 2

Не прошло и нескольких недель со дня торжественного открытия аптеки, как в ней закипела работа. Работа эта, особенно по началу, лишь в малой степени заключалась в приготовлении и в продаже лекарств по рецептам лекарей или докторов-иноземцев. Докторов в Москве почти не было, лекарей было тоже мало, и рецептов писать было некому. Делу неожиданно помогла война. После Нарвы молодой царь мечтал о победе, упорно готовил новое войско, и о мире никто не смел и подумать. Повсюду в тылу обучались полки, и при них были нанятые царем военные лекаря. Они требовали походных аптек, а лекарств нехватало. В Аптекарском Приказе, который должен был снабжать войско, не было ни людей, ни запасов, и из полков сыпались жалобы, что больных лечить нечем, и что народ мрет без помощи. Дело было спешное, царь гневался, и в Приказах обсуждали не долго.

Кто-то вспомнил о новой, вольной аптеке, и довольному неожиданной удачей аптекарю приказали готовить у себя запасы самых нужных мазей, пластырей, и настоек, по списку и без промедления, и поставлять их для царского войска. Платить обещали в срок, без задержки и по «ценовой книге».

Как было не закипеть работе! Вместо унцов и полуфунтов пришлось готовить мази пудами, настойки большими бутылками; нехватало рук развешивать и мешать порошки. И всё-таки, сколько ни старались — не поспевали: Приказ торопил, посылал всё новые списки, и хотя и не всегда платил в срок, но всё же платили и без большой волокиты. Работы не стало меньше и тогда, когда по царскому указу открылась вторая аптека, которую построил немец-аптекарь Даниил Гурцын на «большой мостовой Мясницкой улице, на данном ему месте из стрелецких земель у Ильинских ворот». Это был тот самый Гурцын, который через несколько лет написал «Аптеку юбовозую или служивую», и описал в ней ясно и кратко все болезни, которые часто приключаются в войске и чем и как их лечить. Гурцын писал по-немецки, но книгу перевели в Посольском Приказе, и ее не раз старательно переписывали лекаря и аптекаря, служившие при полках. Она так и не была напечатана.

Дела было так много, что скоро и двух аптек не хватило, и открылась третья, у Покровских ворот, а потом и еще две: одна на Пречистенке, и другая на Тверской, в Белом Городе. Запасы лекарств для войска нужны были большие.

Аптекарь Грегори был очень доволен. В слободе ему теперь при встрече кланялись ниже, и во время богослужения в кирке он сидел теперь с женой среди самых почтенных и богатых людей, на первой скамейке. В особенности не было конца поздравлениям, когда слобожане узнали, что он добился чести и привиллегии поставлять для царя, для личного Его Величества обихода, дорогие иностранные вина. А вскоре, в один из своих случайных приездов в Москву, его аптеку посетил и осмотрел и одобрил сам царь... Тогда пригодились и диковинные чучела, привезенные из Амстердама.

Однако, как ни выгодны были поставки лекарств для

войска и вина для царя, осторожный, несмотря на свою молодость, Грегори неустанно заботился о том, чтобы о нем не забывали врачи и нуждавшиеся в совете и помощи слобожане. С умом и терпением он и тут добился успеха. Конечно, даже немцы к нему обращаться стали не сразу, а русские к аптеке долго присматривались и о нем расспрашивали, и долго боялись его и не доверяли ему, как не доверяли ничему вообще новому, чего не знали отцы и деды. Но постепенно привыкли к тому, что есть в слободе аптека, и в ней хозяин аптекарь, хотя и немец, но свой, московский и говоривший по-русски. И потянулись за мазями, порошками и травами. В Москве в том году были уничтожены и сломаны все зеленые лавки на больших улицах и перекрестках, в которых раньше продавались «всякие непотребные зелья и травы вместо лекарств». И покупать травы стало негде. Даже в Зеленом ряду в Китай-городе их теперь продавали из под полы и с опаской.

Сперва в аптеку стали заходить служилые люди, приказные, всё больше народ с достатком и помоложе. А за ними, приглядевшись и понаслушавшись, стали посылать за лекарством и бояре с дворов по-соседству, и выдавшие виды купцы.

Двери в аптеке не запирались с утра и до поздней ночи. Всех приходивших встречал сам аптекарь, важный, в большом парике, и говорил со всеми вежливо, отвечая с достоинством на почтительные приветствия посетителей. Все они, входя в аптеку, робели, кто больше, кто меньше. Всё здесь было чужое и страшное. Даже жители Немецкой слободы, хорошо знавшие Грегори, и не раз проводившие с ним время в таверне на бесчисленных празднествах, торжествах и пирушках, войдя в зал аптеки, понижали голос и старались особенно любезно сказать ему «Guten Morgen» или «Guten Tag», смотря по времени дня. Но то были свои, иноземцы, немцы, голландцы. Русские, скинув шапку у самого порога, искали глазами икону в переднем углу, и не найдя ее, кланялись в пояс хозяину и, если был у них рецепт, прописанный лекарем или доктором, то клали его молча на стол,

стараясь не смотреть на высокие полки с разноцветными банками и на большие бутылки с красным и желтым маслом. Чаше, однако, бывало, что рецепта у них не было, и тогда терпеливо ждали, пока их не начинал спрашивать Грегори, и робко жаловались ему, — подойдя ближе к столу, — на боль в пояснице, или в ногах, на то, что «сорвал пуп», на зубную боль, которая не дает спать уже сколько ночей, на сыпь, на чесотку, на незажившую рану. Грегори выслушивал внимательно всех и иногда, выйдя из-за прилавка, даже подходил к больному, чтобы не упустить ни слова из путанной речи. А выслушав и подумав, приказывал алхимику или ученику дать лекарство: от зубной боли — пластырь из камфары и опиума, от женского томления — водку «гистерика», настоенную на валериане и мяте, от гортанных болезней — настой «жабных» трав, или настой буковицы, черной и белой. Каждому — смотря по нужде.

Платили за лекарство тут же, отсчитывая монеты, и охали, когда аптекарь назначал цену, заглянув для верности в лежавшую перед ним книгу. Цены были высокие. И за бутылки и банки, из синеватого или грязнозеленого, мутного на свет стекла, в которых отпускалось лекарство, считали особо. Но платили охотно. Аптекарь Грегори недаром учился столько лет за границей: дело свое он знал, и лекарства его помогали. И, несмотря на высокие цены, люди, чем дальше, тем заходили в аптеку всё чаще.

## 3

В небольшой комнате, рядом с главным залом аптеки,пряно пахло маслами и дымом, который шел от небольшой печки. Здесь приготавливались лекарства. На печке стояла реторта с длинным отогнутым носом, в которой кипела мутная желтоватая жидкость. Около печки, на низкой скамейке, сидел Степан Олисов. Не сводя глаз с реторты, он осторожно пошевелил кочергой дрова в печке, и жидкость в реторте стала кипеть сильнее.

Дмитрий, а, Дмитрий, — обратился он к Тверитинову, тушить огонь что ли?

Тверитинов, не поворачивая головы, ответил:

— Повари еще малость — сильнее будет... — и продолжал старательно пересчитывать лежавшие перед ним на столе кучками коренья и травы.

— Шалфей, исоп, розмарин... пионья и пиретра... Цвету орешков мускатных будто мало дал... А бобков масличных и кобебы в меру. Перец, корица... Отсыпал десять кореньев, а сказал — даст двенадцать. Спросить его что ли?

Дмитрий поднял голову:

— Да вот он, легок на помине, еще трав несет...

К столу подошел толстый помощник аптекаря, держа в каждой руке по пучку сухих кореньев:

— Вот тебе еруца и маиорака. Истолчи в ступе, не спеша, корни мелко нарежь. А потом настаивать будешь с водкой можжевелевой и гулявой.

— А от чего это зелье дается? — с любопытством спросил Дмитрий.

— От безмерного питья и ядения. Пьют ее бояре и богатые купцы, чтоб не прилучилась болезнь. Хозяин ее в Кремль возит; называется водка апоплектика, — ее и в царской аптеке варят.

Толстяк вытер рукавом со лба пот и посмотрел на реторту, в которой Степан готовил отвар.

— Довольно варить, — от лишнего варенья горькость явится... Варить надо в меру. А как остынет — процеди через тряпку..

Присев на скамью, он вытащил из кармана длинный латинский рецепт и медленно прочел его вслух:

— Flores sulfuris, Radix Zingiberis, соли простой. Ты вот всё знать хочешь, — повернулся он к Дмитрию, возьми всего, как прописано, намешай в банку и будет порошок от сверботы...

Добродушно посмеиваясь, он протянул рецепт Тверитинову и вышел из комнаты.

— Порох от сверботы, — повторил вслух Дмитрий, не забыть бы... А водка-апоплектика... Записать бы куда...

Он положил на стол рецепт, который ему дал помощник аптекаря, бросил в ступку немного кореньев и начал тщательно разминать их, прибавляя к ним постепенно из кучек, сложенных перед ним на столе. Степан притушил печку, снял с нее реторту с горячей жидкостью, и подсел к столу, за которым работал Тверитинов.

В главном зале хозяин разговаривал с заглянувшим в аптеку соседом. Беседа их шла, очевидно, о чем-то очень веселом, так как оба громко смеялись, и Грегори, забыв свою важность, раза два даже хлопнул собеседника ладонью по широкой спине.

— Водка апоплектика, говорит, от безмерного питья и ядения... А ты что варишь? — спросил Степана Дмитрий.

Проносное.

— Проносное? Лаксатива, так называется?

— А кто его знает? Проносное и проносное. На низ гонит, болезнь выгоняет. Его и для войска варят.

— То-то и я говорю: лаксатива. Вместо питья тоже порох дают, тот называется пургационный. Его в ренском дают.

— В ренском? — недоверчиво переспросил Степан.

— Кто в ренском пьет, а кто и водицей запьет... Всё равно проносное...

Тверитинов говорил, продолжая толочь в ступке коренья. Степан слушал, лениво дую на палец, обожженный случайно брызнувшей из реторты жидкостью.

— Побольше бы знать, — и лечить можно... Ты про урину, Степан, что слышал?

— Урину? Чего это?

— Урина — вода проходная. Коли в человеке болезнь или недуг какой, доктора, глядя по утру на ту его воду, против солнца, на свет, познают, кому жить, а кому помереть... Или какое ему питье дать...

Кто тебе говорил?

— Никто. Сам читал. Коли урина кровава, рожь щип-

нуть сухую, зашить в мешочек полотняный, поварить в воде, да прикладывать горячей на пуп, — будто поможет...

И где это ты читал?

— В Приказе. Есть у них книга-лечебник, всё там есть. Только больно мудрена. Там и про желчь читал. Будто всё в человеке есть желчь и кровь и мокрота, а черная желчь под селезнем...

— Лечебники — для докторов, — мрачно перебил его Степан, — и читать нечего. Не поймешь. Да и пользы от той учености мало. Другое дело — коренья знать.

— Это ты, Степан, зря. В той книге и о кореньях писано, от какого недуга какое зелье давать. У хозяина тут все книги немецкие, да латинские, а та по-русски писана и читать можно!

— Читать — читал, а сам говоришь: мудрена.

— Иное мудрено, иное и нет. О зельях, что писано, всяк поймет...

— Нечего читать, — снова перебил приятеля Степан. — Не наше дело... Нам бы научиться аптечному делу. А докторам без нас всё равно быть нельзя: лечить нечем будет. Как им без аптеки?

— Без аптеки им нельзя, — согласился Дмитрий, — аптекарь у них, да у лекарей — повар. И алхимик, и перепуцник. Без них им нельзя, спору нет. Доктор, он учен советы давать, а делать ничего не умеет. Кровь пустить не умеет. К тому ему лекарь нужен или цирюльник.

— А что ж лекарь, — не учен что ли?

— Учен, да по-иному. Он лечить умеет, клистиры ставить, кровь пустить, мази прикладывать. От того и зовется лекарь. А отчего болезнь приключилась, — тому не учен. Да и не к чему ему. Его дело — лечить. Доктор ему прикажет, из какой жилы кровь пустить, — он и пустит. А жил-то много. И знать надобно, что при какой жиле есть и пить, коли кровь пущена. Тому лекарь не учен. К тому над ним доктор поставлен.

Степан посмотрел на остывшую жидкость в реторте,

взболтал ее и с досадой начал процеживать через тряпку в стоявшую перед ним скляницу.

— Мне бы научиться аптечному делу, — повторил он упрямо, — и то сколько лет в учениках быть. А про желчь и мокроту и знать нечего.

Тверитинов отставил в сторону ступку и сказал решительно, стряхивая на пол остатки кореньев:

— А я подучусь и в лекаря пойду. Я с людьми быть хочу. А тут что? Мазь варить, да в ступе толочь? Лекарь, он всюду вхож, всякому надобен, и хозяина над ним нет.

— Над ним-то хозяина нет? — рассмеялся Степан, — хозяев над ними не оберешься, — полон Приказ!

— Не все по Приказам, — возразил Дмитрий, — я своей вольной работишкой жить буду. И такие в слободах есть. А аптекарем, всё равно, мне не быть, — и тебе не быть, — не пустят.

— Кто не пустит? — недовольно проворчал Степан.

— Не пустят. Зелейного ряда торговые люди подавали челобитные, — не пустили.

— Врешь, Дмитрий? Кто такие?

— Чего мне врать? От подьячего Филимонова сам слышал. Яков Власев да Овсей Андреев, зелейники. Оба ходили. В Приказе их и слушать не стали. Нет в вас, говорят, по указу учености. А хотели строить аптеку в Белом Городе. Не дали. Немцу дали.

Степан покачал головой, но ничего не ответил. Дмитрий встал, чтобы взять с полки красиво расписанную бутылку с можжевелевым спиртом, но в это время его позвал из главного зала Грегори. Веселый сосед уже ушел, и перед аптекарем стояла теперь, улыбаясь, молодая жена одного из немецких полковников.

— Отвесь-ка для фрау Карстен две ложки пульверис вестименталис, — достань с полки, нет, не там, выше...

Грегори показал Дмитрию на небольшую вазу с резной надписью «pulvis vestimentalis» — очень популярное тогда средство от дурного телесного запаха, которым охотно поль-

зовались, нося его под одеждой, и молодые обитательницы немецкой слободы и жены богатых московских бояр.

Тверитинов отмерил две ложки порошка и уже хотел вернуться к Степану, но Грегори остановил его и протянул ему небольшую банку:

— Отнеси это господину доктору Блументросту. А от него иди прямо в Приказ, спроси там господина аптекаря Пиля, и что он тебе даст — принеси мне. Да не мешкай.

Тверитинов, поклонившись, взял банку с мазью, и вышел. Одевая кафтан и взяв в руку шапку, он весело подмигнул Степану:

— В приказ пойду — там и книга-лечебник!..

Потом, оглянувшись по сторонам, взял с полки банку с мазью побольше и, спрятав ее под полу кафтана, направился к двери.

Степан посмотрел ему вслед, продолжая процеживать отвар через тряпку.

## 4

В Аптекарском Приказе Тверитинова знали все, и лекаря, и подъячие. Бывал он там часто. То пошлет Грегори, то сам старый доктор Блументрост, который благоволил к Дмитрию за исполнительность и сметливость: ничего не забудет и всё сделает, как было приказано. Благоволение старого доктора к молодому русскому стало особенно заметным с тех пор, как Дмитрий начал подучиваться латинской грамоте у слободского учителя. На этих случайных уроках речь не всегда шла только лишь о латинской премудрости. Дмитрий, хотя и с опаской, но расспрашивал нередко господина учителя о его немецкой, лютеранской вере и жадно выслушивал осторожные объяснения. О разговорах этих знали и доктор и Грегори, и хотя оба они не раз советовали учителю избегать подобных дискуссий, но в душе оба были довольны желанием москвича познать истинную христианскую веру.

В Аптекарском Приказе, было, как всегда, душно и тесно, и подъячие, молодые и старые, лениво скрипели гусиными перьями, вписывая в длинные списки имена лекарей, алхимиков, докторов, и куда кто послан и какое кому идет

царское жалованье, и кто и где и чем провинился, и какие посылать лекарства в аптеки, и много другого, что касалось заботы о здравии царской семьи, и войска, и ближних царских бояр. В сенях с раннего утра толпились посетители, но о них не думал никто. То и дело какой-нибудь подъячий откладывал перо в сторону и подняв голову заводил разговор с другим подъячим, и тотчас к их беседе присоединялся третий, а то и четвертый, забывая о деле. Тогда лица их вдруг оживали, и просители с тоской замечали, как проходит без пользы время. Но браниться или спорить не было толку.

В других палатах сидели дьяки, и, отдельно от них, старший, думный дьяк, заменявший боярина, который ведал Приказом, но никогда в нем не был. Доктора и лекаря в Приказ тоже только зааживали и собирались при царской аптеке.

Тверитинов пройдя сени, сразу подошел к подъячему, кивнувшему ему головой, как кивают приятелю, и после нескольких слов спросил про аптекаря Пиля.

Не был. Не видел...

— Хозяин послал, велел разыскать, дело есть.

— Что же, ищи... А только: где искать будешь? Говорю — не был.

— А когда будет?

— Как придет, так и будет. Больно ты, Дмитрий, проворный. Все ждут, и ты жди. До вечерни далеко...

Тверитинов отошел от подъячего и, расспросив для верности еще и других, убедился, что аптекарь Пиль вернется не скоро. Известие это его не разочаровало нисколько. Не спеша, он прошел в другую палату, подошел к сидевшим там за столом подъячим, с одним пошутил, другого расспросил о делах, с третьим поспорил. Завязалась беседа. Поговорили о работе в Приказе. Подъячие ворчали на последний указ, по которому велено было на содержание раненых и увечных воинов употреблять свечные церковные сборы. Из-за этого указа между приказами шла оживленная переписка, но до поступления денег было далеко. Между тем

расходы на лечение всё росли, а денег в казне не было даже на уплату жалованья лекарям при полках:

— Прежде того лучше было, — ворчал старый подъячий, — всяк себя сам лечил... И не жаловались...

Тверитинов ничего не ответил. О прежних порядках знал мало, но помнил, как помирал народ под Азовом, и подумал, что не так уж плохо, что царь, по великой нужде, приказал отдать на раненых воинов свечные церковные сборы.

Так, переходя из палаты в палату, Дмитрий дошел до небольшой комнаты, где в углу за столом, за кучей мелко исписанных свитков сидел пожилой и очень дородный дьяк, перебиравший бумаги. На низкий поклон Дмитрия он ответил кивком головы и посмотрел вопросительно.

— Яков Андреич, я тебе от ломоты мазь принес, — лучше не сыщешь. Суставы-то мазью потри, да повяжи тряпицей — полегчает.

Дмитрий вынул из кармана кафтана банку с мазью и поставил ее на стол перед дьяком.

— Экой ты шустрый, — не забыл, — сказал дьяк, с видимым удовольствием взяв банку в руки. — Ну иди, иди, небось опять за книгой пришел — всё любопытствуешь.

— Хороша книга, Яков Андреич, твоей милости во век не забуду.

Дмитрий, низко кланяясь, прошел за спиной дьяка в заднюю комнату, где хранились драгоценные книги. В комнате не было никого, было в ней тихо, и свет на высокий стол падал из небольшого оконца, затянутого слюдой. Дмитрий порылся и вытащил толстую и уже сильно потрепанную от употребления и времени рукописную книгу. И сразу забыл про дьяка, про подъячих и про новый царский указ...

---

*«...Мир от четырех вещей составися, от огня, от воздуха, от земли, от воды, составлен же бысть и малый мир, сиречь человек от четырех стихий, от крови, от мокроты, от чермных желчи и от черных, и убо кровь видением черв-*

*лена, вкушением же сладка, подобна убо есть воздуху, яко мокра и тепла. Флегма же есть видением бела, вкушением же сладка, подобна есть воде, студена и мокра. Чермная же желчь видением желта, вкушением же горька, подобна убо есть огню, яко сухо и тепло. Черная желчь видением черна, вкушением же кисла, подобна убо есть земля, яко суха и студена. Сим убо стихиям умоляющимся или умножающимся, или одебелевающимся естества своего, или пременшимся и отступившим своих их мест и проходящим в необычныя места, много образно и много различно сотворяют человека болезни...*

*Чувства же в человеце есть пять: видение, обоняние, слышание, вкушение, осязание и убо видение есть от веефера, обоняние же от воздуха, вкушение же от мокроты, осязание же от земли. Колико суть душевныя части? — Три: словесное, яростное и жалостное. — Когда здравствует человек и изнемогает? — здравствует убо, когда сметательно по силе и равно стоятельно стоят четыре стихии предреченные во всем, в равенстве же и в утииши. Здравие же есть благорастворение первых, от них же составлено есть тело, от теплаго и студенаго, от сухаго и мокраго. Врач же есть естеству служитель и в болезнех сподвижник и совершен»...*

---

Дмитрий поднял голову от листов, исписанных витъеватым ровным почерком. Учение «великих философов Галина и Ипохрата» в тяжеловесной передаче безымянного переводчика стало совсем непонятным.

— Который раз читаю, а всё без толку! И читать нечего...

Отложил толстый лечебник и, порывшись, вытащил другую книгу поменьше:

— Эта лучше будет...

Перелистывая страницы, начал читать вполголоса:

«О водках разных... о гуляфной водке, аква розеа... о водке дубовой... о фиалковой... курьей ноги. О водках добрых на головные боли, что приходят с зимней причины... На

очи слезные... на падение с лица тела... на больное горло, на усохлый язык... На кашель детей малых... На умывание бороды, как обрется. Чтоб волосы слезли, где не надобно... О лекарствах от дохтуров и баб досвятчены — наука и дума как помогать женским недугам».

— Вот она где наука-то — и понять всё можно, и чем лечить и от чего...

Он сел поудобнее и углубился в чтение, водя пальцем по строкам:

*«Аще у жены не пойдет дитя вон, дати фириятика с сахаром и с укропом смесив, испить...»*

*Аще у жены начнет дитя гнить во утробе, дати фириятика с маковым маслом и с молоком испить...»*

*Аще младенец пойдет наперед ногами, дати фириятика, смесив с молоком и с вином, испить...»*

*...На лихие болячки, кои приходят из Франц: Возьми две гривенки сала ветчиннаго стараго, топленаго начисто, да гривенку масла деревянаго, да полгривенки купоросу, да квасцев жженных четверть гривенки, да серы горячие полгривенки, да четверть гривенки ртути, да тем зельем мазать лихие болячки...»*

*...На сердечное бьенье возьми...»*

*«На затверждение живота...»*

*...От душья... На сожжение огнем и железом...».*

Дмитрий читал, лист за листом, давно забыв про данное ему поручение. Однако, громкие голоса о чем-то поспоривших дьяков вернули его скоро к действительности. Он испуганно оглянулся, быстро встал и положил все книги на место:

— Почитать бы еще, — пробормотал он с сожалением. Но вспомнил строгое лицо аптекаря Грегори и, не оглядываясь, вышел из комнаты.

Знакомый дьяк, которому он принес мазь от ломоты, всё еще сидел за столом перед грудой исписанных свитков. Глаза его были полузакрыты. Немецкого покроя кафтан был растегнут, плохо выбритое багровое лицо было покрыто

мелкими каплями пота. Руки, покоившиеся на животе, мерно поднимались при каждом вдохе. Дьяк дремал, истомленный духотой и жарой. Впрочем он приоткрыл глаза в ответ на низкий поклон Тверитинова, равнодушно кивнул ему головой и через минуту снова погрузился в дремоту.

В палатах всё еще теснились посетители, и подьячие, не обращая на них никакого внимания, продолжали скрипеть перьями, перебрасываясь ленивыми замечаниями. Кто-то окликнул Дмитрия, но на этот раз он решительно отмахнулся и, не теряя времени, стал разыскивать аптекаря Пиля.

---

И снова мази, отвары и коренья в аптеке господина Грегори.

Иоганн Грегори не мог нахвалиться своим подмастерьем. Дмитрий работал и учился усердно, и уважал его не только Степан, всё такой же молчаливый и тихий, но и немецкие ученики и алхимики. А среди русских, бывавших в аптеке или живших поблизости, стал шириться слух о молодом русском, который пошел к немцам, чтобы перенять у них всю науку о «лечительных» отварах и зельях и, перенявши, скоро сам будет лечить людей, не хуже ученого немца.

**Г. Альтшуллер**

## РАССКАЗ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Вы помните, конечно, огромные неогороженные и ничем незастроенные пространства, которыми пестрели наши уездные города. Несмотря на свою величину, у пространств этих не было собственного имени: их называли просто площадью, пустырем, а чаще выгоном, хотя никого туда не выгоняли. Прохожие редко пересекали эти пустыри, потому, быть может, что одиночество, вечно сторожащее человека, охотнее всего настигало его именно здесь, где тощая трава не звенела кузнечиками, легкий воздух казался онемевшим, и в этом воздухе часто можно было услышать таинственный голос, окликающий тебя по имени. Зимой такой пустырь был вечным обиталищем ледяных ветров и метелей, осенью он превращался в сплошное болото, летом там залегала тяжелыми пластами жара. И только весенней ночью, когда над городком вставала единственная в мире, воспетая Пушкиным, украинская луна, — пустырь превращался вдруг в безграничное и нереальное серебристое озеро, и душа, пустившись по нем вплавь, сладостно томясь и изнемогая, не торопилась уже причалить к мирному берегу.

Мне кажется, пустыри эти созданы лишь для того, чтобы редкий путник, недавно открывший на висках своих седину, мог полнее предаваться здесь мучительным своим воспоминаниям, или не менее мучительным предчувствиям, если ему нет еще полных семнадцати лет.

Вы также помните, конечно, что где-то там, на другой стороне выгона, непременно должен находиться обширный, как бы загадочный, дом, в котором нет числа комнатам со старомодной обстановкой; дом с двумя парадными подъездами, с великолепным садом, который принято называть запущенным за отсутствием другого, более подходящего, определения.

Вы еще храните, быть может, в вашем воображении запах

темнозеленых листьев и высоких безмянных цветов, с которыми нигде уже и никогда не может сравниться запах любых других листьев и цветов.

В таком именно доме жил мой друг доктор Ч.

Наскучив латынью и математикой и всем, что отравляет жизнь в семнадцать лет, я любил пересечь пустырь, зная, что в приветливом для меня доме все уже приготовлено для моего прихода, а сам доктор Ч. успел разложить на столе книжные новинки. У него была превосходная библиотека, и я, гордый своими первыми стихами, своим холодным презрением к женщинам, своей враждой ко всему, что намекало на нечистые отношения между людьми, — жадно искал там подтверждения своим высокомерным заблуждениям.

Напрасно доктор, полусутопя полусерьезно, пытался однажды доказать мне, что женский организм выше и совершеннее мужского. Я принял эту мысль почти за личную обиду и склонен был усмотреть в ней нечто унижительное и даже безнравственное. Лишь глубокое мое уважение к Ч. помешало превратить нашу невинную беседу в ссору.

Вы должно быть уже догадались, что он был старый холостяк (хотя и не очень был он стар), отлично одетый и с отличными манерами. Черные глаза его были молоды и умны и оттого казались всегда веселыми.

Я очень любил его.

Густые летние сумерки чуть шевелились в глубине беспорядочных ветвей, нависших над высоким забором. Было несколько удивительно, что в доме нигде еще не было света, но я, не смущаясь, отворил никогда не запиравшуюся дверь, прошел переднюю и ряд знакомых комнат, не встречая никого и не встреченный никем. Так дошел я до библиотеки и, войдя, неожиданно увидел тоненькую девичью фигуру, как бы замершую в глубоком кресле у окна. Незнакомая гимназистка, лет шестнадцати, пристально вглядывалась в наружные сумерки и казалось, внимательно следила, как в небе зарождалась и утверждалась большая первая звезда. Заметив меня, она не вскрикнула и не удивилась, а лишь посмотрела мне в глаза каким-то длительным, как бы не своим, взглядом.

— Вы здесь боялись? — спросил я просто.

— Да, — ответила она тихо.

— А теперь? — спросил я, тоже почему-то понижая голос.

— Теперь нет, — прошептала она и улыбнулась.

От нее исходила необыкновенная чистота, которая притягивала меня и смущала. И мне приятно было узнать, что дядя, мама и Боря ушли гулять, что сама она из Воронежа, что форма в ее гимназии — зеленая.

Происходило это в то время, когда из Луврского музея похитили Джиоконду. Джиоконда была в моде. Ее печатали на обложках журналов, на упаковке духов и мыла, на конфетных коробках, всюду, где глаз привык встречать украшение. Ее репродукция висела и здесь, над самой головой этой девушки. Я невольно сличил их черты и был поражен странным их сходством.

— Как ваше имя? — спросил я.

— Шура, — ответила она и снова улыбнулась, не то застенчиво, не то лукаво.

Я подошел к ней вплотную и попросил ее распустить волосы. Я сам расправил на плечах ее темные пряди.

— Вы очень похожи на Джиоконду, — сказал я, опустил ся на ковер к ее ногам, закрыл глаза и спрятал свою голову у нее на коленях.

В комнате стало страшно тихо.

Сумерки перешли уже почти в темноту. Откуда-то проник запах трав, за день разогретых солнцем. Крупная бабочка постучалась в окно, прошуршала и мягко улетела прочь. В дальних комнатах зарождались звуки, никогда не слышимые днем, они усиливали очарование безмолвия.

— Я люблю вас, — говорил я и целовал тонкие пальцы, нехотя убегавшие от меня.

— Я люблю вас, — повторял я настойчиво, словно боясь, что без этого заклинания сердце перестанет биться и грудь перестанет дышать.

— Я люблю вас, — говорил я с мучительным наслажде-

нием, и собственный мой голос казался мне чужим и далеким, как эхо.

И из той невероятной дали, где зарождалось это эхо, наполняя всю душу таинственным содроганием, донеслось до моего смятенного слуха:

— Ах, если бы мы могли теперь умереть.

На мгновение ее пальцы, легко перебиравшие мои волосы, вдруг замерли, словно задумались. Потом она сказала чуть слышно:

— Если хотите — да.

Я поднял голову, но уже не мог различить ее лица. Вокруг, за окном и над нами настроженно дышала теплая южная ночь, и из темноты медленно приближались заглушенные голоса, — доктор Ч. и его гости возвращались домой. Через несколько минут они войдут, зажгут лампы, потревожат странный мир, пленивший нас, в котором мы собирались потонуть навсегда.

В отдаленной комнате бродил уже старый лакей, готовясь к приходу гостей и доктора Ч.. А мне необходимо было сказать еще что-то, самое главное, самое важное, я не знал еще что именно, но промолчать было нельзя, потому что это молчание обратилось бы в проклятие. Невнятные слова уже разрывали мне сердце, но губы не умели их выговорить. И слова эти надо было найти быстро, потому что это был единственный случай сказать их, и я знал уже, что случай этот не повторится никогда.

Задыхаясь и плача, я сказал наконец:

— Боже мой, Боже мой! Как могло случиться, что наша любовь превратилась в ничто! Кто из нас виноват?

Я плакал всё сильнее и безнадежнее, теми зрелыми слезами отчаяния, когда каждая слеза — как звено в каторжной цепи. Речь моя была бессвязна и тороплива, — не потому, однако, что я боялся прихода доктора Ч., но потому, что я знал уже, что эта первая наша встреча — лишь сон, лишь позднее воспоминание о первой встрече.

Я знал, что сплю и вижу во сне все подробности той первой настоящей встречи, и сон близится к концу. Мне было

ясно, что этот невероятный сон в эту самую минуту снится и ей, где бы она ни была, что она слышит меня и тоже тоскует и плачет во сне. Мы оба знаем, что никогда не встретимся больше, меж нами легли и разделяют нас десятки страшных лет, тысячеверстные расстояния, обвалы и потрясения и старинное взаимное наше отчуждение...

.....

Добрая и умная жена разбудила меня, но я продолжал плакать и наяву. У меня болело сердце, я схватился за грудь и всё повторял:

— Как это могло случиться, как это нелепо, как непоравимо...

Я долго не замечал стакана с водой, который протягивала мне жена. Вода пролилась на подушку, на мои дрожащие руки. Если бы жена спросила меня, почему я плачу, что мог бы я ей сказать? Но она ни о чем не спросила, и я долго был ей за это благодарен.

**Вл. Корвин-Пиотровский**

# В СЫРЫХ ТУМАНАХ

## НА ЗАПОВЕДНОЙ ЗЕМЛЕ

Перебрасывая из тюрьмы в тюрьму, судьба вела меня путем «несчастливых» (говорю по-русски) от ковылевых степей сквозь вологодскую дебрь на устье Сысолы, и там покинула на своей воле жить среди югры — «языка нема». И только что ступил я на берег и очутился за алой изгородью частых кустов шиповника, сразу почувствовал — мое сердце поворотилось — и тоска обогля мне душу. Этот воздух, эти краски, эти звуки — сырые туманы лукоморья.

Еще раз на путях жизни я встречу — мне месяц будет колосить лиловую в вереске дорогу — и чувство тоже, когда по «старым камням» Европы судьба приведет меня на крайний камень к Океану, и я очнусь на колдовском поле немых, взгроможденных не по нашей мере и человеку не под силу загадочных камней Бретонского Карнака.

Я был на стороже, я следил — смотрел, по лермонтовски скажу, я смотрел «с холодным вниманьем вокруг», но моя востепенувшаяся душа во власти горьких чар томила.

### I

Дом пользовался худой славой. И уж как старалась хозяйка, а не могла сдать комнату: дом обходили. В чем дело, я не мог дознаться. Правда, и не добирался особенно, мне было всё равно. Два месяца этапного пути с дневками и ночевками по губернским пересыльным тюрьмам — бывалому одно это «пересыльный» много скажет. Оттого-то медовый Спас (1-ое августа) в мой первый день в Устьсыольске, я начинаю мою «поднадзорную», жизнь в этом обойденном доме.

Крайний, высоко на берегу, на круче, без соседей. Во дворе баня, три высокие ели и сколько-то мелких, и колючие

кусты — дикий алый шиповник. Мне говорили, был кедр, а теперь вылощенная кость, пень, а это значит, заповедное место разоренное капище или кумирня с жертвенником солнцу-месяцу-звездам-радуге. И прямо под ветром: рви, гони напропалую, дуй в лицо, в бок, в загривок, бей в висок, под ложечку, по голове и в сердце. Крепкая стройка, а не то бы прощай, разнесет в щепы.

Лес под боком, конца не видать, дров не жалко, и хорошо натоплена печка, дважды топили, а в комнате всё холодновато. Стены бревенчатые, не паклей, мохом конопачены — олений мох ягель, а и лунный ягель почернел, ежится.

Вечером заглянет хозяйка, помешает печку, станет, потрется о притолку, и часами стоит, вздыхая. То ли у них еще холоднее, то ли очень ей скучно.

Зырянка — Геллер. А как по первому мужу, не знаю: году не прошло со свадьбы, утонул в половодье — «Кутьявойса приревновала!» так объясняли (объяснить всё можно).

А в этой комнате поселился поляк из Познани, ссыльный, и они поженились, тоже давно это было, оттого и Геллер. Пять лет как уехал на родину — пять лет никаких вестей и ничего о нем, пропал.

Три дочери: Марианна, Аннушка и Оде, так кличут Дашу.

Марианна — учительница в Устьвыми, на глаз немка, в бабушку Геллера, ничего от матери, за то Аннушка — она кончала прогимназию — куда мать! Теплое оленье, звериночистое без всякой лукавинки, даже чудно, все-таки человек; и младшая Оде, ей в мае исполнилось тринадцать, я как взглянул: «кикимора!» Оде ходила в школу и всякий день прямо из школы ко мне печку топить.

Комната три окна: одно во двор, а из других — река. Места довольно, только вся-то заставлена, не повернуться: я жил не один. Еще двое: пан Ян и пан Анжей, ссыльные из Вильны сапожники. Я занимал угол.

В дороге, как гнали этапом, только мешок — всё мое добро. Книг не разрешается. А тут появились — спасибо, с воли меня никогда не оставляли! В моем углу полка, а к Пасхе приполку поставлю — ведь что в тюрьме плохо, книг нет, а с

книгами и в неволе волей дышешь. Перед окном во двор — стол: кроме чтения пишу, но еще не разу не печатался. Между стеной и печкой кровать. Вот и вся моя камера — долго еще после тюрьмы говоришь вместо «комната».

По другой стене две кровати: к окну на волю — пан Ян; к двери — пан Анжей. Между нами наш общий стол.

На-людях мне трудно: мысль рассеивается, слова захрясают и такое, будто не весь я, а половинки — одна говорит, другая перебивает, третья путает. По тюрьмам я сидел в одиночке — не жаловался. И теперь под четырьмя глазами, кажется, пропасть бы. К счастью, товарищи мои на первых порах оказались ладными, по душе тихие, не занозистые и голос без трывков и цапу, а в повадке без всякого «соплетения» чисто, ни ногами, ни руками не задевают.

Работы никакой — мастера башмачники, тонкую обувь на холеную ногу в Вильне выделывали.

Мне вспомнился сапожный случай, вычитал в «Записках» Никитенки: приезд персидского посольства в Петербург в 1816 году.

— Представьте себе Невский, и по Невскому шествие: впереди гундустанцы в красных штанах, кривыми саблями помахивают, а за ними слоны и на слоне сам посол и вся его свита: слоны в сапогах.

«Персидским сапожникам работа везде найдется», сказал пан Ян.

— А тут суй ногу в валенку и готово! сказал пан Анжей.

Два мешка с инструментами в сенях на гвозде, как повесили, так и висят на ржу. И кожа скоробилась, не отличить что сафьян, что яволлок.

А как завернули холода, да повалила валом пурга, пристрадались мои сапожники спать: и ночью спят, как полагается, и днем спят, что здоровому совсем не к лицу, а вечерами я бужу чай пить.

Нет, мне помехи не было, не роптал: жил я, хоть и в углу, а как самостоятельно — полная воля и думай вслух и читай на́ голос, прислушиваясь к словам.

## 2

По вечерам за самоваром я читаю вслух. И то, что меня занимает и для «науки». Пробовал Маркса, да оказалось мудрено: в таких вещах надо самому потрудиться, чужого голоса мало. Отложили до весны — придет весна, ночей не будет, один круглый день и никаких медвежьих сонных соблазнов, ни ветровых баюкающих зовов.

Ишь, какой гудивый, дүлый. И в трубе и в щелях и под крышей, и за окном на воле — в волю рывь и вой. Что ты просишь, о чем тоскуешь? Или унывный лад — твой сказ и твоя песня? — И почему, прислушиваясь, о чем-то вспоминаю, часами слушаю — ты не мне баюн! — и не наслушаюсь черных обаянных песен. Твое черное сердце — извечная горечь — пучина моего слова.

Оде прислушивалась, я заметил.

— Что ты бормочешь? — спросил я.

Но она не слыша мой голос, свое шептала; я разобрал: «бабушка жива».

— Чья бабушка?

— Ветрова, — сказала Оде.

Я не знаю, как это... Оде мешала зырянское с русским, и о какой это Матери матерей?

На Океане в Бретани я вспомнил наши северные вьюги, крутящую метель в-подхлест с поземелицей, и Оде я вспомнил, заклинание, припев о Матери матерей.

Бабушка Альфреда, она называла его Арманом, *la sorcière, divinèze* — обаяница-ведьма, тоже что-то шептала, когда из ночи гудело море и ветер, чернее ночи, перепев все вóи, вздернул на дýбу море и изывал, из горьких пропастных глубин истока, слова. И когда она кончила молитву, я спросил:

— Это ветру?

Ему, — сказала она, — за ночь много набедит беды. Но зла в нем нет. Матерь матерей (*Mam ar mamotu*) уймет его.

---

По вечерам за самоваром я читал по истории: чего же занятнее и нечего голову ломать. Я читал как строилось русское царство, с татарами, Сибирью — Москва. Я стараюсь быть марксистом, но «покровского» толку из меня никогда не выходит, особенно я прошибался, когда начинал повесть о русских святых-строителях русской земли и веры, с вербой, троицкими березками и красной Пасхой.

В праздники приезжала из Устьвыми Марианна, всегда зайдет послушать; Аннушка и без Марианны всякий вечер и неизменно Оде.

И Аннушка и Марианна оживлялись, когда я читал рассказы: я читал Толстого, Тургенева, Лескова и, нашего Вальтер-Скота, — Лажечникова. Но особенно оживляли сказки — «несбыточные происшествия», как говорила Марианна. Любимым, конечно, был Э. Т. А. Гоффман. При трудном они слушали меня, как сам я слушал ветер: мой голос, всё равно что, их чаровал.

Теперь — а прошло полвека — дыхание уж не то и сам полуслепой, но еще совсем недавно я пользовался моим природным даром, как лекарством и, без Китайского порошку, только моим чтением разгонял у человека бессонницу.

Оде усаживалась с ногами на мою кровать. Я чувствовал на себе ее упорный неотступный взгляд.

«Чудное дело, думал я, Оде ничего не понимает, а следит, переговаривая мой голос». И мне казалось, вот я услышу знакомое, и мое чтение понижут, странные для меня, слова о Матери матерей. Вдруг обернувшись, я встречал не по-детски печальные глаза, — я знаю эту напоенность неугасимой болью, когда судьба сломит душу и отойдет на время: выпрямится или согнется? И под моим глазом вся ее чудная мордочка вдруг озарялась. И сладко зевнув по-кошачьи, она тихо засыпала. А я продолжал читать.

Однажды, как расходиться, я сложил книгу. Этот вечер с поляничным вареньем посвящен был Достоевскому: я начал читать «Униженные и Оскорбленные». Прибираем со стола:

на-ночь никогда не оставляли невытое. Ушла, повздыхав, хозьяка, а за ней Аннушка. А Оде спит себе.

Обыкновенно ее расталкивали, а тут я подошел к кровати и тихонечко, как детей гладят, провел рукой по лицу — «теплые-претеплые, говорил я, плялки, и курнофей живой, и оттопырки»... и, сделав по губам ей, как по струне, я коснулся шеи: «шейка», сказал я и не договорив, невольно отстранил руки, — она, вся вздрогнув, широко раскрыла глаза и не видя меня, я это чувствовал, напряженно уставилась, приподымаясь, и вдруг горько и покорно, как о потере безвозвратной, заплакала.

Я на другой день спросил мать, что такое, отчего это?

— Напугана — сказала мать — но она всё забыла.

— Что всё?

И я заметил, как Аннушка оленьими глазами строго, испытывая, уставилась на мать. Я понял, она боялась, мать проговорится. И еще я понял, не во мне тут — мне можно всё сказать — а в Оде: Оде что-то услышит и вспомнит всё.

---

«Много прошло времени, — читаю Достоевского последние страницы, — до теперешней минуты, когда я записываю всё это прошлое, но до сих пор с какой тяжелой пронзительной тоской вспоминается мне это бледное худенькое личико, эти долгие взгляды, когда, бывало, мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня со своей постели, смотрит, долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у нее на уме; но видя что я не угадываю...»

Вдруг Оде поднялась — но не шатаясь, не тыча пальцами себе в жмурящиеся от света глаза, и шла не к двери, а прямо к столу — это у всех на глазах, — и я остановился: глаза ее были открыты, из глубины глядела она перед собой через. И две вербовые хлесточки обвилились вокруг моей шеи. И под тройными шкурками почувствовал я всю жгучесть ее слабых детских рук. Высвобождаясь, я невольно дотронулся до нее — и она тотчас проснулась. И заплакала.

Марианна увела ее.

— Оде заснула, — сказала Марианна, вернувшись, и, чего-то извиняясь, добавила: — напугана.

Я стал присматриваться и был очень осторожен.

Гоголь со всеми своими страхами никак, а Достоевский через голос действовал, пробуждая что-то невольно даже сквозь сон.

Но, вообще, ничего особенного я не заметил и только эти печально всматривающиеся глаза. Пробовал расспрашивать и тоже ничего. Оде говорила очень мало, в говоре у нее было общее с Марианной. А Марианна говорила чудно.

### 3

Марианна любила сказывать сказки — «несбыточные происшествия». Сказывала по своему, и самое обыденное обращалось у нее в чудесное.

Долго я не мог понять, в чем тут зацепка и только вслушавшись, сообразил: произношение — тайна первых измерений голоса.

Гёте в «Вертере» дает совет и совершенно верный: сказку сказывать раздумчиво. Но одним раздумьем чудесное разве возьмешь? Нет, надо еще что-то, и это что-то, чему нельзя научиться взблеск корней слова, что я называю первым измерением голоса, это дар Божий и в этом всё.

Марианна любила сказки про оборотней: как наговором можно обратить человека в медведя, лягушку, зайца, лошадь, собаку — на срок и до отговора.

Через слова Марианны — в первозвуках ее слов — мне открылась тайна превращения. Оказывается, не всякого во всё можно: превращение это только обнаружение скрытого. Нельзя, например, меня обратить во льва, а в вола или осла — особенно и мудровать не потребуется. И еще: когда чары перестают действовать и человеку-оборотню возвращается его человеческое лицо, человек сохраняет память, помнит свои звериные деяния. И еще: при каком-то высшем напряжении чувств или, если накалить душу дó-бела, человек как бы выходит из себя, и в каком образе видит себя — что тут медведь, лягушка, заяц, лошадь, вол, осел — нет меры безобразия

и зверства каким может показаться человек самому себе и без всяких чар и наговоров.

И еще я понял и проверил на себе: да разве каким меня знают по встречам и фотографиям, да разве это тот я, каким я сам себя чувствую и представляю, живу среди людей, измышляя и действуя. Вот почему дети так не похожи на взрослых: у детей нет еще этого разлада: быть и казаться. С годами человек самой жизнью, этой чаровницей из чаровниц, обращается во что-то и без всяких умышленных чар и наговоров.

— А как эти? спросил я.

Марианна поняла.

— Эти, — сказала она — они вольны в кого хочешь, но никогда совсем, так и узнаешь их: что-нибудь да вылезет постороннее.

При этих словах мелькнула мысль — воспоминание: в Киевском Патерике бесы приходят искушать затворника: они обернулись в ангелов — как настоящие ангелы и сияние, и умиление, и белая одежда, а между тем, ноги у них куриные. Восхищенный затворник не видит, а зоркий глаз художника, изобразившего это бесовское явление, заметил.

— Леший, — продолжала Марианна, — обернется медведем, а глядишь, хвост торчит беличий, и наоборот, прыгает белка, а лапы медвежьи. Тоже и водяника, не отличишь от человека, а нагнулась камушек с песку поднять, смотришь, а у нее как вареная раковая шейка сзади. Тоже и кикимора.

— Кикимора в виде кошки, — перебил я, вспомнив, что читал про кикимор в «Живой Старине» и в «Этнографическом Обозрении».

— Откуда вы знаете? — Марианна испуганно оглянулась. Но кроме нас никого, а сапожники спят.

— Кикимора кошкой... — шопотом сказала Марианна, — кикимора, она может... я вам когда-нибудь всё расскажу.

Видно было, ей не терпелось сейчас же рассказать какую-то таинственную историю — «несбыточное происшествие», но она боится. И потому, как она боялась, мне стало ясно, что тайна дома связана с кикиморой.

---

У меня с кикиморой давнее. В первый раз про кикимору я услышал в детстве. Шел я из гимназии, и был такой сырой день, мне всегда легко и трепетно в такие серые дни: сквозь туман моросил дождь. То ли это на лице у меня было написано, а навстречу шел какой-то видно, без всякой тишины и, поровнявшись, ощерился: «курносая кикимора», — сказал он и сделал такое губами беззвучно, но очень чутко: «дрянь». Непонятное слово и как оно было сказано, щипком разбудило меня, и уж совсем не легко, прыжками я дошел домой.

Вечером на кухне, я нарочно выждал час ужина, я спросил о кикиморе и оказалось, нянька, кухарка, горничная и старуха-богоделка, забредшая к нам в эти дни, все очень хорошо были осведомлены о кикиморе. Откуда пошло это слово «кикимора», они ничего не могли сказать, а о житье-бытье кикиморы очень даже.

Нянька называла как-то бережно и уважительно «кикиморкой» — и что она чудная, проказа.

«На тебя похожа, — отозвалась старуха богоделка, глядя на меня добрыми усталыми глазами, — вот как ты, — и она назвала меня ласкательно, — всё-то озорничаешь!».

«На какую попадешь, — поправила кухарка, — шутки шутками, а бывает и больно, а уж какая она грёма — неупасимая: напустит по полу синие огоньки, завертит своё веретено и все тарелки перебьет и сковороды повывернет шалуй».

Маша горничная рассказывала целую историю о проказе кикиморы у них в деревне: она давилась от смеха поминая случаи, где было много изобретательности на трунь и безобразиие.

---

Я представлял себе кикимору: озорная, насмешливая, проказливая и веселая, а значит, так рассуждал я, по человеческому, и добрая — разве в веселости подымется рука смазать кого или сорвется жестокое слово?

А узнаю от Лядова — музыка Лядова на слова из «Сказаний русского народа» Сахарова, — что кикимора существо чудное я бы сказал, сестра Калечины-Калечины, а о Калечине-

Калечине я тоже много наслушался на кухне: обе лесные, тоненькая как соломенка, курнопятая, ноздреигривая и бровоход — бровями, что лошадь ухом, но никак не добрая, «зло на уме держит на весь люд честной».

Откуда и почему у кикиморы зло на уме?

В «Сказаниях» у Сахарова ничего не говорится и ни в каких этнографических матерьялах я не встречал объяснения и в рассказе у Порфирия Байского (Орест Мих. Сомов), написано, конечно, по каким-то записям, нигде ни пол-слова. Одно известно, что родина кикиморы — Вологда.

Как-то Марианна спросила про «аспида». Василиска она немножко знает, «лупоглазый», а про аспида ничего, и то ли это вертунок, то ли трескунник — не представляет.

Вопрос не совсем обычный, теперь бы я дал ей самые точные подробности о василиске, далеко ходить не надо: наша консьержка. А про аспида я только могу, что вычитал из наших старинных азбукников.

— Аспид, — сказал я, — есть змея крылатая, и в которой земле вчинится, ту землю пусту чинит, а живет в каменных горах. Ведь и кикимора с гор?

— Нет, кикимора лесная, — поправила Марианна.

-- Нос имеет птичий, — продолжал я про аспида, — и два хобота; терпеть не может шуму и беспорядку и особенно противен ему трубный глас и самая нежная вольторна его сшибает: хоботом уши заткнет и сидит на корточках, весь трясется от возмущения, тут его голыми руками и бери: не боднет и оклевать не удосужится.

Тогда еще не существовало медной противоаспидной музыки Вареза и я сослался на околоточного Павлушкина — выступает на клубных вечерах соло на корнет-а-пистоне: какую силу Павлушкин в себе содержит и какими делами мог бы ворочать, живи он где-нибудь на Урале, где аспиду разлюбезное место разбойничать.

На Марианну это очень подействовало и я воспользовался ее удивлением, спросил про свое:

— Скажите, правда это, что кикимора злая?

— Совсем наоборот! — сказала Марианна, — полюбит кого, и мать родная такого не сделает.

И опять, как тот раз, чего-то испугалась.

— Не спрашивайте, я вам всё расскажу.

— Да когда же?

Еще больше разожглось мое любопытство к этому таинственному, всё объясняющему и судьбу Оде и всего их, обойденного людьми дома. И мне пришла в голову мысль, я вспомнил о рассказе Сомова, — но где тут достать «Северные Цветы»?

#### 4

Как только усмотрелся я в Устьсысольске, прежде всего вспомнил о Надеждине.

Н. И. Надеждин (Надоумка), профессор Эстетики и Археологии в Московском университете, редактор «Телескопа», осенью 1836 года за «Философские письма» Чаадаева, напечатанные в № 15 «Телескопа», сослан был в Устьсысольск, а «Телескоп» запрещен. Два года провел Надеждин в Устьсысольске, а затем переехал в Вологду.

В Устьсысольск Надеждин привез много книг и едва ли всё взял с собой в Вологду. Мне хотелось дознаться, сохранилась ли через шестьдесят пять лет память о нем и не попадают ли книги из его богатого собрания?

Среди книг, привезенных Надеждиным в Устьсысольск, был, конечно, «Телескоп», «Вестник Европы», возможно и «Северные Цветы» с рассказом Сомова.

Я спросил Марианну:

— Вы слышали что-нибудь про Надеждина?

— Надеркин, — поправила Марианна, — как-же, в полиции служит, следит за вашими.

— Вам попалась книжка «Северные Цветы»?

Марианна много читала сказок, но про «Цветы» не помнит.

— Если бы достать эту книжку, — сказал я, — я бы вам прочитал сказку, как одной девочке явилась кикимора в виде кошки...

— Нет, нет, не читайте — перебила Марианна, — я вам сказала, я всё расскажу, — и подумав: — когда придет весна.

## 5

Пришла весна — вечером я заглянул в окно — звенят ручьи — и узнал ее.

— Пришла весна!

За мной потянулась к окну Оде и долго, уставясь, смотрела: черное небо низко спускалось над лесом и чернее черного неба лес копошился. И вдруг вздрогнув, Оде обернулась — и это было так, как будто через меня дошел до нее весенний оклик. В ее глазах было столько не по-детски осмысленного: она как будто что-то уже вспомнила, поняла и, глядя мне в глаза неотступно, просила — о чем она просила? Спасти ее? (Я ведь ничего не знал и только смутно бродила мысль о ее обреченности). Нет, не заплакала, а как шалая, горя глазами, вышла из комнаты, шатаясь.

С этого дня Оде не узнать было. И с каждым днем она становилась беспокойнее, а за моим вечерним чтением не спала уж, она подсаживалась ко мне и о чем-то своем глубоко думала, едва ли слушая чтение. А днем я видел, как она бежит по двору или станет на кедровый пень и долго стоит, запрокинув голову, глазами в черное небо.

Весна всё перевернула — поднялись из спячки и мои товарищи: себе на развлечение, а мне на доuku. Мешки с гвоздями сняты, инструменты вычищены, кожа вымочена, высушена и разглажена.

Лесничиха затеяла к Пасхе сшить себе какие-то невообразимые туфли: чтобы неслышно ходить и каблуком приотпывать: «как у Марии Антуанеты!» объяснила она, лисой острый язычек крутя. Тоже и околоточный Павлушкин — откуда такое запало, но чтобы сшить ему к Пасхе сапоги, как у Виленского брендмейстера, и со скрипом в такт с корнет-а-пистоном.

Работа закипела. А кто ж молчком работает, да если еще вдвоем да из подпорченного матерьяла.

У пана Яна обнаружилась непомерная заносчивость, а голос — пилá, а у пана Анжея — с вылетом или гáвком. Если по-польски для русского уха и самое домашнее, при подстукивающем цоканьи, кажется всурьез, но когда дело доходит до ругани, тут только и ждешь набросятся и — кусать.

Работа, да еще весенний шальной напор: с каждым талым днем оттаивало молодое сердце моих сожителей и как зимой к спанью, пристрастились они, выражаясь модным словом времен Новикóва (ударение на окончательном «о» в отличие от прочих), «махаться» (ударять) за Аннушкой и, конечно, ссорятся друг с другом до грызни.

И всё чаще стал я вспоминать то блаженное время, когда занимал на земле не «поднадзорный» угол, в обойденном людьми мирном доме, а одиночную камеру с привинченной к стене, на дневные часы, кроватью.

---

Вытолкнутый из строя зимнего затишья, сейчас, в весеннем несмеркающемся свете, в непрерывных спорах и окриках над ухом, задумался я о себе, о своей с л у ч а й н о с т и среди людей и как захотелось мне быть только не самим собой.

Все мне казались людьми, как человеку быть. Все что-то делали и рассуждали, а я и гвоздя вбить не сумею без того, чтобы не садануть себя по руке, а моя затея посмотреть лес, наперед скажу, — курам на смех: меня привезут на остров и там с первого шагу я завязну во мху и лишаях, и слесарь Тупальский, ссыльный из Риги, возьмет меня на закорки и час мы проведем в лесу — и разве я могу взять кого на закорки? А самостоятельно — на что я годен? А мой «марксизм»? Когда Федор Иваныч примется объяснять «производственными отношениями» самое, казалось бы, темное, запутанное в жизни человеческой, выходит всё просто, наглядно, стройно и вразумительно и уж никаких вопросов, а я в пустяках путаюсь.

Правда, несмотря на мои горячие желания уверовать в какие-то законы человеческих действий, будто бы доступные

власти и силе человеческого рассуждения, у меня и тогда закрадывалось сомнение, но это только потом я понял, что все теории, настраивающие беспорядочную жизнь человеческую, изобретены убежденнейшими гениальными дураками (пускай в кавычках) для нетребовательных дураков (без кавычек).

---

На Пасхальной недели, по распоряжению из Вологды, у меня, в моем углу сделали обыск. Тут я познакомился с Надеркиным, имя которого прозвучало для Марианны в моем Надеждине: Надеркин предводительствовал «персидскому» шествию полиции, один в штатском, но, как все, в валенках («Слоны — в сапогах»).

Мне его было жалко: забитый и ослюенный, такие попадают лица от природы мокро-вытарашенные; а держался он робко и подобострастно — хотел выслужиться.

Обыск ничего не дал — зря Надеркин старался! — даже мои рукописи, на больших листах, только пальцем потыкали, мой почерк очень понравился; а книг столько — нешто мыслимо пересмотреть, а главное, как отличишь запрещенное от дозволенного, это не Москва, не Петербург, даже не Вологда, где в полиции служат ученые профессора и лица духовного звания и во всем разбираются. И взять, ничего не взяли.

Я подписал протокол. И всё.

Да, о «незаконных собраниях» (по вологодскому пункту) — что вечерами всю зиму книжки читал вслух.

— Но ведь я читал сказки, — сказал я, — и кроме хозяев никого из посторонних; случалось, Марианна приведет подруг: учительницы.

— Эти не считаются.

— Самовар поспел, давайте чай пить! — предложил я моим гостям.

(Потом от своих мне будет укор: «чего с полицией возжаюсь?» — а я, ей Богу, искренно о чае).

Отказались: неловко городских задерживать — стража стояла вокруг дома, как полагается в таких случаях.

Забредший сапожник Петров, тоже ссыльный, из Вильны,

лихой гармонист, на грибных ножках, запустил «Варшавянку» (Это всё для безобразия!).

Так под «Варшавянку» и тронулось «персидское» шествие с пустыми руками назад в полицию: впереди Надеркин, за ним пристав и городовые: пристав и городовые — в валенках («Слоны — в сапогах»).

Домашние отнеслись к обыску равнодушно, только Оде весь час простояла под дверью: она боялась, что меня уведут и я не вернусь. Никого не удивило и по городу, и не обо мне была речь, а о доме: чего и ждать от такого дома, в тюрьму угодишь — ничего удивительного.

На Красную Горку пан Ян не выдержал и вышел прогуляться. И только во вторник вернулся драный, испитой и вихрастый и не глядя, сел молчком кончать дрожавшими руками простроченные туфли Марии-Антуанеты.

А пока колобродил пан Ян — он начал с трактира — молва гналась по пятам и рассвечивала его мрачные похождения. Кто-то подсмотрел в щелку — видел собственными глазами, как ссыльный поляк от Геллер, нетвердо вошел в сарай, растянул себе штанной ремешок, повесил на крюк и стал прилаживаться, но тут его спугнули; был он очень недоволен и ругался, слов только не разобрать: «хотел повеситься, несчастный!» И опять всё свалили на дом: кроме беды, другого и ждать не приходится. Я уверен: загорись дом — сгорит, никто и пальцем не пошевелит.

Пасха была ранняя. И Семик (четверг на Зеленой неделе перед Тройцей) пришелся на конец мая. Прошла река — какая гроза и раздолье! — прогремел первый гром, легонько побрякивал, совсем-то не страшно: северный Громовник не громче Костыги.

На рожденье Оде — ей исполнилось четырнадцать — приехала из Устьвыми домой Марианна.

Я наострился: сдержит ли Марианна слово, расскажет ли мне в сё? и какая это будет сказка. Но случилось, и как раз в день ее приезда, в Семик, для меня загадочное, а другим —

да иначе и не могло быть, — и уж не от кого таиться: «всё» — на лицо: Оде пропала.

Ее найдут в лесу на острове, но домой уж не вернуться: ее широко-раскрытые глаза, синие до черни, захлебнулись — то ли задушил ее кто, то ли сама задохнулась.

## НЕСБЫТОЧНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Та своенравная судьба — она своими пальцами вглодалась в горло Дездемоны и вырвала глаза у Эдипа, и вот — смотрите! — она «подстригла» мои купальские глаза (я родился в купальскую ночь). И мне открылась — на какой-то крест мне — странная жизнь на земле непохожих мар и виив. И я заглянул в их круг.

Эти водяные, воздушные и подземные — не зверье и не люди, они измывают в солнечном смертном круге свою бессмертную долю.

Человеку это не открыто — есть за́казанный лунный выход; мечта их — чужой смертный жребий, стать человеком — единственная надежда.

Зыб́я, они колыбают землю, горькими чарами чаруя и тоской иста́ивают сердце человека.

Они зачаты в роковую встречу Сестры и Брата — Кручины и Света. Из восторженного сердца возник мир: звери, птицы, рыбы, деревья, травы, человек; озаряя землю лучами солнца, Свет поднялся на Брусяные горы выше над высью солнца, за месяц, за звезды, за радугу — недоступно; Свету его, заповедной солнечной мере, они неподвластны, они вышли из сырых туманов и извечной горечи: не родятся и не умирают, безысходно.

### 1

Когда Оде исполнилось семь лет, в дом повалило счастье. Это очень важно, но важнее то, что в доме по ночам стало твориться необычайное. Это связано с Оде.

Оде, как зверек самый быстрый, день-деньской по двору бегаёт; сестры старше, подруг не было, и всё одна скачет, и в какие-то игры играет, смотреть чудно. Растреплется, раскраснеется и вся-то вымазанная, испачканная; куда только не лавила, куда не пряталась — белка-и-мышка. А вернется в дом

и по-часту прямо в кровать, не поужинав, не умытая, да так и заснет.

И вот что странно: на утро не узнать — вся вымыта, лицо свежее, волосы расчесаны и сорочка белым-бела, и кровать прибрана, и подушка взбита, и около кровати выметено, вычищено, блестит. И что еще страннее: ночью. По ночам слышно: вертится веретено и нитка жужжит, а в заводе никаких веретен не было, никто не пряд. И под мерное веретено так сладко спалось, и куда уж встать проверить, лень на другой бок перелечь.

Спрашивали Оде. Да никакого веретена она не слышит. А всякую ночь чудится ей, будто она в каком-то саду, серебряные и золотые яблоки и птицы, только на картинках такие, с длинными хвостами и головы ящерицы, и деревья, выше самых высоких елок, но без крестов, в коронах — она не говорит хвощи, а это были до-ледниковые папоротники, и с их корон сыпались искры — такие яркие горели солнца над ними: цвет месяца — и заревой и розовый, синий и зеленый — и в искрах играла музыка.

---

Все ушли со двора, в доме одна Оде. Был тихий день, тепло.

— Куда задевалась моя палочка? — с этой палочкой Оде бегала последние дни, играя в свои игры.

Оде шарил по углам: ну, не помнит куда сунула. И вдруг видит: из-за печки кошка — в доме не было кошек — и очень большая, таких она никогда не видела — серая, белое брюшко и голова большая, несуразная, ярко-зеленые глаза, а длинный пушистый хвост трижды обвивался вокруг шеи, и вся светила, точно из хрусталя.

Кошка ласково посмотрела и протянула ей длинную мохнатую лапу: когти выблискивали из-под пальцев.

Оде ничуть не испугалась: или оттого, что уж очень чудная кошка, неправдошная. Не испугало Оде и то, что лапа с блестящими когтями показалась черезчур холодная и какая-то легкая, приставная.

Как по волшебной указке, палочку Оде нашла сейчас же. И прямо за дверь во двор прыгать белкой и кружиться мышкой. Она представляла себе как во сне: она играет в саду — серебряные и золотые яблоки и искрящиеся музыкой деревья.

(По тем местам яблоков не водится, репа взамен их).

И только к вечеру Оде угомонилась, часов она не замечала, не заметила, что давно вернулся отец и мать и сестры.

За ужином она вспомнила про свою палочку.

— А что эта кошка, откуда она?

— Какая еще кошка? — нетерпеливо сказала мать.

— Да там! Оде показала на печку.

Не обратили внимания, и только потом всё вспомнится! Да, было не до кошки. Отец — он потерял всякую надежду побывать на родине, и вот, по какому-то милостивому манифесту, получил свободу: с него сняли надзор и только ограничения, как бывшему ссыльному, но это касалось Петербурга, Москвы, Варшавы, а в Познань, родной город, путь чист.

Как спать ложиться, Оде тихонечко к печке. И не ошиблась: за печкой сидела кошка. Оде сама ей протянула руку.

В ответ кошка повела т á к усами — и без слов ясно: не надо было Оде говорить про нее, и никто чтобы не знал о ней.

И долго держала она руку в своей холодной когтистой лапе, потом плечами так сделала, как вздохнула, и отпустила руку.

В эту ночь особенно чутко веретено вертелось и горький голос закатывался из жужжащей нитки.

Слышала мать и из глуби ее чувств подымалась перед ней со счастьем мужа неизбежность разлуки — разлуки навсегда.

А у отца, он тоже слышал, тлела горечь свиданья — ведь время, как вода, сотрет и самую глубокую память бесследно.

Но веретено в-перемóть крутилось, баюкая, отдаляя срок.

И для Оде, в ее волшебном саду, в эту вещую ночь музыка была такая — так сама она рассказывала по утру — отчетливо вдруг плакать хотелось.

---

Тайна матери — невыговоренное предчувствие разлуки; тайна отца — невыговоренное предчувствие разочарования. И у Оде была своя тайна.

И всякий день Оде встречалась со своей странной подружкой, рассказывала ей о своих играх и о чудесных снах.

Кошка слушала, наостря уши, видно было ее забавляли наивные детские рассказы и как, еще не вросшие, слова выговариваются с передышкой. И каждый раз, как уходить Оде, она долго держит ее руку, не отпускает, не отпустила б! — долго держит и всегда так плечами сделает, как вздохнет.

И уж Оде тянет в дом — она не так бегаёт по двору, как раньше день деньской, а всё около печки.

Ее удивляет, что хвост у кошки такой пушистый, а легкий как пар, не ухватишь, и такие острые когти, а ничуть не больно, только холодно. И как-то взяла она ее за лапу и губами подула, лаская — и как будто не так стало холодно. И забывшись, всё просила сказать ей, почему так холодно?

Немая, с грустью смотрела кошка и в ее зеленом переливном взгляде было как в той музыке, вдруг плакать хотелось.

Отец и мать забеспокоились: что случилось с Оде, о чем всё думает и из дому ее не выманишь, а ведь еще так недавно со двора не дозваться: всё-то около печки и кому-то рожицы строит и разговаривает: если это в игру — странная игра! или вдруг заплачет...

Пробовали говорить, а Оде только улыбается лукаво — так дети улыбаются — это их тайна, такой лукавой улыбкой завешана.

Но особенно не настаивали: не мешает.

По прежнему кто-то о ней заботился: умывает и охорашивает. И веретено всю ночь вертится, нитка жужжит, уводя от горьких дум к «радужным» мечтам, и баюкая.

Мать поднялась среди ночи, засветила свет — всё видно.

Оде сидит на кровати и руки так протянула, точно что-то держит и так улыбается; потом опустила голову в подушку и повертывалась, точно кто-то причесывал ее.

Со свечей мать подошла поближе, но не смела окликнуть:

очень глаза у Оде были странные, она смотрела через — жутко смотреть человеку в такие глаза.

Оде привязалась к своей кошке — неразлучны. Тонкий прозрачный лед окутывал кошку, но сколько таилось теплоты и любви в ее взгляде. Оде чудилось, и без слов говорит ей кошка, что из всего ей дороже всех Оде: и ни отец, ни мать, ни сестры так не любят, как она любит ее, и всё-то ей будет делать и даже то, что ей трудно сделать, для нее сделает.

Кошка подымала свою когтистую лапу и, проведя по лицу Оде, обмахивала хвостом. И эти прикосновения были, как свежий воздух: дышится легко.

Оде не могла не заметить как она чиста и нарядна и всё вокруг нее блестит, стоит только подумать, и всё исполнится. Даже в таком: все жалуются на холод, а ей — не замечает, или говорят — темно, хоть глаз выколи, — а ей как днем, точно кто-то ей светит и греет.

Оде видела заботу о себе и всё это делает кошка. Но кошку никто не видел и никому невдомек, что живет она за печкой.

«Почему никто кошку не видит? И если она неправдашная, какая она настоящая?»

Когда-то были молчаливые игры, всё было в движении — белка и мышка! — а теперь, играя около печки, Оде сама с собой разговаривала. И в этих разговорах проходили часы — весь день. А в словах, чаще всего, поминалась кошка.

## 2

А проходил теми местами странник.

Странники шли через Устьсысольск из Сибири, Перми, Вятки, Верхотурья к Прокóпию, «Юроду Пречистыя Девы Марии»: река и звезды — их сестры, лес будет им братом, пустыня — невеста.

И как вошел странник в дом, озирился, глаза горят — сел молча, задумался.

Отец и мать ему о Оде всё с самого начала, когда ей

исполнилось семь лет, и какая она была и какая нынче, про веретено и, как играя, разговаривает сама с собой, и как смотрит улыбаясь — так улыбаются только тому, кого любишь и кто тебя любит, и вдруг заплачет; помянули кошку.

Странник внимательно слушал, и говорит:

— Кикимора у вас в доме, добрые люди.

Они испугались.

И каждый из них подумал: в чем же я виноват?

— Вы не причем, — сказал странник, — кикимора не демон, — и подумав: только опасно.

— Да ведь зла мы от нее не видим, — сказала мать, — в делах удача...

— Удача! — перебил странник, — за удачу бывает расплата.

И с грустью посмотрел на мать. И она, что-то вспомнив, вздрогнула — а это она про свое, про свою ночную думу: разлуку.

— Крестом их не взять! — бормотал странник, — крест на отверженных и проклятых, а этих крестом ни! Кикиморы, лешие, водяные — Христос их не гнал: «ветер и море слушались Его». Каждый в своем волен: кикимора — лесная.

(Я бы прибавил: кикимора — химера, не демон, и помянул бы добрых отцов XVIII века: l'abbé de Villans, Père Bougeant, Don Pernetty, милующих всю Божию тварь: и сильфов и саламандр и ундин и гномов: помянул бы и Юстина Кернера, покровителя духов).

— Кикимора неспроста к вам пришла, — продолжал странник, — есть что-то у нее на уме. Не зло, только опасно. Добро ее может всегда повернуться злом. В семь лет игра, серебряные и золотые яблоки, а в четырнадцать, тут уж без сказок — опасно! Их мир печален, молчалив, затаенный, из круга их жизни никому не выйти, но как-то перемениться переступить черту — эта искра воли, мечта о свободе и у них живет, они, как человек, страдают в этом неполном, по нашему гордому человеческому разумению, недоделанном, ошибочном, на наш гордый человеческий глаз,

Божьем мире, где счастлив только тот, кто любит! — и посмотрел на мать.

Она глубоко вздохнула. Если бы могла выражаться, она бы сказала:

«Какое это горькое счастье — любить!»

— А переменит их только любовь, — продолжал странник, — только через любовь к человеку они на какой-то срок могут выйти из своего круга. Но полюбив, овладеть любимым... их мера не наша и человеку не под силу. Сказка складка, вся их жизнь в сказке, а у человека в песне, песня была, а когда пойдет впережку, жди беды.

Отец и мать просят освободить их.

— Если можно!

— Крест им не противен, но есть другое средство, — сказал странник и поднялся.

Он ходил по углам и шептал. Отдельные слова звучали ясно:

— От летучего — от пływучего — от ходячего — от ползучего — от скачущего — от прыгающего — от хохочущего...

И руками, как вызывая, он волновал воздух, и туда и сюда — прочь за окно.

Он заглянул за печку — кошки никакой не видно. Долго стоял он молча, глазами через, как Оде ночью. Потом, пятясь — лицо к печке — медленно дошел до двери и быстриком во двор. Взял горсть земли и став на пороге, трижды перебросил землю через плечо — из сеней туда.

— Через три дня, — сказал странник, — будете свободны, притерпите.

И наступила жуткая ночь, когда странник простился и ушел — туда!

## 2

Белая ночь — огня не зажигают.

Ближе полночи мать задремала и — вскрикнула: в ее глазах синие огоньки прыгали по полу. Отец поднялся посмотреть и среди комнаты вдруг отшатнулся, ровно б наткнувшись на

что-то, а ровно ничего не было, и не сделав и шагу, опять: что-то подсовывается пѳд-ноги, и пропадало. Синие огоньки прыгали пѳ полу.

А когда сон одолел и все улеглись, дом как сдвинулся, окна зазвенели и посуда посыпалась с полок. И всё пошло в-верх-и-в-низ-в-мах-и-в-верть, скорлупой. Стулья и столы с завѳем летали, подлетая под потолок, и под досадной рукой с сердцем бѳцалась об-пол табуретка. Стукотне и злomu лѳту конца нет и не будет — всю душу выворачивало. И уже не синие сухие огоньки, синий блеск глазетных ящериц шнырью суетил дом. И всё вдруг затихло. И только чутко, как кто-то мягко ходит по комнате и медвежонком сопит. А это еще жутче стуков, лѳта и воя: открыть глаз не смели, и не помнят, как доканал сон.

А на утро открылось: и смех и грех — безобразие: отец лежит головой к ногам — ногами в подушку уперся, мать под кроватью и так забилась, едва вытащилась, все руки ободраны и пылью нос набит, а сестры: Марианна на животе, гузном нѳ-голь, Аннушка задрала ноги к подбородку и руками придерживает.

И только Оде, она ничего не слыхала и как всегда, умыта, прихорошенная и вокруг ее кровати всё на месте, ничего не задето, блестит...

### 3

С понедельника Оде не выходит. Завороженная не отходила она от печки и не отзывалась. Печальное, устремленное в ее глазах, она протягивала руку и так держала, как бы держась за чью-то. А какая горечь в ее улыбке — неизбежность цветила горьким светом ее побледневшие губы: ее кошка покидает дом!

Но было не до Оде: с понедельника всё перевернулось, хуже тюрьмы. И когда наступила третья ночь и, как в первую, запрыгали по полу синие огоньки и чьи-то цепкие руки хватают за ноги, все сбились в кучу — казалось, дом рушится и вот-вот придавит. А когда за ящерицами всё затихло, тот самый, кто сопит медвежонком, ходил со штопором и каждого

раскупоривал, вытаскивая из головы пробку. — искры летели из глаз.

Не знаю про зверей, а человек терпелив, может долго не огрызаться. Но есть мера — больше не вынесешь и это, непременно, скажется. Оставалось покинуть дом — и пускай всё добро пропадает: больше невозможно!

Оде поднялась, как всегда, она ничего не замечала и сейчас же к печке. И что-то губами так сделала — покликкала? И вдруг забеспокоилась, кошкѣ ее не было. Еще раз покликкала — безответно. И выбежала во двор.

Это была прежняя Оде — белка и мышка. И не было ни угла, ни закоулка, ни норки, ни щелки, куда бы ни заглянула она — двор был как выметен ее ищущим глазом.

Она стояла среди двора на кедровом пне и, не спуская глаз, смотрела на крышу — там, у трубы сидит кошка. Да, это была ее кошка — и какая обида в ее глазах, она манила Оде жалобно.

Оде пригнулась и — к стене, и по стене, карабкаясь сама кошка, поднялась на крышу.

Она стояла на самом гребне и, как во сне, смотрела через и улыбалась: сколько счастья в этой улыбке и какая горечь! Запрокинув голову, она протянула руки, точно кто звал ее за собой, а сам подымался — ее кошка была выше трубы.

Первая заметила Марианна и позвала мать. И отец и мать вышли во двор.

Оде, упираясь в карниз, держала руки, подняв высоко над головой, глазами к поднимавшейся всё выше кошке.

И это казалось так невозможно — так долго длится, это такое — это страшно. Мать не выдержала и застонала. И жалобный слабый стон громом ударил в затаенное дыхание Оде и она ровно кулек сорвалась с карниза и упала на землю лицом — туда!

Она лежала на земле — ни кровинки и ушибов не заметно, холодная, не дыша. Отец поднял ее и перенес в дом. Положили под образа.

И в доме всё затихло.

Ошалелые за три ночи, отец и мать и сестры тыкались по-комнатам, собирая черепки и стеклышки.

За таким немудреным занятием застала их какая-то наброжая: дверь в дом не заперта, замок выломан, без стуку вошла.

Она была нездешняя, вся закутанная в платки — самодка, что ли! — очень чудная, не горбатая, а смотрела как горбатые, вверх.

Как ей обрадовались: живая душа. Показали на черепки — а она уж всё знает.

— Вам, добрые люди, надо позвать кикиморку! — говорит она, не смотрит, только видно, как в глазах чуть светик беспокойно полouveет.

— Какую, — говорят, — какую еще кикимору!

Совсем они сбились с толку. Сейчас у них тихо, ушла кикимора, странник увел ее, и вот опять...

— Да вы не бойтесь, — сказала Кикиморка, — я вам зла не сделаю.

Поверили. Со страху не только кикиморе, а и человеку поверишь. Повели ее в комнату, где под образами лежит Оде.

Как тот странник, озернулась кикимора, втянула в себя воздух, как подумала, и велит им выйти.

И когда они скрылись за дверью и она осталась одна, она близко подошла к Оде, протянула к ней руки и вдруг переменилась — платки упали с ее плеч, вся выпрямилась — тонкими пальцами провела она по ногам к сердцу, а от сердца к шее и выше по лицу.

И Оде очнулась.

Перед ней стояла вся в легком весеннем пухе такая, как Марианна, — и эти папоротниковые глаза — зеленое с черным — выблискивали волшебным купальским цветком.

Оде невольно закрыла глаза и увидела свою кошку — и, протянув ей руку, улыбнулась.

Но ее руку задержала не кошка, а та — Марианна — с папоротниковыми глазами, чаруя волшебным купальским цветком.

И в первый раз Оде услышала ее голос: как весенний бегучий ручей зазвучали слова:

— Мы не родимся и не умираем. Мы, как цветы цветом и как деревья зеленеем. Но мы и не цветы и не деревья. Наш век — без срока, наша жизнь без боли, без страха... — и она вздохнула, — Пройдет шесть весен, настанет седьмая. Запомни! Я люблю тебя больше чем любит тебя твой отец, больше чем любит тебя твоя мать. Помнишь, в твоём саду? Помнишь, музыку? Я буду всегда о тебе тосковать. Плакать — да слез нет!

И она сделала так руками — обнять хотела, но не коснулась, а виновато опустила руки — и вдруг как веем повеяло.

Оде глубоко вздохнула, поднялась и видела: какая-то, вся закутанная платками, вышла из комнаты.

## 4

Прошло шесть весен. Вспомнила ли Оде за эти годы? Нет, она как проспала эти годы без сновидений, и только что-то мое, во мне таящееся, пробуждало ее смутную память. Забвение — это человеческое, а там — всё живо, как сейчас. Там ждут срока. И вот пришла черед.

Я заметил большую перемену в Оде: не так смотрит и в голосе другое. Я спросил у матери:

— Что с Оде?

— Оде теперь уже большая, — сказала мать.

Я понял.

Был теплый день, ровно летом.

Оде, и с ней все такие же — этой весной они стали большими, — затеяли ехать на остров справлять Семик. И весь день пробыли они в лесу.

Вечером, когда над рекой зажглись и разгорались две зари — вечерняя и утренняя, их лодка, собирая с окрашенной воды густые розовые пенки, подплыла к берегу, оставя за собою синий след, — какая пестрота от цветов и как звонко звенят голоса!

И только не слышно голоса Оде.

\*  
\*\*

Выбиваясь из сил, запыхавшись, добежала Оде до берега, когда лодка подходила к тому берегу домой. Она слышала голоса и сама пробовала кричать, но своего крика не слышала, так она была обессилена. Она видела, как вышли из лодки и белой ниточкой потянулись вверх в город. И тут ее кто-то окликнул и ей стало страшно. Она поняла, что не с реки ее звали, а из лесу. Хватятся и по утру приедут за ней, надо только ночь перебыть. И опять ее кто-то окликнул и ей показалось, не один голос и ближе.

Белая ночь — медная, пронизанная зеленью. С реки поднялись сырые туманы и закрыли берег. И стало вдруг очень холодно.

Оде отошла недалеко, всё-таки там теплее, и забилась под старую ель. И опять ее окликнули, но в оклике не было ничего угрожающего — так завтра по утру будут ее кликать вернуться домой.

И ей представилось, что она дома, только это не их комната — очень низко, как ящик, и дощатая желтая, а краска слиняла и стены кажутся грязными и нет окон, а дверь с отвором, но без ручки, и от двери к стене стол желтый, как стены и ничего на нем, как в бане. По другой стене кровать. Она хотела сесть на кровать, а из под пола от двери, видит, вышли и идут к столу крысы: впереди очень большая, в кошку, за ней поменьше и три маленькие, как мыши. «Уходят от холода, подумала она, да есть ли тут щель?» И хочет под стол заглянуть и видит Марианна: Марианна успела ухватить и держит в руке самую большую крысу. «Молотком, говорит, да скорее!» Оде поняла, надо крысу по голове ударить, а молоток на кровати. И шарит она по одеялу, а молотка нет. «Да скорее!» торопит Марианна. И нашла. Взяла молоток и наметила крысе по голове и со всех сил ударила — а Марианна вдруг сжалась вся, присела и судорожно пальцами заиграла по крысе: не по крысе, по руке ей ударила Оде молотком. Как колбаса вылезает из кишки, так под пальцами Марианны оторвалась голова у крысы и Марианна себе ее на

ладошку и показывает. А голова оказалась не крысы, а кошки — мертвая мокрая кошка с белыми вытекающими глазами. «Как мне нехорошо!» подумала Оде и зажмурилась. Она сидела на жесткой кровати, а перед ней неотступно мокрая голова мертвой кошки — и седые усы торчат. В глазах кололо и, не вытерпев, Оде открыла глаза. И увидела кошку — и страшно обрадовалась, узнала и протянула ей руки: это была та самая кошка серая, белое брюшко, неправдашные лапы с холодными блестящими когтями и легкий пушистый хвост, трижды вокруг шеи. И на глазах Оде, шкурка с кошки упала и Оде увидела: перед ней стоит та, из ее сна, в зеленом, весенним пухом покрытая, теперь Оде всё вспомнила и ужаснулась. Она стояла перед Оде и виновато ошуршивала рукой красные листья на себе, на груди. «Тоска, шептала она, такая тоска!» И глаза ее — папоротники — какая это смертельная боль, опустившаяся на дно их, горечью — черным огнем — светилась! И она совсем близко — ее красные листья шуршат на руках Оде. И нагнувшись к Оде, к ее лицу, она взяла ее за подбородок и, отклоня, поцеловала в губы глубоким, крепким поцелуем — Оде почувствовала что-то черное там в этой глубине и никогда не кончится. И вдруг черным из той черной глубины завязало глаза ей — мертвая петля!

---

А не скоро нашли Оде. А и искать-то было нечего: тут же на берегу под старой елкой — как забила под зеленую бороду лишайника, так и сидит. Над ней красные еловые свечи и осыпана желтой пылью. Как живая, только на подбородке слева кровавый подтек, и нижняя губа отстала слева ж, точно ей выдернули зуб.

«Кикимора, играючи, задушила!» — так объясняли (объяснить всё можно).

**Алексей Ремизов**

1.

Последний поэт России:  
Голова седая в крови.  
Дайте рюмку, — прочтет стихи и  
О прошлом поговорит.

Как в тринадцатом... Жизнь струилась  
Между пальцами слабых рук,  
И кабацкая тень носилась  
Меж влюбленных в него подруг.

Как в тринадцатом, в последнем,  
В незабвенном, вольном году,  
Он у Блока сидел в передней,  
У Волошина спал в саду.

(«Я виском ударился в жизни,  
Что-то острое было в ней,  
И на пьяную морду как брызнет,  
И не сплю уже сколько ночей!»)

Кладбище, тюрьма, лазарет ли, —  
Конец уже виден его.  
Сейчас — полумертвый и светлый,  
Он ходит себе, ничего!

Знакомится, шаркает ножкой:  
— Последний России поэт!  
Познакомьтесь ближе немножко  
Он скажет: России нет.

Вы подайте ему, не стыдитесь,  
Посмотрите ему в глаза,  
Не чурайтесь и не креститесь,  
Всё равно, приснится не раз.

Поцелуйте же те ступени,  
Где ходила его нога,  
Обнимите его колени, —  
Никогда. Никогда. Никогда.

## 2.

Две девочки, — одна с косой тугой,  
Другая — стриженная после кори,  
Идут аллеей, за руки держась.  
Кто эти девочки? Садится солнце  
И нежно плачут жаворонки в небе,  
В аллее тень, и камень бел и сух.  
Кто эти девочки? То ты, быть может,  
И я, и вместе нам идти легко.  
Дом далеко, а рай почти что рядом,  
Оттуда к нам идут навстречу двое:  
Мой старший брат, мой давний друг, товарищ  
Ушедших юных лет, и твой отец.  
Они теперь нас больше не покинут,  
Они ото всего нас оградят,  
А эта жизнь, и всё что прежде было,  
И что теперь, и то еще, что будет,  
Давай всё это правдой не считать:  
Мы так прошли с тобой по той аллее,  
Рука с рукой. Ты стрижена, как мальчик,  
А у меня коса. Нам десять лет,  
И вечным миром приняло нас небо.

## 3.

*Памяти З. Н. Гиппиус.*

Я десять лет не открывала старой  
Коробки с письмами ее. Сегодня  
Я крышку подняла. Рукою тонкой  
Вот эти бледные листы она

Когда-то исписала мне на радость.  
Там бабочка случайная дремала,  
Среди стихов, среди забытых слов,  
Быть может пять, быть может десять лет...  
И вдруг, раскрыв оранжевые крылья,  
(Напомнив рыжеватость *тех* волос),  
Она из тьмы ушедших лет вспорхнула  
И в солнце унеслась через окно,  
В лучистый день, в лазурное сегодня.  
Как будто камень отвалила я  
У входа в гроб давно глубоко спящей.

1950.

*Н. Берберова*

## В О С П О М И Н А Н Ь Е

Когда моряк находит сон и кров,  
Забыв о штормах бедственного моря,  
Когда ребенок одолевший горе  
Мужает и становится суров,  
Когда любовь из будней-берегов  
Вдруг вырывается и на просторе  
К ней обращается далекий зов  
И с ней сливается в сердечном разговоре —  
Тогда в кошницы солнечных стихов  
Ты опускаешь руку за подарком  
От щедрой юности, а в небе ярком  
Встают все образы развеянных годов.  
И кажется, ты жизнь принять готов,  
Как в девятнадцать лет, когда в полудне жарком  
Ее нога ступала и тонула  
В глубоком, сине-золотом песке.  
Она купалась в солнечной реке,  
Купаясь, гибкая, на берегу заснула,  
Вся молодость в забвенном далеке...

*Николай Бернер*

\*\*

\*

Покоя нет. Покой бывает только,  
Когда теряется последний свет,  
Когда вся жизнь потеряна настолько,  
Что ни одной надежды больше нет.  
Так медленно засасывает тина,  
Разбитый бурей, остов корабля  
И кажется шипением змеиным  
Пропитан воздух, небо и земля.  
Взбегают волны на ступени лестниц,  
Судьба в зеленом покрывале спит:  
Ее одежда бархатная плесень,  
А тело отшлифованный гранит...  
И вот она, уже за облаками,  
Качает белокурой головой  
И обнимает тонкими руками  
Весь океан и целый шар земной.

\*\*

\*

Нет камням гибели и нет числа.  
Их крепость вечная меня смущала:  
Я видел неустойчивость добра  
И забывал, что в этом мире зла  
В земле гниет таких сердец немало,  
Что были камнями еще вчера.

*Анатолий Величковский*

\*\*

\*

Я это молчание выбил как пробку,  
И залил бумагу лиловым вином...  
Веселого месяца тонкую скобку  
Повешу над самым высоким окном!

И только рукою взмахну я надменно,  
И город столпится у этой реки, —  
Смотри — на балконах стоят джентльмены  
И к звездам бросают свои котелки!  
И небо прожектором залито синим,  
И, кажется мне, я по крышам иду.  
Какая-то женщина в платье павлиньем  
По небу ночному летит как по льду!  
И рвутся ракеты и гаснет каскадом —  
За красной струей, золотая струя...

Ну, что ж, ты довольна своим маскарадом,  
Ответь мне, бессонная совесть моя?  
Мы всё столкнуться с тобой не умеем,  
Я спорил с тобою до боли в висках,  
Водил по театрам, таскал по музеям  
И скрипками мучал в ночных кабаках!  
Мне всё в этом мире казалось забавой,  
Зачем же и мир от меня заслоня,  
Прощальные слезы ирландки картавой  
Как капельки лавы сжигают меня!

\*\*  
\*

Над мальчишкой крепким и румяным  
На скамейке суетится мать.  
Вырастет и станет хулиганом,  
Будет грабить, жечь и убивать.

А быть может (колесом раздавлен!)  
Мальчуган поселится в раю,  
Будет Богом в ангелы поставлен,  
Чтобы жизнь замаливать мою.

*Иван Елагин*

## ПОСЛЕ ФЕЙЕРВЕРКА

## 1.

Что нужно для жизни? Есть  
Еда, одежда, немного любви.  
А в небе потухших искр не счесть,  
Как будто оно в пыли,  
Как будто с него, как с стола, не смели  
После обеда крошек.  
Ваши слова с ума не свели,  
А если свели — немножко.

## 2.

Смеясь, говорил: «Что только хочешь,  
Достану». Просила звезду,  
Тоже опьяневшую от осени и ночи,  
Упавшую, утонувшую в пруду.  
И ответил мне: «Мы не дети.  
И много без нас глупых людей,  
Не поймавших при фонарном свете  
Звездную тень в воде».

## Л Е Т О

Насмотрелась в окно. По горло  
Наглоталась теплого вечера.  
В парке, на зеленой горке,  
Дети, как птицы мечутся.  
Бледнеет белье на веревке.  
Белью приятно и страшно.  
Нынче лето, робко и неловко,  
Целовало плечи рубашек.

*Ираида Легкая*

## НЕЯСНОЕ СИЯНИЕ

## 1.

Смутный сумрак спальни жаркой.  
Каркнул ворон в темном парке.  
Сердце в тишине стучит,  
Словно прялка старой Парки.  
Парка быстро нить сучит.  
Знаю, пряжа на исходе.  
Скучно при такой погоде  
Слушать торопливый стук.  
Дождь идет, темно вокруг.  
И грызут проворно мыши  
Жизнь, дарованную свыше,  
И недолго ждать  
Дня, когда не станет скуки  
И навек затихнут звуки,  
Что мешали спать.

## 2.

Помнишь о ветре,  
Бившем деревья?  
В старости сердце  
Помнит сравненья  
С вечером тусклым,  
С инеем в рощах,  
С шорохом грустным  
Веток отсохших.  
Скучно повисли  
Мертвые ветви.  
Мука при жизни,  
Скука по смерти.  
Так что, наверно,  
Даже нестрашным  
Было б горенье  
В пламени красном.

## 3.

Скажи, что случилось с миром?  
Быть может, рисует дождь  
Неясным, нежным пунктиром  
На старом — новый чертеж?  
Ты скажешь: всё, как всегда.  
Всё те же дома напротив  
Видны сквозь чертеж дождя.  
— Не всё, как всегда. Напротив:  
Сквозь буквы торговых фирм,  
Сквозь дождь, сквозь дома Парижа,  
Сквозь весь непрозрачный мир —  
Другой рисунок я вижу.  
Другие линии в нем,  
И краски тоже другие.  
Но проблески неземные  
Так трудно видеть в земном.

## Д И А Л О Г

— Дымящие трубы,  
на пристани уголь и щебень.  
— Прозрачное небо  
и птичий серебряный щебет.  
— Дым черен и горек,  
безрадостен серенький берег.  
— Луч нежен и ярок,  
и бабочка села на вереск.  
— Разломаны бурей  
две лодки на отмели серой.  
— Лазурное море  
покойно, и солнечен берег.  
— Засохший кустарник,  
и кладбища — взглядом не смерить.  
— И светлый бессмертник,  
сияние жизни и смерти.

*Игорь Чиннов*

# ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

Вкус к истории — самый аристократический из всех вкусов.

*Э. Ренан*

Исторический роман понимается обычно, как роман «научный». Главная его особенность усматривается в материале, почерпаемом не путем непосредственных наблюдений автора над внешним миром, над самим собой, не путем вымысла, а путем обращения к науке. В некотором роде, материал этот как бы задан автору и играет роль детерминирующего начала в его творчестве. Существует категория строгих судей, не допускающих ни малейшего отступления от «исторической истины», от научно установленных фактов. Вымысел в историческом рассказе считается чем то незаконным и признается лишь там, где история молчит. В неосвещенном ею пространстве художнику позволяют сочинять, что угодно, но куда падает луч науки, всякое измышление почитается неуместным. Особенно строги на этот счет специалисты-историки, выступающие критиками исторических романов. В их понимании этот жанр уподобляется альбому для раскрашивания, где контуры фигур даны наукой, а художнику дозволяется только расцветка и размазка. Быть может поэтому, в авторах исторических романов принято ценить прежде всего эрудицию, начитанность, «овладение материалом» и лишь потом беллетристические качества. К ним предъявляют требование не простого знания фактов, их точности, но также «научного» их осмысления. Методология истории намерена держать писателя в наименьшей зависимости от себя, чем фактическая история. Деятнадцатый век, в самом деле, породил писателя, который ничего так не хотел, как этой зависимости. Появились романисты типа Георга Эберса, неимевшие другой цели кроме изложения в беллетристической форме того, что знает историческая наука о том или ином сюжете. Это были, своего рода, популяризаторы исторического знания. У нас к их числу принадлежал известный Мордовцев. Эрудицию они считали своим главным достоинством. Но и те,

что не разделяли такого подхода к своему творчеству, стремились к возможно более основательному изучению истории. Флобер, написавший «Саламбо» почти как сказку, поднял гору историко-археологического материала. Повидимому, всякая попытка построения теории исторического романа немыслима без признания этого обращения к науке, как первого и главного отличительного признака жанра.

\*\*  
\*

Из всех научных дисциплин, история единственная создавшая «свой» роман. Зоологический роман существует в зародыше, о ботаническом ничего не слышно, а роман минералогический или химический трудно представить. Но и в числе гуманитарных наук не знаем таких, что служили бы основой для романического творчества. Ни политическая экономия, ни юриспруденция, ни лингвистика. Для написания уголовно-полицейских романов нет необходимости изучать правоведение, а все так называемые «социальные» романы написаны без знакомства с Рикардо, Смитом, К. Марксом и Гильфердингом. Только науки о прошлом человеческого рода на земле привлекают неослабное внимание писателей. Быть может, в этом сказывается наша извечная склонность, подмеченная Карамзиным: «Еще не зная употребления букв, народы уже любят историю». Похоже, что нам врождена любовь к минувшему — ко всякому, к плохому и к хорошему. «Проклятого прошлого» не существует, есть только проклятое настоящее. Прошлое всегда красиво и увлекательно; мы его любим, по слову поэта: «Что пройдет, то будет мило». Ни жертвы ассирийской жестокости, ни мученики римских цирков, ни Аппиева дорога, уставленная крестами распятых гладиаторов, не способны погасить нашей любви к древнему миру. Не смущают нас и костры средневековья, рыцарский разбой на больших дорогах, якобинский террор, пирамиды из черепов, воздвигавшиеся Тамерланом. Всё, что было проклятием каждого из этих времен, служит для нас предметом любования. Когда мы рассматривали в Дахау, на залитых кровью рельсах, трехверстный состав вагонов, набитых трупами расстрелянных, которых немцы не успели вывезти до прихода американских войск, — мы ничего не испытывали кроме ужаса и отвращения. Но лет через пятьдесят, через сто, этот поезд будет восприниматься в эстетическом плане. На этом, кажется, и строил Геринг, в предсмертном интервью, свои расчеты на блестящее место в истории. На самые ужасные лица и события история накладывает патину скрывающую всё, что

мешает им стать предметом нашего любования. «Любить ближнего невозможно; любить можно только дальнего», сказал Иван Карамазов.

\*\*

Прежние времена привлекают прежде всего тем, что из них выветрился элемент обыденности. Грязь, вонь, мелкие людишки, пошлые переживания, «жизни мышья беготня» — всё это поглощается рекой забвения. Отжившие эпохи высятся лишь громадами своих великих дел и монументами героев. Прелесть исторического повествования — в устранении всего будничного, повседневного; оно переносит в избранный мир полководцев, героев, королей, знаменитых битв и значительных событий. Муза истории, в какой-то мере, сродни гумилевской «музе дальних странствий».

Хочешь, мы сегодня поплывем  
В страны нарда, золота, коралла  
В первой каравелле адмирала?

Она сулит столь же увлекательное путешествие, только не в пространстве, а во времени. Она манит предчувствием чудесного, необыкновенного. «Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давным давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете!». Это восклицание Гоголя как нельзя лучше вскрывает близость исторического рассказа к легенде и к сказке. Не потому ли Плиний утверждал, что «всякая история, даже неискусно написанная, бывает приятна»? Наш Карамзин, любивший повторять это выражение, едва ли не тоньше всех русских писателей, чувствовал самодовлеющую эстетическую ценность исторического материала. «В повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии». Исследователи, делившие биографию Карамзина на литературный период и период «историографический», проходят мимо этого высказывания. Между тем, и в звании историографа он продолжал оставаться поэтом. П. Н. Милюковым прекрасно показано, что «История Государства Российского» задумана была и выполнялась не как научное, но как литературное, по преимуществу, произведение. Это было всё то же устремление к «источникам поэзии».

\*\*

Прежде чем стать наукой, история была поэзией. Даже по форме. До Геродота все истории излагались в стихах. А. Н. Веселовский отмечает это у всех народов, как характерную

особенность их раннего, главным образом, дописьменного периода культуры. Но и с возникновением письменности, с появлением обширных трудов, поэтический характер продолжал доминировать над сочинениями по истории. В древнем мире она так и не смогла сделаться наукой несмотря на наличие таких фигур, как Фукидид, Полибий, Тацит. Даже в новое время, несмотря на появление Вико, с которого обычно начинают возникновение исторической науки, она до самого XIX века продолжала относиться к числу изящных искусств. Когда М. В. Ломоносову предложено было написать «Историю Российскую», то в соображение принимались не познания его в этой области (такowymi он совсем не обладал), а его литературная слава. Елизавете Петровне захотелось слышать историю, его «штилем» писанную. «Штиль» всему был причиной. Отец российской пиитики должен был показать себя, прежде всего, с этой стороны. И показал.

Одно описание битвы Святослава с древлянами чего стоит. Летописец, как известно, все подвиги одиннадцатилетнего князя ограничивает одним сигнальным жестом перед началом сражения. Мальчик бросил в неприятеля копьё, которое пролетев между ушей его собственного коня, упало сразу на землю. «Суну копьём Святослава на древляны и копьё лете сквозе уши коневи и удари в ноги коневи, бе бо детеск». У Ломоносова юный князь барсом устремляется на врагов, громоздит трупы горами и затмевает доблестью всех героев Троянской войны. Еще красочнее изображена эта битва другим «историком» того времени — Федором Эминым. Для этого летописец вообще не указ. В уста легендарного Гостомысла, о котором Начальная Летопись ничего кроме его имени не сообщает, Эмин вкладывает длинейшую речь размером в несколько страниц. Он откровенно признается, что речь сочинена им самим, но ничего худого и антинаучного в этом не усматривает, потому что если рассудить здраво, так Гостомысл ничего другого и говорить не мог.

Таковыми историками полон весь XVIII век. Несмотря на возникновение к нам научного, по тем временам, понимания истории, которым руководствовались Татищев, Шлецер, Миллер, Болтин, кн. Щербатов, — «пиитика» продолжала дозвель над историей. Величайшим завершителем этой линии историков-поэтов явился Н. М. Карамзин. На западе, точно так же, Клио упорно продолжала оставаться в числе девяти муз Аполлона.

Но есть еще одна, быть может, главная причина глубокой связи истории с поэзией. Глядясь в свое прошлое мы мучимся

загадкой нашего бытия. История человечества привлекает заключенной в ней тайной. Это одна из тех бездн в которые никогда не перестанем всматриваться в надежде что-то заметить, что-то понять в своей мировой судьбе. В этом — прямая близость к поэзии. В. Я. Брюсов видел искусство «только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы познаваемого, в жажде зачерпнуть хоть каплю стихии чуждой, запретельной».

Тем не менее, между историком и писателем существует всеми ощущаемая разница. Уяснение ее затрудняется, обычно, тем, что многие историки впадают в соблазн быть художниками, в то время, как романистам нравится слыть учеными и эрудитами. Как те, так и другие, насилуют свою природу. Общего у них друг с другом только предмет и материал, методы же и устремления разные.

Задача науки — всё тайное сделать явным, со всего совлечь покров непознаваемости, всё уяснить, понять. Искусство, напротив, во всем явном видит тайное. Оно иррационально по своей природе и сродни религии. Взор его направлен «за пределы познаваемого». Тот же Брюсов полагает, что «для кого всё в мире просто, понятно, постижимо, тот не может быть художником». Искусство для него, «есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Искусство то, что в других областях мы называем откровением». Начинается оно «в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные тайны и чувствования. Где нет этого уяснения, — нет художественного творчества». Романисту мало того, чем удовлетворяется историк. Ему недостаточно знать исторические факты; важнее то, что стоит за и над этими фактами. История играет в его творчестве служебную, подчиненную роль; она является как бы возбудителем тех «темных, тайных чувствований» с уяснением которых начинается художественное творчество. В противоположность ученому историку, художник не изучает прошлое, а «постигает» его, идет не путем науки, а путем «откровения» или, как некоторые выражаются, — путем «вдохновенного угадывания». Всё, что способно «ударить по сердцам с неведомою силой», достигается «угадыванием», а не изучением.

\*\*  
\*

Похоже, что романист не столько берет от исторического материала, сколько привносит в него своего. И не только романист. История — наука не точная, из поля ее зрения, при самом благоприятном состоянии источников, выпадает множе-

ство фактов, что лишает нас возможности дать полный образ минувшей эпохи. Он выходит всегда не тем, каким был в действительности. Даже при господстве научных методов и разработанной техники исследования, исторические дисциплины бессильны восстановить минувшее. Отжившие времена встают перед нами, как греческие статуи — с отбитыми руками и ногами, без голов, с изуродованным торсом. Мы им приделываем недостающие конечности, куски тела, но ведь это — инородные куски из другого материала, в другую эпоху сделанные. Какой бы тонкой ни была починочная работа, она никогда не воспроизводит первоначального вида статуи. Он для нас потерян безвозвратно.

Восхищаясь талантливым исследователем или романистом, мы нередко говорим об их удачном проникновении в «душу средневековья» или в душу Египта и Вавилона. Глубокое заблуждение! У мертвых нет души. Душу в мертвого может вдохнуть только творец, т. е. художник, и вдохнуть лишь ту, которая у него есть — свою собственную. Души Карфагена времен Гамилькара мы никогда не узнаем; та же, с которой он предстает в «Саламбо», есть душа Флобера и душа Франции середины прошлого века. История, в значительной степени, — наше создание, мы любим в ней самих себя. Не столько воспроизводим прошлое, сколько творим его; творим, конечно, по своему образу и подобию.

\*\*

Тут уместно коснуться одного важного вопроса.

Грубое мышление объявило исторический роман особой формой ухода от современности и политики. Ничего нет неправильнее такого утверждения. Исторический роман всегда был политичен, и общественными страстями своего времени проникнуты все наиболее видные образцы его. Вальтер Скотт. Через его произведения проходит тема, которую можно было бы, применяясь к нашей теперешней терминологии обозначить, как национальную проблему. Действие его романов развивается на фоне национально-расовых антагонизмов. То это вражда англо-саксов с их вчерашними завоевателями норманнами, то — борьба шотландцев с англичанами или германороманцев с византийцами. Даже в таком, по существу, не историческом романе, как «Пират», проведена от начала до конца нить вражды между вымиравшим племенем, потомком древних норвежских викингов, и заедающими его шотландцами.

Вальтер Скотта больше всего волнуют столкновения народов и этнических групп между собой. Это, повидимому, глав-

ное, что он узрел в истории и узрел потому, что был сыном своего времени и своего народа. Шотландец по происхождению, любивший свой край, хорошо знавший его сепаратистские настроения и фронду по отношению к англичанам, он в то же время, был англичанином по культуре и сторонником единого британского государства. Национальный вопрос был его личной драмой. Разрешал он его в исторических романах. Можно заметить, что национальные страсти и вызванная ими борьба выглядят у него ненужной, бессмысленной тратой сил. Особенно хорошо это показано в «Веверлее». Писатель ищет средств мирного сочетания отдельных национальных своеобразий и находит их в верховном государственном начале выступающем всегда примирителем и упразднителем национальной розни. В «Айвенго» оно представлено королем Ричардом «Львиное Сердце», не делающим никакого различия между норманнами и англо-саксами и предвосхищающим те времена, когда оба племени слились в единый английский народ. Идея торжества государственного начала преследует его даже в «Графе Роберте Парижском», действие которого происходит в Византии времен первого крестового похода. Вражда западной германской стихии с греческим Востоком умиряется там ролью варяга Гиварда, выступающего против своих западных собратьев во имя престижа императора.

Не менее ясно проступает политическая основа в творчестве прочих авторов исторических романов. Про таких, как Феликс Дан, поднявший знамя воинствующего германизма, говорить не приходится; он был из тех, что подготовили эру Вильгельма II и Гитлера. Не приходится говорить о популярном в России Генрихе Сенкевиче, приготавливавшем в своих романах хмельное питье для всех жаждавших реставрации старой Польши. Даже приключенческие романы Александра Дюма с их увлечением чистой интригой и с бесконечным скрещением шпаг, заключают в себе политический заряд высокого напряжения. Их появление нельзя не связывать с переживаниями французского дворянства эпохи реставрации, июльской монархии и второй империи. В них благородное сословие видело себя в свои лучшие времена и как бы брало реванш за все революции, невзгоды и унижения. Творения автора «Королевы Марго» и «Трех Мушкетеров» были бальзамом для сердец, израненных эпохой Конвента и бурями первой половины XIX века.

Для нынешнего читателя, не видящего в «Саламбо» ничего кроме восточной экзотики, странно слышать о какой-

либо политике в этой пленительной повести. Между тем, одним из отправных мотивов произведения послужила острая политическая страсть, волновавшая Флобера. Обитатель Круассэ был редкостным ненавистником современной ему французской буржуазии — алчной, хищной, самодовольно тупой, беспощадной ко всем врагам своего низменного благополучия, глухой к стонам задавленных ею рабов, бесчестной и коварной. Счеты свои с нею он свел в «Саламбо», дав поразительный по силе и яркости образ ее в виде правящей верхушки Карфагена. Трагическая судьба варваров, восставших против этой подлой силы, навеяна, безусловно, французскими революциями и бунтами XIX века.

Столь же политичен исторический роман в России.

Наш первенец «Юрий Милославский» написанный, по всеобщему утверждению, в подражание Вальтер Скотту, имел свою, чисто местную, «политическую подкладку». В нем мотив национальной гордости, вызванной Отечественной войной 1812 года, переплетен с тревогой дворянства, напуганного неизгладившейся еще в памяти и готовый каждый день повториться Пугачевщиной. О другом знаменитом романе, — «Князе Серебряном», всегда приводимом, как пример декоративного, оперно-балетного любования старой Русью и сравниваемом с картинами К. Е. Маковского, можно сказать, что если рядовой читатель не всегда замечает заложенную в нем политическую идею, то только по незнанию истории нашей общественной мысли. Это — настоящая Илиада дворянского конституционализма. В шестидесятых годах, у наиболее родовитой части русского дворянства, проснулись тенденции Берсеня Беклемишева, Федора Жареного и «верховников» аннинского времени. Разумеется, в совершенно иных формах. Ни о «кондициях», ни о каком серьезном ограничении самодержавной власти не мечтали, но всерьез думали, что только крупное дворянство должно стоять у трона и управлять Россией. Почему? Потому, что только ему присущи необходимые качества, выработанные наследственным земельным владением, богатством, а также традициями и вековой культурой — неподкупность, независимость, чувство чести и достоинства. На фоне шумной борьбы революционной интеллигенции с самодержавием, течение это не слишком бросалось в глаза, но оно представлено было многими видными людьми, вроде Б. Н. Чичерина, и разработало стройную идеологию, отголоски которой можно встретить в крупнейших произведениях нашей литературы вплоть до «Анны Карениной». А. К. Толстой всей душой тяготел к этому

направлению. Ему и выпало на долю стать его бардом. В князе Серебряном воплощен тот благородный аристократ, что готов проливать кровь за царя, но в то же время изобличать самого царя, если тот делает не по правде и не по царскому достоинству. Он — слуга самодержавия, но враг и порицатель самоволия. Смело держаться перед разнузданной царской челядью — Басмановыми, Скуратовыми, Вяземскими, ни перед кем не заискивать, не гнуть шапки, во всем поступать по совести и по велению чести — таков должен быть истинный слуга государя и государства.

Надо ли подвергать рассмотрению всех прочих авторов русского исторического романа, чтобы убедиться в отсутствии у них того, что называется «уходом от современности»? Кто решится сказать про Мережковского, будто он избрал исторический жанр, чтобы устранился от «жгучих вопросов современности»? Кто не способен заметить, что романы Алданова написаны на одну засевавшую гвоздем тему, на тему о революции?

Не так-то просто уйти от своего времени. Кому это удастся, тот превращается в какого-нибудь Данилевского или Мордовцева — в раскрашивателя исторических картинок, в создателя внеклассного чтения по истории. Никакого «откровения» или «дерзновения за грань» у него не ищите.

\*\*  
\*

Появились авторы, совершенно сознательно подчеркивающие связь между своей эпохой и тем временем, которое они описывают. Лион Фейхтвангер сделал всё, чтобы еврейский вопрос в императорском Риме выглядел, как вопрос наших дней. В этом чувствуется замысел. Недаром та эпоха широко модернизирована, — герои наделены психологией, образом мышления и манерами людей нашего времени. Модернизованы быт и отношения между людьми. Даже теперешняя наша терминология переносится в ту эпоху. В Риме Флавиев мы встречаем у Фейхтвангера «инженеров», «генералов», «фельдмаршалов», «артиллерийских полковников в отставке». Фейхтвангер понял неизбежную, неустранимую внутреннюю связь между эпохой романа и эпохой писателя и захотел сделать ее ясно видимой. Использовал он это, как прием. В. Шкловский назвал бы это «обнажением приема». С чисто литературной точки зрения к этому можно относиться по разному. Для В. В. Вейдле, например, всякое большое знание писателя о своем искусстве, о его природе, служит симптомом упадка. Но одно несомненно: мы видим исторические события глазами своей

эпохи и иначе не можем. Других глаз нам попросту не дано. Хорошо это выразил В. Розанов: «Берешь фонарь, уже зажженный в своей душе, и освещаешь им потемки минувшего».

В этом, быть может, — разгадка всего метода исторического романа. Для обращения к прошлому, оказывается, нужен «фонарь в душе»; без него ничего не увидишь.

Но сконструирован этот осветительный прибор окружающей нас действительностью и зажигается фонарщиком нашего времени. У каждой эпохи свой фонарь и каждая видит минувшее по-своему. Вот почему прав Максимилиан Волошин: «Прошлое никогда не остается неизменным. Оно меняется вместе с нами и всегда идет рядом с нами в настоящем». У исторического романиста нет иного пути к сердцу читателя кроме как оставаться человеком своего века. Думается, что самым захватывающим историческим романом будет тот, который всего полнее насыщен электричеством своего времени.

\*\*

\*

Исторические источники никогда не способны снабдить художника нужным количеством сведений. Ему мало знать, в который день и в какой комнате принимал Балашова Наполеон, надо знать еще, какой ногой подрыгивал Наполеон в разговоре. Этот, ни в каких анналах неотмеченный факт, не менее важен, чем документально установленный факт беседы с Балашовым. Но кто о нем поведает? Кто поведает о синеве неба, в которое смотрел Андрей Болконский на аустерлицком поле? Кто знает наружность Атиллы? Кто вдыхал аромат курений вавилонских и египетских храмов? Кто слышал музыку элевзинских празднеств? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы стало ясно, какая доля вымысла присутствует во всех исторических повестях.

Творится особый, никогда не бывалый мир... Критика давно это поняла, и уже Белинский решительно отвергал требование строгой, научно установленной достоверности и документальности в применении к историческим романам. Пишутся они, по его словам, не для того, чтобы учиться по ним истории. В наши дни сами профессора истории выдают индульгенции романистам. «Художник не связан обязанностями историка — пишет А. А. Кизеветтер — и он волен стилизовать исторические фигуры». Кизеветтер хочет только, чтобы «некая нить» связывала всё-таки роман с исторической действительностью.

В «Ледяном Доме» Лажечникова история Анны-Бирона-Волынского рассказана так, что ни один сколько-нибудь све-

душый в этом сюжете человек не подпишется под нею, но читатель за это не в обиде на Лажечникова. Ему достаточно того, что ни Анна, ни Бирон, ни Волынский не выдуманы, что случай постройки потешного ледяного дворца и свадьбы в нем шутовской пары — не измышление, а «исторический факт».

У Гете сказано: «Значительное явление всегда пленяет нас, познав его достоинства, мы оставляем без внимания то, что кажется нам в нем сомнительным». В нашем случае, можно это перефразировать так: историческое явление всегда пленяет нас и нам достаточно убедиться, что в существенных своих чертах, оно имело место, чтобы оставить без внимания все «сомнительное».

\*\*  
\*

Нетрудно предвидеть вопрос: нужно ли вообще соблюдать какой-то минимум историчности, о которой говорит Кизеветтер? Раз беллетристу дозволено искажение фактов и вольная их интерпретация, раз ему дозволено писать полотна, не совпадающие с композициями историков, раз самый метод его отличен от научного, то нужно ли изучение истории? Не проще ли писать историообразные повести, не заботясь ни о какой достоверности? Такие повести пишутся. Существует немало рассказов действие которых происходит в более или менее отдаленные времена и где фигурируют никому неизвестные люди и события. Таковы «Харчевня королевы Педок» и «Таис» Анатоля Франса, таков «Тарас Бульба» Гоголя. Но сколь ни прекрасны такие повести, они не могут заменить исторического жанра. Без исторического факта он всё-таки немислим. Когда-нибудь эстетика выяснит магическую силу этого факта и мы поймем, почему можно исказить образ Петра Великого и перевернуть события его жизни, но почему нельзя Петра заменить другим, неизвестным лицом. Рассказ не о вымышленных людях и происшествиях, а о действительно бывших, и не о простых, а о значительных, оставивших след в памяти поколений, — составляет существо исторического романа. «Война и Мир» перестал бы быть таковым, если бы там остались только Пьер Безухов, семейство Ростовых, семейство Болконских, но не было бы Наполеона, Кутузова, Багратиона, Аустерлица и Бородина. «Искусство — говорит Грильпарцер — относится к действительности, как вино к винограду». Кто хочет того вина, что именуется историческим романом, тот не может для его приготовления брать любой виноград, любую действительность. Только «историческая действительность» сообщает ему своеобразную прелесть и особый, ему одному присущий вкус.

Наполеон, а не Пьер Безухов, Бородинский бой, а не сцена охоты на волка делают «Войну и Мир» историческим романом.

Вот почему писатель не может быть освобожден от изучения истории. Если роль его начинается «за пределами познаваемого», то до этих пределов он должен идти путем науки, как путешественник в неисследованные дебри Африки, который пускается пешком лишь с того места, где кончается железная дорога. Интуитивное и всякого рода внерассудочное познание завоевывает новые пространства от того рубежа, на котором остановилось знание опытное, рациональное. Писатель должен знать историю хотя бы для того, чтобы не угадывать вдохновенно того, что уже установлено научным путем. Наука — не преграда в стремлении к непознаваемому, но мощные крылья, приближающие к желанным пределам. Невежество не обостряет интуиции. Творчество художника тем глубже, чем основательнее знакомство с историческим материалом. Всякое отступление от истории позволено лишь тому, кто ее знает; оно должно быть сознательным. Документально установленные факты приносятся в жертву не чему иному, как только искусству, только «откровению» — началу высшему.

\*\*

Существуют ли, однако, у исторического романа какиенибудь внешние, формальные признаки? Вопрос этот совершенно не разработан, и приближаться к нему удобнее всего путем исключений, путем отбрасывания нехарактерных особенностей. Так, например, нельзя сказать, чтобы историческому повествованию пристали черты жанра именуемого «психологическим» рассказом. Кого душевный склад Ивана Грозного привлекает сам по себе, вне зависимости от личности и от событий, тот исторического романа, конечно, не напишет. Точно так же, юродство Федора Ивановича, будучи понято не как конкретный исторический факт, а в плане одних только душевных движений, не может послужить материалом для исторического повествования. Обращение к истории должно быть оправдано, и все, что можно найти в иной действительности, исключает действительность историческую. Достоевский замыслил роман об императоре Иване Антоновиче, но по сохранившимся наброскам видно, что повествовать собирался не об эпизоде из русской истории, а об одной из душ открытого им мира, о душе возросшей в заточении, в казематах, в шлиссельбургах. Задача ставилась вневременная, **внеисторическая**.

Незачем идти в историю и натуралистам или импрессио-

нистам. Определение Стендаля: «Роман есть зеркало, пронесимое по большой дороге» — неприложимо к историческому жанру. Отражать, «как в зеркале», мир несуществующий, мир бывший и воспринимать его, как мы воспринимаем и чувствуем настоящее со всеми его запахами и привкусами, невозможно. Недаром импрессионисты-живописцы, достигшие предельной остроты глаза в уловлении зримого мира, чуждались исторических сюжетов и минувших эпох вообще. Те из них, что пытались это делать, вроде Шарля Герена, уносившегося в XVIII век, давали самые слабые образцы импрессионистической живописи. Сравните также «Les macheurs de la Ville d'Orleans». Э. Дега с его балеринами, гладильщицами, с его «пу», с жокеями и скачками. И дело не в том, что минувшее трудно передать, как видимую реальность, но в том, что его не л ь з я так передавать. Натурализм и импрессионизм пишут природу, но зачем обращаться к истории, чтобы писать природу? Натурализм и импрессионизм пишут человека так, что он только анатомией и костюмом отличается от собаки и лошади; никакого предпочтения перед природой ему не дается. Но попробуйте подать исторический сюжет без доминирующей роли человека! Натурализм и импрессионизм берут жизнь в ее повседневном проявлении, со всеми мелкими штрихами без выдающихся событий, часто без каких бы то ни было событий. В этом их пафос. Исторический рассказ от всего этого, как раз, абстрагируется. Для исторической повести характерна какая-то доля визионерства. Наш В. А. Серов (обратимся опять к живописи) понял это особенно ясно. Как известно, он равнодушен был одно время к импрессионизму, во многом к нему приближался, а одна из его работ (знаменитый портрет девушки под деревом) считается почти импрессионистическим произведением. Но когда ему пришлось писать Петра, шагающего по набережной, Елизавету, скачущую верхом со своим племянником или Екатерину II на охоте, он, ни минуты не колеблясь, отступил от всех прежних манер в портрете и в пейзаже, отдающих в какой-нибудь степени импрессионизмом или репинским реализмом. Эта новая его манера была замечена и оценена, как чрезвычайно удачная для исторических тем, она была воспринята целой группой художников из «Мира Искусства» во главе с А. Н. Бенуа и Л. Е. Лансере. Характерной ее чертой является отказ «писать с натуры». Прежние мастера, вроде Мейсонье, Деляроша, Менцеля, Матейки, Сурикова писали историю так, будто она им позировала; фигуры на их полотнах — это натурщики, одетые в исторические костюмы

В двадцатом веке поняли, что о временах прошедших нельзя говорить так, как о видимой действительности.

\*\*

Но зато историческое повествование трудно представить без одного важного элемента — без событий. Исторический роман — роман действия. В русской литературе это начало, как известно, развито очень слабо. Мы бессюжетны. У нас — бесчисленное количество «Детств», «Юностей», «Жизней», в большинстве автобиографических; столько же описаний поездок в санях и на телеге, но ни борьбы, ни событий, ни приключений. Свою нелюбовь к ним наша литература пытается переносить и на исторический роман. В «Войне и Мире» нет ни завязки, ни развязки, его главные герои не дают никакого рисунка действия. Это герои семейной хроники, а не сюжетной повести. И если, тем не менее, «Война и Мир» воспринимается всё-таки как роман действия, то только благодаря историческому фону. Как бы ни отодвигал Толстой на задний план события эпохи, они образуют становой хребет произведения. По замыслу, им отведена явно подчиненная роль; но материал взял свое; эпопея Отечественной войны превращается в самую захватывающую часть произведения. Она придает роману и завязку, и развязку, о которых Толстой совсем не думал. Сюжетный характер «Война и Мир» приобретает оттого, что в основе его оказалась величайшая драма истории. История драматична. Кто хочет ее превратить в ряд статических сцен и портретных зарисовок, тот, в известной степени, незаконно пользуется ее материалом.

Историческое повествование — очень древний жанр, едва ли не древнее всех прочих. «Илиада» и «Песнь о Нибелунгах» были историческими романами. Они выросли из преданий о выдающихся людях и событиях, главным образом, военных. Ранняя историческая поэзия — это сплошь воспевание ратных походов. Такой она осталась и в поздние времена. Едва ли не самый ранний прототип современного исторического романа — «Александрия», возникший еще в конце древнего мира, навеян личностью и подвигами Александра Македонского. Те самые рыцарские романы, что свели с ума бедного Дон Кихота, представляли не что иное, как исторические романы средневековья. Военным характером отмечен и весь исторический роман XIX века. Редкий из них обходится без битв, без резни. Он до наших дней остался романом военным, по преимуществу. Вот почему, когда М. А. Алданов, в «Чортовом Мосту», дав бесподобную сцену приготовления Суворова к

битве п и Нови, совершенно воздерживается от описания самой битвы, — в этом чувствуется вызов одному из классических устоев жанра.

\*\*

В наше время заката литературы, когда она ущерблена не одними внешними силами, но и внутренней исчерпанностью, когда появляются романы о романах, книги рассказывающие о самих себе, когда начинают говорить об «умирании искусства» и с упованием взирают на сказку и на жюль-верновскую фантастику, как на острова спасения, — исторический роман открывает не остров, а целый материк для литературы. Он только по внешнему виду принадлежит к образцам, в которых вымысел и творческая фантазия подчинены рациональному началу. На самом деле, исторический романист едва ли не в большей мере творец, чем все прочие. Творчество его отмечено знаком высокого порядка. От него «радость и разгулье» падают на сердце, в нем «неизъяснимая прелесть для нашего воображения». Ткань его повествования образуется из явлений значительных; будни любого минувшего столетия, ничем не отличающиеся от наших будней, не находят в нем места. Только то, что возвышается над обыденным, что поднимает душу, что сродни легенде и сказке — составляет исторический жанр. «Там источники поэзии».

**Н. Ульянов**

# БЕРНГАРД БЕРЕНСОН

В конце прошлого года, довольно неожиданно в первые ряды на американском книжном рынке выдвинулась, вышедшая в издании Симона и Шустера, книга Бернгарда Беренсона, *Rumor and Reflection*. Заглавие это можно перевести: «Молва и Отклики». С января 1940 г. и по ноябрь 1944 г., в убежище автора, в окрестностях Флоренции, доносятся из враждебного окружения «людская молвь», слухи, радио-передачи, отрывки газетной информации и, наконец, звуки приближающегося фронта. В чутко притаившемся и мудро невозмутимом затворнике всё это претворяется в философические отклики, в образы воспоминаний, в исторические сравнения, пророчества и надежды. Этой книге, сравнительно недавно, предшествовали две других того же автора, «Эстетика и история изобразительных искусств» (1948) и «Эскиз автопортрета» (1949). До выхода этих трех книг имя Беренсона в среде американских читателей было известно лишь немногим, более пристально интересовавшимся историей итальянской живописи, да и те едва ли из первых рук были знакомы с его фундаментальными трудами, не говоря уже о более трех десятках специальных работ, опубликованных им на протяжении полувека. Но в мире собирателей итальянского искусства, в музейных кругах, и среди торговцев картинами имя Беренсона, как эксперта и знатока, стало легендой, и экспертиза его считалась непререкаемой. На ней, главным образом, создались и держались слава и процветание поставщика в музеи и американским миллионерам, не менее легендарного лорда Дювина, через руки которого прошли, почти все, украшающие ныне Национальную Галерею в Вашингтоне, шедевры коллекций Меллона, Уайденера, Кресса (среди них — Рембрандт, Рафаэль и Тициан из Петербургского Эрмитажа) и многие из самых ценных полотен, перешедших из собраний Альтмана и других в нью-йоркский Метрополитан.

Сотрудничество, в качестве эксперта, с Дювином принесло Беренсону не только мировую известность, но выразилось и в весьма доходных деловых отношениях, давших ему возможность на приобретенной им вилле *I Tatti*, близ Флоренции, собрать одну из лучших частных библиотек по вопросам искус-

ства и обширную коллекцию картин, рисунков, репродукций и документов, послуживших материалами для его многочисленных трудов. Счастливое стечение обстоятельств сохранило это собрание от печальной участи столь многих, поглощенных ураганом войны. Восьмидесятисемилетний искусствовед пребывает и ныне среди сокровищ своей тосканской виллы.

Для нас фигура Бернгарда Беренсона представляет особый интерес по одному, почему-то редко упоминаемому обстоятельству: американский ученый, почетный гражданин Флоренции, где он прожил более полувека, родился в России и был привезен в Бостон десятилетним ребенком. Здесь прошло его отрочество, и в 1887 г. он окончил Гарвардский университет. Только двенадцать лет прожил он в Америке, после чего уехал в Европу и, наконец, окончательно поселился в Италии, лишь изредка наезжая в усыновившую его страну. Сам Беренсон считает себя американцем. «Мы, американцы», сплошь и рядом попадаетея на страницах его последних книг, и он даже особенно подчеркивает свою связь с культурными традициями Бостона и Новой Англии. Но ни в его собственных писаниях, ни в заметках его биографов, Россия никогда не упоминается, как место его рождения. Биографические заметки обычно называют его выходцем из Литвы. И только однажды, в «Эскизе автопортрета», он, как бы нехотя и мимоходом, упоминая гетто, в котором сложились его первые детские впечатления, бросает: «...младенчество мое прошло в аристократической республике и, хотя, под русской властью, в республике особливо аристократической, потому что еврейской...» Но более точных географических указаний он не дает и о своей семье ограничивается замечанием, что в этой «аристократической республике» его семья была одной из первых, если не первой. Чем объяснить это странное умолчание? Правда, Беренсон предупреждает нас, что книга эта не автобиография, а лишь эскиз автопортрета. Но по прочтении его последних трех книг, невольно приходит на мысль, что техника умолчания имеет какое-то особенное психологическое значение в повествованиях Беренсона. Так, между прочим, хотя «Эскиз автопортрета» посвящается памяти жены и пятидесяти годам их совместной жизни, ни в этой книге, ни в последующем дневнике, ей полностью не уделено ни строки, как обойден умолчанием и брат его жены, Логан Пирсолл Смит, современник гарвардских лет Беренсона и один из замечательнейших стилистов начала двадцатого века, с которым его связывало не только свойство, но и многие годы дружбы и совместных странствований по Италии и Греции, и принадлежность к тому кругу блестящих

американских экспатриатов первого призыва, членами которого были Генри Джэймс, Уйтслер, Мэри Кассат, Сантаяна, Эдит Уортон. Ни в одной из этих книг нет ни одного слова и о Дювине, с которым он более четверти века состоял в самых тесных дружественных и деловых отношениях.

Русскому читателю, конечно, было бы интересно знать, какие ранние культурные впечатления вынес Беренсон из своей литовской родины. Знал ли славянские языки, польский и русский, которые, несмотря на всю замкнутость гетто семидесятих годов прошлого века, всё же мог слышать и понимать? Сам Беренсон об этом не говорит. Но по некоторым намекам можно предположить, что знал. Так, не только имена Пушкина, Гоголя и Достоевского упоминаются в его книгах, с ними он мог познакомиться и в переводах; но имя Лескова, упоминаемое им, позволяет нам предположить, что русский язык Беренсону не чужд. Невольно также хочется думать, что впитанные в детстве впечатления от барокко польских костелов и классицизма аристократических усадеб сыграли некоторую роль в «экспатриации» Беренсона, подготовив почву, благоприятную для духа Италии. И там его первым учителем в методах художественной критики стал Дживованни Морелли, пламенный ветеран ломбардских событий сорок восьмого года, писавший, под странным псевдонимом — Иван Лермольев.

Беренсону было более восьмидесяти лет, когда он опубликовал «Эскиз автопортрета». Прославленный художественный критик, признанный авторитет в вопросах итальянского искусства, собственник прелестной тосканской виллы, наполненной любимыми книгами и художественными сокровищами, окруженной насаженными им садами, оглядывается на дела свои «и на труд, которым трудился, делая их». И, едва ли сознательно, впадает он в тон и стиль Екклезиаста. Его преследует мысль, что, несмотря на всю видимость благополучия, жизнь ему, в сущности, не удалась. В молодости, стоя на роковом перепутьи, он избрал неверный поворот. «...Ты не должен был вступать в соревнование с учеными», обращается он к самому себе: «ты не должен был итти по сомнительному пути «эксперта». Тебе надлежало разрабатывать твои идеи о наслаждении искусством. Эти мысли были твои собственные. Они не были отголоском или отстоем слышанного или прочитанного». — «Я мог бы ответить этому внутреннему голосу, — продолжает он, — что всё вокруг меня утверждали, что с тех пор, как я покинул стены Гарварда, я только бездельничал, что незначительные мои печатные труды еще не доказательство того, что я могу работать. Я не посмел упустить случая доказать, что я могу

трудиться и корпеть, скучно и педантично, наравне с лучшими из них...». Результатом этого решения явился тапгум орус Беренсона, «Рисунки флорентинских художников», на два издания которого Беренсон потратил около десяти лет. Этот двухтомный труд упрочил за ним авторитет выдающегося знатока итальянского искусства, хотя, как он замечает не без горечи, труд этот, ни в первом, ни во втором издании, не удостоился серьезных рецензий. Хотя Беренсон не имеет степени доктора и никогда не занимал университетской кафедры, академический мир не может не признать его эрудиции и авторитета, но отгораживается от практической сферы, в которой создалась слава Беренсона. Увесистые фолианты «Рисунков флорентинских художников» и поднесь считаются настольной книгой музейных кураторов и торговцев картинами, и слово Беренсона стало законом среди аукционистов и негоциантов лондонской Бонд-стрит и ньюйоркской Пятьдесят Седьмой улицы. Но было и что-то двусмысленное в этой славе. «...Мне вскоре стало ясно, пишет Беренсон, что я занимаю место наряду с гадалками, хиромантами, астрологами, да еще не с теми, что сами себя обманывают, а с наглými шарлатанами. Сперва пошли слухи, что я изобрел какой-то трюк, которым можно безошибочно установить подлинность и авторство любой итальянской картины... Наконец, это выродилось в широко распространенное убеждение, что если только знать, как ко мне подойти, я мог бы приказать тому или иному американскому миллионеру заплатить тысячи за любую мазню»...

Вместе с непререкаемым авторитетом пришли зависть и вражда собственников и торговцев, чьих Рафаэлей, Да Винчи и Тицианов он не почтил своим признанием. На таком инциденте прервалось и его долголетнее сотрудничество с Дювином. Случилось это так: Меллон, затративший при посредстве Дювина не мало миллионов на произведения великих мастеров, хотел во что бы то ни стало иметь картину Джорджоне, величайшего из венецианцев, подлинные произведения которого очень редки. Дювину, наконец, удалось за полмиллиона долларов приобрести «Поклонение пастырей», некогда принадлежавшее кардиналу Фешу, но Меллон соглашался на покупку лишь под условием, что подлинность этого полотна будет подтверждена Беренсоном. Но тот к этому времени пришел к убеждению, что картина была одним из ранних произведений Тициана. Сделка не состоялась, и Дювину ничего не оставалось, как принять обратно спорное произведение. Ведь сам же он всегда твердил своим миллионерам: «Никогда не покупайте итальянского мастера без подтверждения Беренсона!» Дювин,

однако, не сдался. Впоследствии он продал «Поклонение пастырей» Крессу, а тот принес его в дар Национальной Галлерее. Там эта картина висит и теперь, и на дощечке под ней значится: Джорджоне.

На чём же основана техника такого «конессерства»? Картина, послужившая поводом к ссоре, по многим характеристикам и общему лирическому настроению очень близка к Джорджоне. Но у Беренсона всегда были сомнения на этот счет. Однако, он сам раньше приписывал ее не Тициану, а Катене. Но во время меллонского инцидента он писал Роялю Кортиссо, критику «Геральд-Трибюн»: «...Недавно я опять видел эту картину и восторгался ее очарованием и красотой. Но чем дольше я глядел на нее, тем яснее узнавал в ней искусство раннего Тициана...»

И вот к чему сводится в сущности, вне довольно элементарного установления школы, периода и антикварной подлинности, весь метод знатока! В отсутствии исторической документации, которая полностью подтверждает родословную лишь очень немногих произведений, метод экспертов, в конце концов, сводится к интуиции. И это — после тех изменений, которые века внесли в колорит и сохранность картин, в большинстве не избежавших варварства и своеволия реставраторов. И тем не менее, эксперты пытаются установить не только имя автора, но и отличить первичный замысел или оригинал от позднейшего, хотя бы и автографического списка, от копии, сделанной рукой помощника, или от явной подделки.

До появления в семидесятых годах прошлого века работ Морелли (Ивана Лермольева) подлинность и принадлежность художественных произведений устанавливалась, главным образом, традицией, сохранившимися в архивах контрактами, счетами и расписками, и свидетельством современников и таких близких по времени критиков и историков, как Вазари или Аретино. Конечно, престиж прославленного имени неизмеримо повышал ценность картины в глазах любителей и в оценке рынка. Так, например, дрезденская «Венера» долго не привлекала ничьего внимания, так как она считалась копией произведения Тициана, написанной второстепенным мастером. И только, когда Морелли с достаточной убедительностью установил, что она — подлинник кисти Джорджоне, она стала предметом всеобщего поклонения.

Метод Морелли был, главным образом, основан на анализе деталей: форме рук, ушей, овала лица, складок одежды, и т. п. Морелли полагал, что у каждого мастера есть привычные формы, которые как бы составляют его почерк. Конечно, он прини-

мал во внимание и данные архивных документов, но не доверял традиции, мнению экспертов и эстетической риторике. Кроме того, он придавал большое значение региональным характеристикам, которыми художники Флоренции отличались от, скажем, феррарцев или неаполитанцев. Но, в конце концов, последней критической инстанцией всё же являлась интуиция. В свете этих соображений он, в книге, вышедшей в 1877 г., пересмотрел атрибуции каталогов немецких собраний Мюнхена, Дрездена и Берлина, очень мало считаясь с авторитетом известных в ту пору историков итальянского искусства Кроу и Кавалкасселле, французского ученого, академика Куражо, и ученых немцев, Маркграфа, Гюбнера и других.

Морелли внес в свое выступление против признанных авторитетов весь мятежный пыл ломбардского повстанца и под знамя мореллианства ринулись молодые искусствоведы, которыми в ту пору кишели музеи, церкви и площади божественной Италии. К ним примкнул и молодой Беренсон, избравший итальянскую живопись предметом исследования и полем деятельности. Двадцать лет спустя, в своей *Study and Criticism of Italian Art*, Беренсон пишет: «...Мореллианство, хирургическое, безжалостное, казавшееся иконоборческим, всё же вдохновлялось романтическим идеалом гения и основывалось на аксиоме, что великий мастер, от колыбели и до гроба, никогда не уклонялся от своего величия, и на убеждении, что то, что он созидал не могло не быть безупречным. В защиту этого мы, мореллианцы, сражались за подлинность с непреклонным рвением легитимистов. Это была отважная и достойная борьба, хотя она и укрепляла слепую снобистическую веру коллекционеров в значение имен и побуждала их собирать даже безвкусную мазню чрезмерно плодовитых гениев, лишь бы подлинность ее была несомненно установлена. Но самый метод установления этой подлинности тонким и сложным анализом, мало по малу, привел нас к выводам, диаметрально противоположным аксиоме, послужившей нам исходной точкой. Дальнейшие шаги на путях точной экспертизы привели нас к горестному убеждению, что и среди бесспорных подлинников есть слабые произведения, и что не все Беллини и Боттичелли, Рафаэли и Рубенсы, Веласкесы и Ван Дейки — безупречные шедевры».

Нельзя сказать, что Беренсон в своем применении мореллианского и собственного методов всегда последовательно придерживался этого «горестного убеждения». Так, отрицая подлинность находящейся в петербургском Эрмитаже «Юдифи» Джорджоне, которую Беренсон считает только копией, он как

раз подтверждает свое мнение тем, что великий мастер не мог так вяло написать некоторые детали этой картины, с которой Беренсон, между прочим, знаком только по фотографиям. При этом он не принимает в расчёт последствий реставрации, которой неоднократно подвергалась картина. Точно также, основываясь только на фотографии, отвергает он подлинность одного из поздних приобретений Эрмитажа, приписываемой Да Винчи так называемой «Мадонны Бенуа». Нельзя отрицать значения и полезности хороших фотографических снимков в деле изучения предметов искусства; но требуется не малая самонадеянность, чтобы основывать на них окончательное суждение, противоположное высказанному весьма компетентными искусствоведами, знакомыми с оригиналом.

В писаниях Беренсона, к тому же, поражает легкость, с которой он, руководимый интуицией, распределяет авторства, и, еще более, с каким отсутствием смущения он, под влиянием всё той же интуиции, отказывается от своих прежних мнений. Мы уже видели, как изменилось его мнение о «Поклонении пастырей», которое он когда-то приписывал Катене, но в котором впоследствии увидел раннего Тициана, и которое теперь висит в Национальной Галлерее в Вашингтоне, как произведение Джорджоне. Приведу еще один разительный пример. В одной из своих ранних книг, посвященной творчеству Лоренцо Лотто, Беренсон на протяжении четырех страниц высказывает свой восторг по поводу изображения святой Юстины в одном миланском собрании и убедительно доказывает, согласно с методом Морелли, почему эта картина могла быть написана только мастером Алвизо Виварини и никем другим. Но в его «Критических этюдах» (1916) мы читаем: «...Я вернулся насладиться святой Юстиной. Меня более не интересовал вопрос, кем она написана, ибо никто из нас не сомневался, что она принадлежит кисти Виварини. Но когда я оказался в ее присутствии, и прежде даже чем я осознал, что гляжу на нее, всё мое существо реагировало так как оно реагирует только на Беллини... И когда я, наконец, взгляделся, я, конечно, увидел Беллини. В одно мгновение всё, что характеризует душу и сущность этого мастера, предстало предо мной с такой ясностью, что я более не мог понять, как мы прежде могли быть так слепы».

По словам Беренсона, «...настоящее познание художника основано на почти подсознательных процессах, с их несколько более сознательными умственными рефлексамии...», терминология не слишком точная и едва ли очень удачная, впервые выдвинутая им в книге о флорентинских художниках. Там же он

пустил в ход, ставшие ныне достоянием художественной критики термины *tactile values* (осязательные качества) и *tactile imagination* (осязательное воображение). Так, относительно произведений Мазаччо: «Я не могу глядеть на них без сильного возбуждения моего осязательного воображения. Я чувствую, что могу прикоснуться к каждой фигуре, что она окажет определенное сопротивление... что я могу обойти вокруг нее»... Или, о Мадонне Джотто: «Наше осязательное воображение немедленно приходит в действие, наши ладони и пальцы сопровождают наш глаз с большей скоростью и свободой, чем в присутствии действительных предметов...»

В этом облегчении и ускорении осязательного воображения, вызванном этими «осязательными качествами», Беренсон видит повышение жизненного тона (*life enhancement*), чем и пытается объяснить эстетический момент. В вышедшей в 1948 г. «Эстетике и истории изобразительных искусств» мы читаем, что, кроме «осязательных качеств», в эстетическом моменте играют роль воображаемое переживание движения (флорентийцы), пространственной композиции (умбрийцы) и колорита (венедианцы), связанные в такой именно последовательности с воображаемыми мускульными, дыхательными и висцеральными ощущениями.

Беренсон сам повествует в «Эскизе автопортрета», что на экзаменах в Гарварде он всегда получал высшие отметки. Только у Вильяма Джэймса, одного из основоположников современной психологии, он получил всего лишь «удовлетворительно». Думается, что если бы он в свое время более основательно проник в учение Джэймса об эмоциях, впоследствии развитое в так называемую «теорию Джэймса-Ланге», он не стал бы настаивать на собственной терминологии. Всё, что он описывает, анализируя свои реакции на произведения искусства, он нашел бы частью у Джэймса, частью в теории «вчувствования» (*Einfühlung*) Теодора Липпса, или «эмпатии», по более позднему термину Титшенера, в трудах Теодюла Рибо (*Imagination créatrice*) и, в особенности, в наблюдениях и работах Вайолет Пэджет, писавшей под псевдонимом Вернон Ли. Конец прошлого века был ознаменован повсеместным поворотом от философской и риторической эстетики к эстетике психологической и экспериментальной. На этот путь повернули и Липпс, и Гроос, и Кюльпе, и Фолькельт. Но, как мы узнаем из «Эскиза автопортрета», Беренсон пробежал только несколько страниц Липпса и по характерному собственному признанию сознательно избегал Фолькельта, боясь, что он предвосхитил его идеи, и что ему не останется ничего к ним

прибавить. Вернон Ли он хорошо знал лично и об общем направлении ее работ не мог не знать. Но вскользь упомянув ее имя, он обходит ее теории и опыты всё тем же характерным умолчанием. Трудно также допустить, что он не был знаком с «Принципами психологии» своего бывшего учителя, а впоследствии и друга, Вильяма Джэймса. Возможно, что он также ревниво охранял от них свое теоретическое творчество, как от возможного влияния Фолькельта.

Осязательные качества картины, линии движения, пространственную композицию и колорит Беренсон объединяет под термином «декорация». Повествовательные и духовные (spiritual) элементы он называет — «иллюстрация», продолжая таким образом устарелое разделение на форму и содержание. Особенно значительной для эстетического момента является, как будто бы, декорация. Принципы эти Беренсон излагает, так сказать, на ходу, в томах, посвященных школам итальянской живописи и опубликованных между 1894 и 1907 гг. Этими гипотезами Беренсон внес свой вклад в то теоретическое движение, которое к этому времени охватило художественный мир, наполнив его спорами о «пластичности», «структуре», «динамической симметрии», «значительной форме», и прочими лозунгами так называемых модернистов, стремившихся конкретизировать эти логические построения в произведениях футуристических, кубистических, «диких», экспрессионистических, орфических, вортистических, пуристических и даже «лучистических» (Ларионов). Художники этих многочисленных групп приступали к творчеству, основываясь на освобождении формы от содержания, отчасти базируясь и на пренебрежении иллюстрацией, шедшем от Беренсона. Беренсон, один из первых признавший Сезанна и Матисса, не мог последовать за окончательными логическими выводами кубистов и абстрактных художников. «Логика, замечает он, привела к гибели всех наиболее интеллектуальных художественных движений последних восьми веков, от готической архитектуры и до кубистической живописи». К счастью, Беренсон не доктринер. И заплатив дань современности попытками проследить психологические основы художественного наслаждения, он, как и можно было ожидать от писателя, впитавшего в себя века итальянского искусства, приходит к заявлению: «...Короче говоря, эстетический момент есть момент мистического видения». Заявление импульсивное, весьма сходное по темпераменту с неожиданностью перемен в его атрибуциях авторства картин.

Последним мерилom Беренсона всегда являются интуиция и вкусы, сложившиеся под влиянием классиков. Так, в Сезанне

он видит колорит венецианцев и упорное преодоление пространственной композиции. В Матиссе его привлекает еще и мощь функциональной линии. Но к тому, что ему кажется шарлатанством, он относится с большой непримиримостью. «Художники последних лет, пишет он, выступили только с искаженными интерпретациями своих предшественников или же плыли без руля, претендуя на оригинальность. Наиболее передовые забавляются чисто геометрическими диаграммами, которые загипнотизированная публика принимает за «абстрактное» искусство». Да он, очевидно, и не придает очень большого значения теоретическим умствованиям. «Насколько мне известно, пишет он в «Эстетике и истории», высказаться исчерпывающе об искусстве живописца суждено было не нам, профессиональным критикам и историкам, а художникам слова, как, например, Бальзаку в его «Неведомом шедевре», Гоголю в «Портрете» и Лескову в «Запечатленном ангеле»...

Если это так, то думается, Беренсон напрасно сожалеет о том что не посвятил себя всецело разработке своих эстетических теорий. В первой четверти этого века не мало было пущено в циркуляцию гипотез о «тактильных» свойствах и их роли в восприятии художественных произведений, о пространственной композиции, об абстрактном и беспредметном искусстве, нередко способствовавших претензиям и успеху у публики бойких на словесные вариации посредственностей. Невольно вспоминается Манэ с его нелюбовью к теоретической болтовне: «*Si ça у est, ça у est. Si ça n'y est pas, faut recommencer. Tout le reste est de la blague!*».

Независимо от теории, Беренсон внес ценный вклад в практическую технику изучения художественного богатства итальянских школ с тринадцатого века и по конец семнадцатого. Идя от Морелли, он разработал метод детального анализа, проследил развитие отдельных мастеров, в особенности в их бесчисленных набросках и подготовительных рисунках, установил индивидуальные характеристики. Случалось ему и ошибаться, но ошибок своих он не скрывал и не защищал. С другой стороны, ему принадлежат и многие удачные открытия, упрочившие и его метод, и его авторитет. Так разбираясь в ряде произведений, приписывавшихся разным мастерам, он объединил их всех в одну группу. Его анализ привел его к убеждению, что все они принадлежат кисти одного художника, но не имея о нём исторических данных, он назвал его *Alunno di Domenico*, «Ученик Доменико», так как во всех этих произведениях чувствовалось влияние Доменико Гирландайо. Впоследствии документы подтвердили, что автор всех этих произведений был, дей-

ствительно, один мастер, Бартоломмео ди Джованни. Но от другого подобного эксперимента Беренсон сам отказался. Им создан был таким же образом другой аноним, предполагаемый автор ряда вещей, различно приписываемых авторитетами то Сандро Боттичелли, то Филиппино Липпи, то Гирландайо. Беренсон дал ему имя *Amico di Sandro*, Друг Сандро, и под этим именем стали появляться на аукционах и в каталогах собраний приписываемые ему Беренсоном произведения. Но потом, к немалому смущению кураторов и собирателей, Беренсон отказался от созданного им анонима и по-своему перераспределил его творчество между Боттичелли, Филиппино и Гирландайо.

Возможно, что кажущийся произвол и неустойчивость суждений Беренсона объясняются его попыткой объединить, по меньшей мере, три лишь случайно между собой связанные проблемы: во-первых, проблему изучения творческой индивидуальности художника, его личного и регионального темперамента, влияний, воспринятых им, в особенности, в годы ученичества, отражения в его творчестве исторической обстановки, и преодоления им технических задач ремесла; во-вторых, проблему художественного восприятия, т. е. проблему зрителя, в плане психологическом и эстетическом, т. е. его «поведения» (*behaviour*) при контакте с произведением искусства; и, наконец, проблему, которой Беренсон отдал большую часть своего времени и труда, — установления авторства, цель которой лишь относительно связана с предметом двух первых и которая во многом схожа с попытками установить авторство трагедий Шекспира или «Слова о полку Игореве». Нельзя, однако, отрицать полезности трудов, посвященных этой последней проблеме, потому что, кроме удовлетворения снобизма собирателей и праздного любопытства, работы эти привели к более пристальному и всестороннему исследованию отдельных произведений и их художественного и исторического окружения.

В *Rumor and Reflection*, говоря об Амиеле, Беренсон цитирует из «Мыслей вслух» Генриха Гомбергера (*Heinrich Homberger, Selbstgespraeche*): «...Бывают таланты, созданные для научно формулированной истины, методического результата анализа и синтеза. Но есть и другие, для которых такая истина слишком абстрактна, слишком обнажена, слишком прямолинейна и безжизненна, — словом, таланты, до которых истина доходит только, если она выражена в образах жизни... Амиель всю жизнь колебался между этими двумя контрастами, между наукой и искусством, между анализом и изображением...» Переходя к себе самому, он замечает: «Я столь же раздвоен по природе, как и Амиель. Я, возможно, обладаю его культурой

и интеллектом, но мне не дано его искусство». Думается, что заключение это, похвальное по скромности, не совсем справедливо. Ценность Беренсона, именно, в его исключительной одаренности, в его редком «разговорном» даровании. В введении к «Эскизу автопортрета» он очень метко и с подкупающей откровенностью сам характеризует это дарование: «Я рожден не писать, а говорить, более того, разговаривать, и то — только со стимулирующими меня собеседниками». Он охотно признается, что, подобно медиуму на спиритическом сеансе, присутствие сомневающих сбивает его с толку. «Мои слушатели должны верить и принимать не столько то, что я говорю, сколько меня самого, как достойного их внимания собеседника».

Этим даром непринужденной беседы особенно отмечена его последняя книга, *Rumor and Reflection*. В этой беседе, переходящей от бурных и хаотических событий и слухов военной действительности к Геродоту и Шекспиру, к Расину или Бергсону, или к лирическим описаниям тосканской природы, поражает невозмутимая ясность духа, в особенности, если принять во внимание, что писателю угрожает несомненная опасность, что в течение почти четырех лет он окружен атмосферой враждебности и подозрения, что весь мир в это время охвачен безумием и ужасами невиданного дотоле кровопролития и «повсюдного всеразрушения». Он вынужден покинуть очаровательный дом, в котором прожил полвека в творческом наслаждении искусством, окруженный книгами и картинами, признанием и почетом. Не только его художественным собраниям, делу всей его жизни, но и самой этой жизни угрожает гибель. Ему, наконец, приходится искать убежища и скрываться в доме дипломата, представителя совершенно ничтожной страны, с неприкосновенностью которого неприятель может и не считаться. Он отрезан от мира, и известия с фронта гигантской войны доходят до него только в гротескных искажениях. Его возлюбленная Италия осквернена вульгарным цинизмом фашистского режима, зажата в тиски между обезумевшей Германией, старчески немощной Францией и кажущимся хаосом в стане союзников. Но мысли и наблюдения Беренсона не отравлены ядом мстительности, он удерживается от огульного осуждения угрожающих его миру враждебных элементов, он не смешивает в одну кучу Италию и фашистов, Германию и наци, Россию и большевиков. Во многом он разбирается с большой зоркостью: «Русская победа, пишет он в феврале 1942 г., и, как результат ее, полная оккупация Германии, была бы единственным способом убедить немцев, что их интересы связаны с Францией и Англией, и убедить французов и англичан, что в их интере-

сах, столько же как и центральных европейцев, не допустить владычества России над всем континентом... Со времени моего посещения Германии в 1888 г. я всегда утверждал, быть может, в шутку, что Азия начинается на Рейне... Не только американцы, но даже Австралия, в свете настоящего исторического положения, должны считать Россию более серьезной угрозой, чем Германию». Беренсон боится Востока, цивилизаций, основанных на племени, на орде, на массе. В этом сказывается и его влюбленность в средиземную культуру, и его постоянная оппозиция Иосифу Стшиговскому и его проблеме «Orient oder Rom». В марте того же года Беренсон пишет: «Трудно поверить, что государственные деятели могут искренно поддерживать положение, что то, что происходит внутри других стран, их не касается, или же, что «идеологии» не должны вмешиваться в международные отношения. Бесплезно рассуждать о трусости такой политики. Достаточно указать на ее результаты». Там же: «Если китайцы захватят Индокитай и Корею, они создадут монгольскую солидарность, которая включит Сиап, Бирму, Непал, и многое другое, так как жажда завосваний растет с ее удовлетворением». И это — в 1942 г.! А в феврале 1944 г.: «Я боюсь пролетариата, а еще больше — «интеллигенции»... Я знаю, в каком положении пролетариат в Америке, где рабочих эксплуатируют сотни Муссолини и Гитлеров. Эти «вожди» столь же своевольны и деспотичны, и не менее властолюбивы, чем здешние. В Америке, к счастью, среди «буржуев» (*bourjui*, курсив Беренсона) достаточно силен гражданский дух, способный их победить, главным образом, согласием с тем что в их требованиях выполнимо...». Далее, в том же году: «Одна из немногих причин моего сожаления о моем возрасте (ему в это время было семьдесят девять лет) — та, что я не могу надеяться увидеть результаты начинаний Сталина... Он сможет свести человечество, живущее между Балтийским морем и Тихим океаном, к одинаковым условиям, заставить их на одном языке повторять одни и те же лозунги... Но останутся ли они надолго в таком состоянии? Едва ли. Они создадут правящий класс не только в администрации, в промышленности, в политике, но не менее того и в делах духа, в науках, в мышлении, в литературе и в искусстве. Не сделается ли этот правящий класс слишком эгоистичным, слишком надменным, слишком изолированным, слишком любостыжательным, как случилось с подобными классами в прошлом?». И опять в феврале того же 1944 г.: «Сталин, если можно верить тому, что мы слышим, решил покончить с крестьянством в России, превратив его в пролетариат. Хотел бы я дожить до того, чтобы увидеть, как удаст-

ся этот эксперимент. И может ли он удался на пользу крестьянину и стране?».

Сталина уже нет. А восьмидесятисемилетний Беренсон еще наслаждается созерцательной жизнью в своем «парадизе». Активная его жизнь, по его собственным словам, завершилась около полувека тому назад. В *Rumor and Reflection*, оглядываясь «на труд, которым трудился он под солнцем», он пишет, впадая в тон Екклезиаста, сына Давидова: «...Спрашиваю себя какая была от меня польза, после того, как мне минуло сорок лет. К тому времени я уже закончил и опубликовал систематический труд о рисунках флорентийских мастеров... Правда, в последующие годы я усовершенствовал и уточнил мой метод так, что мог воссоздать творческие карьеры Филиппо Липпи, Боттичелли, Антонелло да Мессина и многих других. После сорока я стал главным двигателем потока итальянских картин, хлынувшего в Америку. Я собрал библиотеку, которая сможет принести пользу исследователям искусства и цивилизации, которые будут после меня. Но что касается до моего вклада в критическое мышление, то, думается, не составило бы ни малейшей разницы, если бы я умер вскоре после пятидесяти».

Если принять во внимание, что с тех пор Беренсон опубликовал полтора десятка работ, в том числе *Aesthetics and History*, *Sketch for a Self-Portrait* и *Rumor and Reflection*, слова эти звучат излишней скромностью. Судя по последним книгам, владелец виллы I Tatti всё так же зорко всматривается в окружающий мир, всё так же внимательно прислушивается к доносящимся откликам. «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием...» И как знать, быть может, исполнится и его желание дожить до конца сталинского эксперимента.

**А. Конский**

# ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ С. С. ПРОКОФЬЕВА

*«Необходимо чувствовать и предвидеть завтрашний день искусства... В этом есть своеобразное сходство со стрельбой по движущимся мишеням: только взяв прицел вперед, в завтрашний день, вы не останетесь позади, на уровне вчерашних требований.*

*Вот почему всякое стремление композитора к упрощенчеству я считаю ошибкой».*

*(С. Прокофьев. «Правда», 31.XII.1937 г.)*

## I

Как бы ни расценивать музыкальное наследие С. С. Прокофьева, не может быть никакого сомнения в том, что наиболее характерной его чертой является непримиримый протест против каких бы то ни было ограничений творческой свободы музыки. Протест этот не был у Прокофьева чем то преднамеренным, как не был он и простым пристрастием к «новизне» самой по себе. Его новаторство было порождено неослабевающим чувством яркого восприятия жизни, искренностью и непосредственностью его художественной реакции. Только благодаря этому Прокофьеву удалось обогатить сокровищницу мировой музыки тем «новым», в котором «неизведанное возводится к прежде бывшему», являясь, в силу этого, подлинно историческим завоеванием.

В русскую музыку с творчеством Прокофьева «ворвалась новая жизнь — порыв навстречу весенности и радости» (Игорь Глебов). Для русской музыки Прокофьев стал одним из немногих, «кто очистил ее атмосферу от посторонних ей элементов и утвердил ее права на чистоту искусства, нежелающего быть ничем иным, кроме как музыкой» (Леонид Сабанеев). Наконец, для русской подсоветской музыки — Прокофьев был обличителем ее более чем тридцатилетнего искажения в угоду политическим интересам тоталитарного режима; живым укором тем попыткам ограничить свободу музыкального творчества, которые под лозунгом создания «музыки для простого народа», не деле свелись к закреплению музыки в целях ничего общего с ней не имеющих.

## II

Жизнь Сергея Сергеевича Прокофьева уже в раннем детстве приобретает ясно выраженные черты жизни музыканта, где часто не представляется возможным отграничить музыкальные интересы от интересов повседневного быта. В сущности говоря, уже с пятилетнего возраста (его первая композиция «Индийский галоп» была написана им в 5½ лет) музыка составляет едва-ли не единственное содержание всей его жизни. Этому, в значительной мере, способствовали и те внешние условия, в которых протекало его детство: особенно щедрая, южнорусская природа и, главное, то внимание и забота, которыми был окружен юный композитор в своей семье.

Родился Прокофьев 23 апреля (по новому стилю) 1891 г., в селе Сонцовке, Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровской области), в высоко интеллигентной семье. Его отец, Сергей Алексеевич, агроном по образованию, служивший управляющим имения Сонцовых, был человек с широкими культурными запросами и художественными наклонностями и несомненно сыграл значительную роль в формировании будущего композитора. Но непосредственным руководителем Прокофьева была его мать, Мария Григорьевна, урожденная Житкова (1855-1924). Сама прекрасная пианистка и широко образованная женщина, она не только взяла на себя роль воспитателя своего единственного сына, но была и его первым и, надо сказать, замечательным учителем музыки. В 1899 г., будучи уже автором значительного числа детских музыкальных пьес, (преимущественно галопов, маршей, вальсов, рондо) Прокофьев впервые посещает, с родителями, Москву, где слушает ряд опер и балетов («Спящая красавица», «Фауст», «Князь Игорь»), оставивших в нем неизгладимое впечатление и вызвавших первые попытки сочинения опер («Великан», «Пустыня Исландии»).

Уже в его ранних творческих попытках ясно обнаруживаются черты, ставшие впоследствии типичными для его музыки: радость открытия «нового», любовь к неожиданностям, к четким и упругим ритмам, маршевым рисункам мелодии, модификациям «привычных» средств выразительности<sup>1</sup>. Последовавшая вскоре новая поездка в Москву (1900 г.) ознаменовалась представлением юного композитора С. И. Танееву, который не только признал исключительное дарование Про-

---

<sup>1</sup> Ср. С. Прокофьев, «Юные годы, из автобиографии», «Советская музыка», апрель 1941 г.

кофьева, но и взял на себя общее руководство его музыкальным воспитанием. В целях основательного изучения теории музыки, С. И. Танеев рекомендовал Прокофьеву одного из своих учеников, тогда еще молодого композитора Р. М. Глиэра. В 1902-3 гг., летом, в Сонцовке, Прокофьев усиленно занимается с Глиэром гармонией, анализом форм и инструментовкой и пишет под его руководством ряд фортепианных пьес, в которых перевоплощались в марши, польки и мазурки — усвоенные еще от матери Бетховен и Шопен, а также мелодическая культура Беллини и Верди и «синкопированная» ритмика Шуберта и особенно Шумана. Главными произведениями этих лет, написанными под руководством Глиэра, явились «Симфония в соль мажор» для полного оркестра (впоследствии частично использованная в знаменитой «Классической»), «Скрипичная соната» (затем переработанная в виолончельную «Балладу», Op. 15), а также новая опера, в основу которой был положен текст пушкинского «Пира во время чумы».

В 1904 году Прокофьев был представлен А. К. Глазунову, который, так же как Танеев, высоко оценил способности юного композитора. В этом же году Прокофьев, тринадцатилетним мальчиком, поступает в класс композиции Петербургской Консерватории, представив на вступительном экзамене не более, не менее, как 4 оперы, симфонию, две сонаты и множество мелких фортепианных пьес. Для Петербургской Консерватории это были годы блестящего расцвета педагогической деятельности таких выдающихся мастеров как Римский-Корсаков, Глазунов и Лядов, с исключительным вниманием отнесшихся и к своему новому воспитаннику. События 1905 года на время нарушают нормальный ход занятий в Консерватории. Как известно, в знак протеста против правительственных ущемлений автономии высших школ, в этом году Консерваторию оставили Римский-Корсаков, Глазунов и Лядов, возвратившиеся в нее только в следующем, 1906-7, учебном году. Но и в этот год Прокофьев не прерывает своих занятий, беря частные уроки по фортепиано у Александра Винклера и по композиции у Лядова.

Вернувшись в 1906-7 г. в Консерваторию, Прокофьев на долгие годы связывает себя с нею, тесно сдружившись как со своими руководителями, так и с товарищами по классу, особенно с Н. Мясковским и Б. Асафьевым.

Однако, уже в Консерватории у Прокофьева назревает конфликт между его творческими стремлениями и тем музыкальным окружением, в котором он оказался. Конфликт этот был порожден тем, назревшим к тому времени, переломом в

мировой музыкальной культуре, который начинал оформляться в широкое движение музыкального модернизма. Глубоко почитая своих учителей и искренне восторгаясь их творчеством, особенно последними операми Римского-Корсакова («Китеж», «Золотой Петушок»), симфониями Глазунова (особенно ми-мажорной, с ее знаменитыми секундами), а также «миниатюрами» Лядова, Прокофьев, однако, с большим увлечением отдается «новым веяниям», идущим с Запада. Уже в свои первые консерваторские годы он систематически изучает современную западно-европейскую музыку. Относящаяся к 1907 году его переписка с Мясковским свидетельствует о глубоком процессе переоценки молодым композитором «привычных ценностей». Особенно ясно обнаруживается связь Прокофьева с модернизмом начиная с 1908 г., когда вечера Петербургской Ассоциации современной музыки широко всколыхнули русскую концертную публику, вызвав решительную оппозицию молодых русских музыкантов к академизму «беляевцев» и многочисленных к тому времени эпигонов Римского-Корсакова и Чайковского. К этому времени Прокофьев уже закончил Консерваторию как композитор (1909 г.), но он остался в ней еще на пять лет в качестве студента фортепианного класса выдающейся пианистки и педагога (школы Лешетицкого) М. Есиповой, одновременно обучаясь и дирижированию у Н. Черепнина.

Важным годом в развитии Прокофьева явился 1911 год — год, когда его творчество завоевало значительное признание со стороны исполнителей и критиков. С этого времени его произведения начинают включаться в программы симфонических и камерных концертов, как в Петербурге, так и в Москве. Среди исполнителей пропагандистами его музыки становятся известный московский дирижер Сараджев и такие крупные пианисты, как Орлов и Боровский. Вячеслав Каратыгин, один из страстных поборников «новых путей» в музыке, приветствует в лице Прокофьева появление новой крупной индивидуальности, «кому вместе со Стравинским суждено проложить новые пути развития русской музыки» («Речь»). Восторженно отзываясь о Прокофьеве и Леонид Сабанеев, отмечая в творчестве Прокофьева «тенденцию времени» («Голос Москвы»). Особенное внимание начинает уделять Прокофьеву журнал «Музыка», со статьями Держановского, Сараджева, В. Беляева, Мясковского, Игоря Глебова, посвященными его творчеству. В частности последний — Игорь Глебов, несколько позже («Музыка», 1916 г., № 249, стр. 27) дает и один из первых развернутых анализов музыки Прокофьева.

1913-14 г. был последним годом пребывания Прокофьева в Консерватории, которую теперь он заканчивает и как пианист и дирижер. Можно с уверенностью сказать, что к этому времени Прокофьев вырастает в зрелого художника огромной индивидуальной яркости, со своеобразным, ясно определившимся стилем.

### III

Что же дали Прокофьеву эти годы — годы рождения его творческого облика?

Тематика и стиль его творчества были, в то время, необычными. Его цельное и самобытное звукозвучание не укладывалось ни в какие категории отвлеченного академизма. Он принес в музыку новое видение-слышание мира, наново изощренную и по-новому направленную слуховую зоркость. Он предстал художником большой конструктивной силы, в творчестве которого, взамен окаменевших старых форм, жило бурное, безостановочное движение к «самочинному» проявлению. Вместе с тем, при всей его оппозиции к тому, что «было до него» в творчестве его остался и тот «осадок», который не только ставил его в ряды последовательных представителей русской музыки, но и делал его типичным русским композитором.

Молодой композитор, с анархической бравадой фрондирующий против своих учителей, всё же стал породителем их традиций, усвоив лучшее, что было у них — ясность голосоведения, красочность и изобразительность. Лядовская сказочность и причудливость образов воскресли у Прокофьева в его многочисленных «сказках» и «побочных» партиях его концертов. Огромное влияние оказал на него и Римский-Корсаков, особенно своей «характерностью» (гротескные марши-шествия в «Снегурочке», «Салтане», «Петушке») и выразительной игрой чистых тембров. Бородин с его «четкими ритмами» и Мусоргский с его «манерой рисовальщика» и мастерством юмора также наложили глубокий отпечаток на формирование его стиля. Впрочем вся русская музыка с ее «празднеством жизни и глубоким ощущением сил тления и угасания», включая и Чайковского, воспитала и сформировала Прокофьева. И всё же его «подлинными предками» были, как и для всех русских композиторов — Глинка, с его «Камаринской», по живости же «музыкальной хватки» — Моцарт.

Тем не менее, как и для большинства его современников, для Прокофьева склад музыкальной речи предшественников полек, и, как всегда в искусстве, стала неизбежна реакция. Однако, в отличие от многих своих современников, он не пошел

путями «вызова разсудку» и полного отрыва от той почвы, на которой выросло искусство прошлого. При всем его очевидном стремлении взрыхлить эту почву по-новому, его художественное воображение сохранило то, чем была богата музыкальная культура прошлого, — ее интонационную логику. Стараясь выразить то, что прозвучало в его душе и ломая при этом привычные формы, он всё таки сохранил ту цельность и ясность мысли, без которой немислимо никакое продвижение вперед.

Уже «Первый фортепианный концерт» Прокофьева (*Op.* 10, 1911 г.) должен быть признан произведением зрелого мастера. На первый взгляд — двадцатилетний композитор прокламирует здесь «легкоатлетическую упругость» и жесткость<sup>2</sup>. Однако, в действительности, «драматургия» этого концерта, с ее резкими контрастами образов, уже обнаруживает характерное для Прокофьева эмоциональное разнообразие. Здесь и «беготня» мажорных экзерсисов, и беззаботность танцевальных тем (главная партия), и чистая мечтательная лирика (гис-мольный эпизод), и трагическая экспрессия побочной партии. Те же качества прокофьевской «драматургии» обнаруживаются еще яснее в его последующих произведениях этого периода — во 2-м фортепианном концерте, 2-ой, 3-ей, 4-ой фортепианных сонатах и Первом скрипичном концерте, — в которых переплетаются в сложнейших модификациях «светлые мечты и язвительный скепсис, лирические излияния и бешеное *feroce* с озорным шутовством»<sup>3</sup>.

Уже в эти годы Прокофьев, как видим, далеко не так односторонен, как его сейчас еще иногда пытаются представлять. Действительно, одной из характерных для него в эти годы черт является стремление к «искажению» своих же собственных лирических образов. Лирика им или внезапно отстраняется и заслоняется смешными гримасами, изломанным движением (1-я часть второй сонаты, Первый концерт), или подвергается «искажениям» в разработке (скрипичный концерт) или в вариациях (3-й фортеп. концерт). И тем не менее, лирическая стихия у него даже здесь настолько сильна, что никакие «искажения» не в состоянии ее преодолеть.

В чем же смысл этого «борения начал» — «дела разрушения» и упрямого духа, не поддающегося разрушению?

<sup>2</sup> I. Nestiev. S. Prokofiev. His Musik and Life. N. Y. A. Knopf. 1946.

<sup>3</sup> И. Нестьев. «Сергей Прокофьев, материалы к творческой биографии», «Советская музыка», апрель 1941 г.

Думается, что для Прокофьева уже тогда искусство не только отображало, но и преображало жизнь. И он стремился «за пределы жизни», в порыве к беспредельному, вечному. Вместе с тем его искусство было искусством конкретных образов и ситуаций. Это путь излюбленный русской музыкой, столь мало склонной к чистой абстракции, путь «жадности к жизни». Это своеобразный реализм, учитывающий способность музыки внушать реальность. Вот почему скепсис молодого Прокофьева отнюдь не был скепсисом человека неверящего в жизнь. При всем его стремлении к издевке и осмеянию «гладенького и красивенького» в музыке его звучала душевная свежесть, чувствовалось бессознательное созвучие с природой, открытость души и своенравная, безудержная порывистость.

#### IV

Явление музыкального модернизма — неоднородно. За время своей более чем полустолетней эволюции современная музыка пережила значительные изменения. Первые шаги музыкального модернизма, в конце прошлого столетия, характеризовались стремлением к передаче тончайших, зыбких, едва уловимых настроений. В сущности говоря, и символисты и импрессионисты доводили до крайности эстетические принципы романтического индивидуализма. Но уже во втором десятилетии нашего столетия музыкальный модернизм приобретает иной, более воинственный характер. Начинается борьба вообще с «эмоциональной музыкой»: провозглашается культ движения, ритма, энергии «необычных» гармонических эффектов. На смену символизму и импрессионизму приходит конструктивизм, усиливается тенденция к «реставрированию» старинных стилей (необахизм, неоклассицизм) соединенная с поисками нового, интегрального стиля нашего времени.

К моменту выступления Прокофьева, борьба против «эмоционализирующего диллетантизма, философствующего, эротического индивидуализма и абстрактно-схоластического академизма» достигает большого напряжения. Молодые русские композиторы, группирующиеся вокруг «Ассоциации современной музыки» в Петербурге и журнала «Музыка» в Москве, объявляют «безнадежно устаревшими, провинциальными и рутинными» традиции Римского-Корсакова и Чайковского. Наравне с бескомпромиссной защитой абсолютной свободы творческого выявления, защищается необходимость органического контакта с мировым искусством; идет борьба против

«национальной ограниченности» и против всяческой «тенденциозности», против попыток превращения музыки в средство для достижения «внемзыкальных» целей.

Прокофьев не только сознательно примкнул к этому движению, но и стал одним из его знаменосцев. Уже в юношестве ему претил эклектизм, пассивное следование за указаниями учителей; волновало его и неумение большинства его русских современников отразить в музыке назревшие в жизни сдвиги. С молодым задором и смелостью воюет он с эпигонами Римского-Корсакова и Чайковского, против всего «застоявшегося» в музыкальном искусстве. «Классический композитор, — заявляет он в эти годы, — это безумец, который сочиняет вещи, непонятные для своего поколения».

И действительно его музыка, уже в первых его творческих попытках, поражает своей необычной логикой, в которой покоряют, однако, здоровое приятие жизни, интенсивность, движение, убеждающий ритм, — элементы, придающие этой музыке ее динамическую экспрессию. Чтобы добиться этого динамизма, Прокофьеву понадобилось разрушить мертвящие академические догмы. Форма перестает для него быть самодовлеющей схемой, давящей на мысль, наоборот: музыкальная мысль стала создавать форму. Раз навсегда данные, «мотивированные» приемы для него больше не существуют, их место занимает свободный отбор средств воплощения художественной мысли, определяемый органичностью мышления композитора, а не школьными правилами. Свободная ритмическая игра мотивов-комплексов стала обуславливать своеобразие средств выразительности и, тем самым, музыка вернулась к своему первоистoku — звуковой игре воображения.

В этом бунте против своих учителей Прокофьев не стал, однако, «безродным космополитом», в чем его позднее обвиняли советские законодатели музыки. Как мы уже указывали, глубокая связь музыки Прокофьева с русской музыкальной традицией — самоочевидна. Тот радостный, сияющий взгляд на жизнь, который так отличает его творчество, не был чужд, конечно, ни Глинке, ни Даргомыжскому, ни Бородину, ни Мусоргскому, ни Римскому-Корсакову, ни даже Чайковскому. Прокофьев только углубил и развил эту сторону русской музыки (ее «пушкинское» направление).

Восставая против академических традиций Прокофьев не стал и «формалистом»: чистое комбинаторство, «рационалистическое абстрагирование» не были в его натуре. Он несомненно лирик — в том смысле, что в его музыкальном твор-

честве, в отличие от многих его современников, продолжало жить непосредственное чувство, тот самый «эмоционализм», с которым на первых порах он так решительно расправлялся.

Четыре года, после окончания Консерватории до отъезда в 1918 г. из России, были для Прокофьева годами огромного творческого напряжения и интенсивного участия в музыкальной жизни. Постановка «Сказки о шуте» в Италии, участие в концертах Кусевицкого, Зилоти, сезоны в Сестрорецке, Павловске, исполнение 2-го фортепианного концерта в программах Императорского Русского Музыкального Общества, постановка в Мариинском театре «Игрока» — таков внешний актив этих лет. Творческое развитие Прокофьева, в эти годы, во многом определилось его общением с Дягилевым. «Властитель дум» нового поколения живописцев и музыкантов, организатор «Мира искусства» и русских балетных сезонов за границей, С. П. Дягилев несомненно сыграл огромную роль в этом развитии как своим культом балетной формы, так и, в более общем смысле, признанием полной свободы художественного творчества. Да, в сущности говоря, еще раньше и «Вечера современной музыки» в Петербурге были своеобразным филиалом дягилевского «Мира искусства» (А. Нурок и В. Нувель, руководившие этими вечерами, были близкими сподвижниками Дягилева). По инициативе и заказу Дягилева Прокофьевым были написаны «Ала и Лоллий», «Сказка о шуте», «Стальной скок», «Блудный сын». Дягилев, в частности, направил Прокофьева и к русским национальным образам («Сказка о шуте»).

Традиция Глинки, Мусоргского, с ее односторонним вниманием к интонации человеческой речи и одновременно поиски «своего», нового и своеобразного и обусловили наличие в творчестве Прокофьева этих лет, — с одной стороны, своеобразной инструментальной и вокальной лирики, а с другой, — занятой выдумки и оригинальной «декорации». Из этих же источников вышли его близкий к говору речитатив, быстрота и лаконичность драматического развития и, наконец, парадоксальность и утрированность гармонии.

Сильная и трезвая любовная лирика (особенно «ахматовские романсы» и романсы ор. 23) довлела над «культом машин» и шумами большого города, не задавившими в Прокофьеве подлинной любви к природе и человеку. Поиски человеческого конкретного сплетаются у него при этом с интуитивным креном в сторону русского национального стиля. Любопытно, что, встретившись в 1915 г. у Дягилева с Мари-

нетти и другими вождями футуризма, Прокофьев остался к ним равнодушным. Точно так же не привели ни к чему и заигрывания с ним Маяковского в 1917-18 гг.

В целом ряде произведений Прокофьева этого времени можно найти неопровержимые доказательства его яркого и своеобразного чувства «национального» мелоса и гармонии. Всё это, наряду с излюбленным им ладом — светлой и прозрачной диатоникой с характерными мажороминорными колебаниями («Классическая симфония», 1916 г.), подтверждают мысль о том, что творческие искания Прокофьева этих лет упирались не в чистое «конструирование оригинальных вещей», а в «поэзию человеческого сердца», в искусство живых эмоций и больших страстей. Юношеские сарказм и пафос отрицания уступали место жизнеактивности его творческой природы.

## V

1918 год — определяет новую грань в творчестве Прокофьева. В этом году Прокофьев на долгие годы покидает родину. Советские биографы не скупятся изображать эти «годы странствований» Прокофьева самыми черными красками, повествуя о «разложении буржуазной музыки и вообще капиталистической культуры». Д. Кабалевский даже в своем некрологе Прокофьеву не преминул подчеркнуть «особенно губительное влияние на творчество Прокофьева годов проведенных им за рубежом». («Большая творческая жизнь», «Советское искусство», 18.3.1953 г.). В действительности же годы пребывания Прокофьева за границей (Япония, Америка, Англия, Германия, Франция) — не были ни «годами странствований» в том романтическом, листовском смысле, который приписывает им И. Нестьев в своей книге о Прокофьеве, ни годами «губительными» для творчества Прокофьева, как об этом пишет Кабалевский.

Оригинальнейший из композиторов, творчество которого к этому времени успело уже завоевать европейское признание, Прокофьев, несомненно, сознательно покинул Россию. Политические мотивы играли здесь не последнюю роль. Да и сам композитор, мотивируя свой отъезд, недвусмысленно писал в одной из статей о желании «подышать свежим воздухом». Иначе не могло и быть!

С «Октябрьской революцией» не только умирали музыкальные традиции, сформировавшие Прокофьева как композитора, но уничтожалась и сама среда, пестовавшая русскую музыку. Октябрьская революция сметала самобытность русской

музыкальной культуры, на которой выросло глубоко своеобразное творчество Прокофьева. Можно с уверенностью сказать, что Прокофьев не мог мириться с принуждением, которое тогда уже начинало давать себя знать.

В отъезде Прокофьева из Петрограда (он уехал весной 1918 г., по «командировке» Луначарского) было нечто от протеста его натуры, не терпевшей распада и анархии (дисциплинированность его музыки — лучшее тому доказательство). Дорога от Петрограда до Владивостока, по сибирской магистрали, с чехословацким легионом, возвращавшимся этим путем к себе на родину, с пробиванием через многочисленные фронты гражданской войны — всё это было свидетельством упорности Прокофьева в стремлении во чтобы то ни стало покинуть большевистскую Россию.

1-го июня Прокофьев прибыл в Японию, где его двухмесячное пребывание превратилось в триумф, чему в значительной мере способствовала появившаяся, незадолго перед этим, книга М. Отагуро о европейской современной музыке, со специальной главой о Прокофьеве. В сентябре этого же года Прокофьев был уже в Нью Йорке.

Заграницей, в Европе и в Америке, яркое творчество Прокофьева сразу же вошло в конфликт с западным музыкальным модернизмом, успешным к этому времени превратиться в новый своеобразный «модернистический академизм». Особенно остро этот конфликт обнаружился к 1923 году, во время пребывания Прокофьева в Париже, где тогда властвовал Стравинский. Влияние Стравинского на западных композиторов, и особенно на французских, было настолько сильным, что часто трудно было за «подражаниями» Стравинскому разглядеть индивидуальность даже таких композиторов как Онегер.

Насколько творчество и пианизм Прокофьева были самобытны и своеобразны свидетельствуют уже первые оценки его выступлений в Англии и в Америке. Его творчество трактовалось как «ультра-модернистическое», а о нем самом писали, как о музыканте «турко-славянского» типа.

Что же так поражало в творчестве Прокофьева? Несомненно, в первую очередь, свежесть его музыки, наличие в ней эмоциональной непосредственности. Сильная ритмика, мужественный удар, дерзкий «варварский» темперамент, эти особенности прокофьевского пианизма пугали и шокировали академическую аудиторию. Повторилось, в сущности, то же, что в свое время было в России, при первых выступлениях Про-

кофьева. Быть может, именно этим внутренним «здоровьем» своей музыки, ее оппозиционностью ко всему искусственному и рационалистическому, Прокофьев обязан тому исключительному напряжению творческих сил, которое сопутствовало ему в эти годы. Все созданное им на Западе, часто в условиях, если не материальной нужды, то, во всяком случае, жизненного неустройства — говорит о том большом упорстве, с которым композитор пробивал себе дорогу.

Советские биографы ограничивают «заграничный период» творчества Прокофьева — 1918-1927 годами (первый приезд Прокофьева в СССР). В действительности, это были 1918-1932 годы (год окончательного возвращения в СССР). За это время Прокофьев создал значительное число произведений. Особенно плодотворными были годы после 1923-24, — годы его жизни в Париже. Ни джаз, ни шенбергианство, ни необахианство Стравинского не привлекали Прокофьева. Быть может, только «культ машин» в какой-то мере задел его в «Стальном скоке». Впрочем и здесь, очевидно, дело не столько во внутренней тяге композитора к «машинизации», сколько в сознательном стремлении вытравить из «советской темы» какие бы то ни было элементы человечности, «омашинить» ее. «Скрежет фабричных моторов» и «грохот паровых машин» явились выгодным средством воплощения «советской экзотики», экстравагантного большевистского зрелища. Этим «советская тема» явно была дискредитирована. И не случайно, что московские рапповцы объявили «Стальной скок» «контрреволюционным произведением», устроив Прокофьеву в 1929 году злую обструкцию, тогда как в парижской русской эмиграции этот балет был встречен, как «постылая советчина».

Рожденный стихией эстрадности и театральности, Прокофьев в эти годы все больше уходил в себя, часто отказываясь от своей задорности и «шутовства». («Вещи в себе», 2-я соната, «Мысли», три пьесы Op. 59). В его музыку все больше врывается мало ему раньше свойственное философское начало, растет интерес к музыке «чистого созерцания», внутренне обусловленный еще его юношеской лирикой, которую он сам называл «созерцательной». Наравне с буйными гармоническими «варваризмами», нагромождением звучностей (2-я симфония, многое в 5-м фортеп. концерте), усиливается тенденция к «самодовлеющему мелодизму», чисто лирическому и созерцательному, не нуждающемуся ни в красочной гармонической опоре, ни в богатстве тембров фортепиано или оркестра. В его оркестровой палитре появляются элементы

суховатости и импрессионистической тонкости — одинокие, хрупкие тембры флейт, гобоев, кларнетов. Показательно, что уже в эти годы — красавица из «Блудного сына» — у него появляется новый образ ботичеллиевской девушки, прообраз «Джульеты» и «Золушки». Но не только эти «новые черты» появились в заграничном творчестве Прокофьева. Он, конечно, тосковал и по родине, по животворящей почве русской музыки, по всему, что еще с детства так глубоко запало в душу. Эта тоска вызвала тягу к русскому мелосу (даже появление, совершенно несвойственных ему в прошлом «обработок» народной песни: «Снежки белые» и «Калина», первый случай фольклорной обработки, исключая «Еврейскую увертюру»); отсюда же и его реминисценции «мусоргианства» («Анданте» из квартета *Op. 50* и «Мысли»).

Заграничный период творчества Прокофьева закончился «Симфонической песней» *Op. 57* и виолончельным концертом *Op. 59* — произведениями, демонстративно непринятыми официальными композиторскими кругами в СССР, и по всей вероятности именно потому, что в них Прокофьев предстал уже далеко не тем «простодушным задирой», которого легко было бы усмирить и приспособить к «строительству социалистической культуры», а самоуглубленным индивидуалистом, которого не так-то просто было увлечь в свою веру.

Тем не менее заграничный успех Прокофьева, воспринятый некоторыми кругами как «триумф аккредитованного представителя большевистского направления в музыке», не мог не вызвать в Советском Союзе официальной кампании за возвращение композитора в Советский Союз. «Прокофьеву... нужно вернуться к нам, пока нечисть американизма не подавила его», — провозглашал Луначарский в одном из своих «вступительных слов» к концерту. Возглавляемая Луначарским, эта кампания за возвращение Прокофьева, приняла широкие размеры, как в форме пропаганды его творчества в России, так и путем непосредственного нажима на самого композитора.

Если революцию Прокофьев воспринял как проявление хаотических, разрушительных сил, то «годы странствований» тоже не дали ему уверенности в обретении твердой почвы. Эта творческая неудовлетворенность Прокофьева, соединенная с усталостью и все растущей тоской по родине, и заставила его сначала сделать пробный концертный визит в СССР (1929 г. — Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Одесса), а затем, в 1932 г., окончательно туда вернуться.

## VI

Последний, почти двадцатилетний, период творчества Прокофьева, уже в советских условиях, несомненно был одним из наиболее интенсивных. За эти годы, Прокофьевым создано значительное число произведений, среди которых многое — лучшее из написанного им вообще.

Советская музыка, как известно, живет от «постановления к постановлению». В год возвращения Прокофьева в Советский Союз (1932), советская музыка переживала новый этап своего существования, под «знаменем» очередного «Постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций, от 23 апреля 1932 г.». Это постановление явилось актом тотального закрепощения искусства, в частности, музыки. Существовавшие до этого многочисленные группы и организации, часто с противоположными творческими целями и задачами, были ликвидированы и взамен был организован так называемый «Оргкомитет Союза советских композиторов», коммунистическая ячейка которого была призвана воплотить в жизнь задачи советской музыкальной политики. Музыкальное творчество, таким образом, становилось делом государственным, а творческая работа композиторов — работой советских государственных чиновников «осуществляющих» волю партии и правительства.

Правда, в первые годы действие этого постановления еще мало ощущалось советскими композиторами; тем более не ощущал его Прокофьев, еще чувствовавший себя на положении «именитого гостя». И свобода его «творческого поведения», и его личная жизнь, — его связи не только внутри СССР, но и с музыкальным миром Европы и Америки — не только не ущемлялись, но сохранялись и даже афишировались властью, как нечто «само собой разумеющееся». Внешне жизнь Прокофьева стала типичной жизнью крупного советского специалиста, со своеобразным отношением к нему со стороны власти: с одной стороны «почет и уважение», периодические демонстративные поощрения (ордена, звания, сталинские премии); с другой, — глубокая, часто скрытая от глаз, систематическая, повседневная «перделка», «перевоспитание» с целью обуздания его творчества в политических интересах власти. Дни заполнялись уже не творчеством, а «выполнением творческих обязательств»: концертными поездками (даже за границу — в 1939 г.), репетициями по подготовке исполнения своих произведений, «контактом с «музыкальной общественностью»

(Союз композиторов, Управление по делам искусств и т. п.), попытками педагогическо-воспитательной работы (новая, не совсем обычная для Прокофьева, кратковременная работа по руководству композиторским классом аспирантов Московской Консерватории) и т. п. В эти годы Прокофьева можно было видеть не только в концертах, кино-студиях, театрах, но и на всевозможных «музыкальных конференциях». Он принимает довольно активное участие и в пропагандно-публицистической деятельности (его статьи и заметки в «Правде», «Известиях», «Советской музыке»).

Но так продолжалось не очень долго. Уже к концу 40-х годов, даже внешне, жизнь Прокофьева резко меняется. Прекращаются не только его связи с границей, но и его общение с музыкальной жизнью СССР уступает место явной отчужденности. Прокофьев был одним из немногих (может быть еще Мясковский и Асафьев) советских музыкантов, усвоивших своеобразную форму отношений с «окружением» — форму «эпистолярную». Теперь Прокофьева уже нельзя было встретить ни в Издательстве, ни в Управлении по делам искусств, ни даже в концертах. Всюду, где только необходимо было его присутствие, — зачитывались его письма, в которых, ссылаясь на нездоровье, он ограничивался несколькими сухими, ни к чему не обязывающими пожеланиями. Так, например, не только на «Первом всесоюзном съезде советских композиторов» (1948), как известно, во многом непосредственно касавшемся самого Прокофьева, но даже и на чествовании шестидесятилетия композитора (1951), устроенном в Московской Консерватории в духе типичной советской помпы, — его самого не было и были зачитаны только его письма. Прокофьев появлялся иногда лишь в концертах, где впервые исполнялись его произведения.

Жил он в скромной подмосковной даче, в Москву приезжал только, чтобы повидаться с друзьями, которых после смерти Мясковского, оставалось всё меньше. Это было вполне закономерно в условиях советской жизни, с ее не только умирающей бытовой общительностью, но и с ее концертной жизнью, в прошлом всегда праздничной и шумной, а теперь превращенной в скучную чиновничью обязанность. Вмешательство партийной власти, закабалившее музыкальное творчество, сделало жизнь музыкантов, даже такого калибра как Прокофьев, невыносимо тяжелой.

Но если «Постановление о перестройке литературно-художественных организаций» еще в какой-то мере имело в виду «внешние», организационные формы закрепощения советской

музыки, то последовавшее за ним, через 16 лет, «Постановление ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба», от 10 февраля 1948 г.» уже со всей силой карательного аппарата обрушилось на само творчество советских композиторов. За фразами этого «Постановления» о «борьбе с космополитизмом» и «формализмом», за «правдивое, народное искусство», — было не трудно обнаружить его подлинную цель, направленную против самой музыки, как творческого акта и превращающую ее в ремесло политической пропаганды. Это «Постановление» в конце концов удушило и творческую волю Прокофьева.

Наиболее характерной областью творчества Прокофьева последнего периода является его инструментальная музыка. Здесь Прокофьев остался верным своим прежним идеалам, явно предпочитая «чистый инструментализм» вокальным и вокально-инструментальным жанрам, требующим обнаружения себя в «ортодоксальных» текстах.

После почти 17-ти летнего перерыва он возвращается к фортепианным сонатам и пишет свои 6-ю, 7-ю, 8-ю и 9-ю сонаты, а также ряд сонат для скрипки, 5-ю, 6-ю, 7-ю симфонии, безтекстовую симфоническую «Оду», проявляет усиленный интерес к своему архиву, извлекая из него с целью новой редакции, 2-ю и 4-ю симфонии.

С возвращением на родину и осознанием ужаса постигшей ее неволи, в творчество Прокофьева хлынула новая струя лирики и драматизма. Музыка его последних фортепианных сонат отличается сложными построениями, острыми ритмическими находками, впечатляющими токкатными эффектами. Соната всегда была для него формой широкой эмоциональной вместимости, однако теперь мужество и душевная теплота (6-я, 7-я, 8-я сонаты), стремительность и динамичность (особенно первая часть 7-й сонаты) сочетаются с оттенком редкой для него тревоги и драматизма (в той же 7-й сонате).

Фортепианное творчество Прокофьева, как ни один из его других жанров этого времени, сохранило присущие ему особенности стиля, — «вызывающее» новаторство в сочетании с традицией ранней классики XVII-XVIII веков. Как и прежде, самое классическое и простое у него это — форма, ритм, фактура, самое же сложное и необычное — гармонический язык, полифоническое письмо, иногда мелодика. Основные стилистические особенности фортепианного стиля Прокофьева остались нетронутыми и в эти годы, окрашиваясь лишь всё более сгущающимся чувством трагизма.

Но и в симфониях, еще и в «Пятой» и в «Шестой», продолжают жить элементы своеобразного «прокофьевского» симфонизма. Как и прежде, симфонизм этот опирается на классическую европейскую традицию, сохраняя оказавшийся особенно прочным, структурный костяк симфонии: драматическую остроту первого аллегро, отражение игривых и танцевальных досугов в многообразной форме скерцо, размышления о жизни, судьбе, любви и смерти в медленных частях и всегда устремленный, почти маршеобразный финал.

По-прежнему, Прокофьева привлекает яркая сюжетность и театральная конкретность оперы. Но он остался чужд тому упрощенству, которое так характерно для музыкального стиля советской оперы. Значение речитатива не свелось у него к некоему метризованному просторечию, натуралистическому «докладыванию» прозаической речи, как это принято у советских композиторов. Предельно развито у него также и искусство ансамбля. Его мелодика — могущественное средство душевной экспрессии, а необычайно четкая ритмика придает его оперным образам характер воли и настойчивости. Его последние оперы, «Семен Котко» и «Война и мир» — это глубокие душевные состояния, воплощенные в своеобразную прокофьевскую лирику, с ее лаконичностью и динамизмом.

В 1938 г. Прокофьев пишет «Александра Невского». Правдивость пейзажей, сосредоточенность действия, экспрессионистическая сгущенность «страшных» сцен — делают это произведение одним из наиболее ярких из написанного Прокофьевым в его последние годы. Грандиозная битва «Ледового побоища», заключительный хор «Вставайте люди русские», глубоко скорбный эпизод «Мертвого поля», написанный в характере старинного причитания — надолго останутся в русской музыке.

Значительны также сюиты, построенные на материале его балетов и кино-музыки: «Поручик Киж», «Египетские ночи» и особенно «Ромео и Джульета» — одно из самых интересных и глубоких произведений Прокофьева (1940 г.).

Во всем, созданном композитором в этот период его жизни, встречаются новые для него черты тревоги и трагического жизнеощущения. Подобно тому, как раньше юмор и «пафос отрицания» служили Прокофьеву защитой от грубой и страшной жизни, так теперь трагизм стал внутренней опорой его творчества. Это выразилось во всё большем тяготении его к темам, рисующим образы смерти и скорби (особенно показательны — неоднократное использование беспокойного и жутко звучащего интервала ноны в «Ромео и Джульете», в «Семене Котко», 2-я

картина 4-го акта, и столь же жуткие эпизоды медных духовых в Пятой симфонии).

Даже и в «детской музыке» Прокофьева («Петя и волк», 12 пьес *Op.* 65) светлые пейзажи, тихие русские вечера забавные персонажи животного царства, — образы, проникнутые ясным непосредственным чувством природы, вдруг «мрачнеют», вызывая все ту же тревогу. Трагическое чувство звучит и в последних романах Прокофьева.

Процесс глубокой, внутренней борьбы композитора за право быть собой, за свою творческую свободу, в конце концов, завершился трагической развязкой. И Прокофьеву не удалось устоять против беспощадного давления тоталитарного режима. Сначала он пишет довольно много «массово»-пропагандных песен, так ему ненавистных («Что такое настоящее хорошее в музыке? Это не пошленькие песенки, которые нравятся сразу, но назавтра надоедают так, что их невозможно слушать, а та музыка, корни которой лежат в классических сочинениях и в народной песне», — писал он в «Пионере», № 7, 1939 г.) Затем, особенно начиная с 1934-35 гг., он делает ряд уступок «советской тематике» (16 массовых песен *Op.* 66, 4 марша для духового оркестра *Op.* 69, «Песни наших дней» *Op.* 76, «Семь песен» *Op.* 79, «Кантата на тексты из Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина», так ни разу и не исполненная «Здравица» к 60-ти летию Сталина, Кантата «На страже мира» и т. п.).

И, наконец, 11 октября 1952 г. первое исполнение его «Седьмой» симфонии, произведения необычайного для Прокофьева, обнаружило глубокий и безысходный кризис композитора. Советская критика, как всегда, из боязни сказать правду, встретила 7-ю симфонию ничего не говорящими восторгами. Шостакович («Советское искусство», 12 XI. 52 г.) писал о ней, как о «большой творческой удаче композитора», ограничившись при этом сухим констатированием «жизнерадостности, лиричности и ясности мысли» автора. Но исполнение этой симфонии в США вызвало в музыкальных кругах всеобщее недоумение. Вирджил Томпсон («New York Herald Tribune», 22. VI. 53 г.) находит 7-ю симфонию произведением отнюдь «не прокофьевским», обнаруживающим полное отсутствие былой прокофьевской «жажды открытия новых земель», произведением, в котором творческая воля композитора подменена «техническим умением». Блестящий стилист, Прокофьев, конечно, предстал и в этой симфонии первоклассным мастером, симфония радуется своим «прекраснозвучием», но акт творческого мастерства заменен здесь инерцией «угодливого делания музы-

ки». Душа опустошена, или, во всяком случае, предпочла быть наглухо закрытой. Осталось уметь писать так, чтобы удовлетворить любые, предъявленные к нему, требования. И композитор, в угоду «массовым сентиментам» официальной советской эстетики, «предпочел» равнодушие и наивность былой экспрессионистической полноте свободного творчества.

Таков был путь одного из наиболее выдающихся композиторов современности, художника огромной творческой силы и поразительного своеобразия: путь от бунтарства, через внутреннюю самоуглубленность, к полному творческому равнодушию. Путь глубоко трагический в своем существе. Путь не только Прокофьева, но и всей русской подсоветской музыки, в силу тотального порабощения утратившей свою былую жажду свободы и неукротимость своих творческих исканий.

**А. Ольховский**

# НИКОЛАЙ II В СТАВКЕ<sup>1</sup>

## I.

Из всех соображений и побуждений, заставивших Государя принять должность Верховного, официально выдвигалось и подчеркивалось одно: поднять дух армии. Насколько же была достигнута эта цель? Как отнеслась армия к вступлению Государя в должность Верховного Главнокомандующего?

Состоя при Ставке, где концентрировались известия со всего фронта, ежемесячно выезжая на фронт, беспрестанно встречаясь с массой находящихся на фронте военных начальников, офицеров и священников, я имел возможность широко проверить, как отнеслась армия к смене Верховного и насколько принятие самим Государем главного командования отразилось на духе и настроении ее.

Нельзя оспаривать, что отношение и высшего командного состава и офицерства к Ставке летом 1915 года было определенно недоброжелательным. Ставку винили во многом, ее считали виновницей многих наших неудач и несчастий. Но эти обвинения падали, главным образом, на ген. Янушкевича и ген. Данилова, проносясь мимо Вел. Князя. Престиж последнего и после всех несчастий на фронте оставался непоколебимым. Если для офицерства Николай II был волею Божией Император, то Вел. Князь Николай Николаевич был волею Божией Главнокомандующий. Смена Верховного, которому верила и которого любила армия, не могла бы приветствоваться даже и в том случае, если бы его место заступил испытанный в военном деле вождь. Государь же в военном деле представлял, по меньшей мере, неизвестную величину: его военные дарования и знания доселе ни в чем и нигде не проявлялись, его общий духовный

---

<sup>1</sup> В кн. 32 «Нов. Жур.» мы поместили отрывок из воспоминаний протопресвитера Георгия Шавельского о вел. кн. Николае Николаевиче. Настоящий отрывок мы печатаем с некоторыми сокращениями. Печатаемые главы любезно предоставлены нам дочерью автора, М. Г. Новицкой, с согласия Чеховского Изд-ва, готовящего издание полного текста воспоминаний. *Ред.*

склад менее всего был подходящ для Верховного военачальника. Надежда, что Николай II вдруг станет Наполеоном, была равносильна ожиданию чуда. Все понимали, что Государь и после принятия на себя звания Верховного останется тем, чем он доселе был: Верховным Вождем армии, но не Верховным Главнокомандующим. А в таком случае ясно было, что место Верховного, после увольнения Вел. Князя Николая Николаевича, останется пустым и занимать его будут Начальники Штаба и разные ответственные и неответственные советники Государя.

Помимо этого, многие лучшие и наиболее серьезные начальники в армии, по чисто государственным соображениям, не приветствовали решение Государя, считая, что теперь, в случае новых неудач на фронте, нападки и обвинения будут падать на самого Государя, что может иметь роковые последствия и для него, и для государства. Конечно, встречались и такие «патриоты», которые, надрываясь, кричали, что решение Государя — акт величайшей мудрости. Но голос их звучал одиноко, не производя впечатления на массы.

Итак, я решаюсь утверждать, что отставка Вел. Князя была принята на фронте, по меньшей мере, с большим сожалением; вступление Государя в должность Верховного не вызвало в армии никакого духовного подъема. В распутинском лагере отставка Вел. Князя вызвала ликование. Но этот лагерь не представлял ни армии, ни России.

После отъезда Вел. Князя в Ставке ждали, что последуют перемены. Более всего опасались за меня. Моя близость к Вел. Князю и кн. Орлову была всем известна, как было известно и мое отрицательное отношение к Распутину. Я тоже не считал свое положение прочным и, хотя наружное отношение ко мне Государя в сравнении с прежним не изменилось, готов был ко всякого рода неожиданностям.

Однажды, зашедши к свитскому ген. Петрово-Соловово, я застал у него гр. А. Н. Граббе, командира царского конвоя, человека в то время бывшего очень близким к Государю. Завязалась беседа, во время которой я спросил Граббе: «скажите, граф, по совести, мы секрета не выдадим: многим ли из нас придется разделить участь Вел. Князя?» Граббе молчал, многозначительно улыбаясь. «Не хотите сказать?.. Тогда скажите другое: мне не надо складывать свои чемоданы?» «Нет, вам не надо... Будьте спокойны», — ответил граф. Между тем, в Ставке меня на каждом шагу спрашивали: «Как дела? Как относится к вам Государь? Не поставлена вам в минус ваша близость к Вел. Князю?»

Все наши опасения, однако, оказались напрасными. Никаких новых перемен в личном составе не производилось. В отношении меня, может быть, решающую роль сыграл ген. Алексеев, с которым я с давних пор был связан добрыми отношениями. Но это мое предположение. Возможно, что у Государя и не являлась мысль о смене меня или об удалении меня из Ставки.

С переездом Государя очень изменились и лицо Ставки, и строй ее жизни. Из Великокняжеской Ставка превратилась в Царскую. Явилось много новых людей, ибо Государь приехал с большой свитой. Свита Государя была в постоянном общении с ним. Лица Свиты присутствовали на Высочайших завтраках и обедах, утренних и вечерних чаях; сопровождали Государя в его ежедневных прогулках, участвовали в играх в кости и пр. Нельзя представить, чтобы при таком близком и постоянном общении с Государем, они не оказывали на него влияния. Естественно возникает вопрос: что же представляли собою эти люди? Насколько сильно и плодотворно было их влияние? Я отлично сознаю, как труден данный вопрос, касающийся не только внешнего поведения, но и внутреннего содержания этих людей, но всё же, как сумею, отвечу на него.

И в Барановичах, и тут, в Могилеве, всё ближе знакомясь со Свитой Государя, я не раз задавался вопросом: ужель в своем 180-миллионном народе не мог Государь найти для окружения себя десятков таких лиц, которые были бы не только его сотрапезниками, компаньонами на прогулках, партнерами в играх, но и советниками и помощниками в государственных делах? Теперь же его свиту составляли лица по душе добрые, почти все без исключения — благонамеренные, в большей или меньшей степени ему преданные, но у лучших из них недоставало мужества говорить правду и почти у всех — государственного опыта, знаний, мудрости, чтобы самим разбираться в происходящем и предостерегать Государя от неверных шагов.

Государь представлял собою своеобразный тип человеческой личности. Его характер был соткан из противоположностей. Рядом с каждым положительным качеством у него как-то уживалось и совершенно обратное — отрицательное. Так, он был мягкий, добрый и незлобивый, но все знали, что он никогда не забывает нанесенной ему обиды. Он быстро привязывался к людям, но так же быстро и отворачивался от них. В одних случаях он проявлял трогательную доверчивость и откровенность, в других — удивлял своею скрытностью, подозрительностью и осторожностью. Он безгранично любил Ро-

дину, умер бы за нее, если бы увидел в этом необходимость, и, в то же время, как будто, уж слишком дорожил своим покоем, своими привычками, своим здоровьем и для охранения всего этого, может быть, не замечая того, жертвовал интересами государства.

Государь чрезвычайно легко поддавался влияниям и фактически он всегда находился то под тем, то под другим влиянием, которому иногда отдавался почти безотчетно, под первым впечатлением. Каждый министр после своего назначения переживал «медовый месяц» близости к Государю и неограниченного влияния на него, и тогда он бывал всемогущ. Но проходило некоторое время, обаяние этого министра терялось, влияние на Государя переходило в руки другого, нового счастливица, и опять же на неопределенное время<sup>2</sup>.

Не решаюсь сказать, в связи с чем: — с признанием ли вреда для дела от вмешательства в него посторонних лиц, со стремлением ли оградить себя от лишних влияний, или с нежеланием брать на себя труд разбираться в разных мнениях и противоречиях, когда легче согласиться со «специалистом», каким для Государя являлся каждый министр в своем министерстве и начальник в своем ведомстве, но у Государя выработался особый прием: при разговоре с известным лицом выслушивать всё, не выходящее из круга полномочий и службы этого лица, и отстранять всё «лишнее», непосредственно не касающееся его ведомства. Вспоминаю один свой разговор за столом с лейбхирургом проф. С. П. Федоровым.

«Государь особый человек», — говорил мне Федоров: «он всегда полагается на «специалиста» и ему только верит. Вы хорошо знаете Валю Долгорукова. Какой же он гофмаршал? А у Государя он авторитет в своей области. Вот суп, что сейчас мы с вами едим, — дрянь! А похвалит его Долгоруков, и Госу-

---

<sup>2</sup> В начале марта 1916 г. я был у Главнокомандующего Северным фронтом, ген. Куропаткина. «Каково отношение Государя к ген. Алексееву?» — спросил меня Куропаткин. — «По моему мнению, не оставляет желать ничего лучшего. Ген. Алексей пользуется полным вниманием и доверием», — ответил я. «Передайте же Мих. Васильевичу, — сказал Куропаткин, — чтобы он использовал для дела это время. Пусть помнит, что это медовый месяц, когда Государь всё исполнит, что бы Алексей ни попросил. Но потом медовый месяц пройдет: Государь к нему привыкнет и охладет. Так было со мною, так бывало и с другими министрами. Тогда ему труднее будет добиваться нужного».

дарь будет его хвалить, как бы вы ни убеждали его в противном».

Необходимо отметить еще одну чрезвычайно характерную, объясняющую многое, черту в характере Государя, — это его оптимизм, соединенный с каким-то фаталистическим спокойствием и беззаботностью в отношении будущего, с почти безразличным и равнодушным переживанием худого настоящего, в котором за время его царствования не бывало недостатка. Кому приходилось бывать с докладами у Государя, тот знает, как он охотно выслушивал речь докладчика, пока она касалась светлых, обещавших успехи, сторон дела, и как сразу менялось настроение Государя, ослабевало его внимание, начинала проявляться нетерпеливость, а иногда просто обрывался доклад, как только докладчик касался отрицательных сторон, могущих повлечь печальные последствия. При этом Государь обычно высказывал сомнение: «может быть, дело обстоит совсем не столь печально» и всегда заканчивал уверенностью, что всё устроится, наладится и кончится благополучно.

Таково же было отношение Государя и к событиям. Радостные события Государь охотно переживал вместе с окружающими его, а печальные события, как будто, лишь на несколько минут огорчали его.

Летом 1915 года в начале многолюдного обеда у Вел. Князя, устроившего торжество по случаю пребывания Государя в Ставке, Государю подали телеграмму о смерти адмирала Эссена, († 4/17 мая 1915 г.), командовавшего Балтийским флотом. Потеря адмирала Н. О. фон-Эссена была величайшим несчастьем для государства. Государь не мог не знать этого. Эссен воссоздал Балтийский флот; во время войны он был душой и добрым гением этого флота. Другого Эссена во флоте не было. Государь прочитал телеграмму, сказал несколько теплых слов по адресу почившего<sup>3</sup> и... этим дело кончилось. Обед продолжался при отличном настроении Государя... Я сидел почти против него. Мне было обидно за Эссена, жутко за Государя... Свои несчастья, отречение, заточение, ссылку, Государь, по отзывам лиц, видевших его в те минуты, переживал спокойно, как будто бесчувственно, не то стойко веря в отличное будущее, не то философски игнорируя всё происходящее.

---

<sup>3</sup> Между прочим, обратился ко мне с вопросом: «Вы знали адмирала Эссена? Замечательный был человек». Я ответил: «Прекрасно знал, Ваше Величество. Это был удивительный, незаменимый человек».

В этой особенности государева характера было, несомненно, нечто патологическое, но с другой стороны, несомненно и то, что сложилась она не без сознательного и систематического упражнения. Государь однажды сказал Министру Иностранных Дел С. Д. Сазонову: «Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу»<sup>4</sup>. Значит, у Государя это был своего рода философский «modus vivendi»: воспринимать и переживать только приятное, что может утешать, радовать и укреплять тебя, и проходить мимо всего неприятного, что тебя озабочивает, расстраивает, огорчает, не задерживаясь на нем, как бы не замечая его. Кто хотел бы заботиться исключительно о сохранении своего здоровья и безмятежного покоя, для того такой характер не оставлял желать ничего лучшего; но в Государе, на плечах которого лежало величайшее бремя управления 180-миллионным народом в беспримерное по сложности время, подобное настроение являлось зловещим.

Характером Государя определялись отношения его к лицам Свиты, как и лиц Свиты к нему. Государь был с ними прост и общителен, всегда ласков и приветлив, изысканно предупредителен и любезен. Но выходило так, что Свита существовала для охраны, для развлечения и забавы Государя, а не для помощи ему в государственных делах. Государь по несколько часов в день проводил в беседе с лицами Свиты — за утренним, дневным и вечерним чаями, во время прогулок и т. п., но была особая область, которой лица Свиты не должны были в этих беседах касаться, — это область государственных дел.

«Вы думаете, — говорил мне (21.XI.1916 г.) граф Граббе, — что нас слушают, с нами советуются, — ничего подобного! Говори за чаем или во время прогулки о чем хочешь, тебя будут слушать; а заговори о серьезном, государственным, Государь тотчас отвернется, или посмотрит в окно да скажет: а завтра погода будет лучше, проедем на прогулке дальше, или что-либо подобное»...

«Вы думаете, что Государь когданибудь говорит с нами о военных действиях?» — спрашивал меня в октябре 1916 г. профессор Федоров. — «Ничего подобного. Таких вопросов он перед нами не касается».

Такой порядок имел, может быть, и хорошую сторону, ибо он устранял возможность вмешательства неответственных лиц в

---

<sup>4</sup> Это рассказывал мне Сазонов в июле 1916 г.

ответственные дела. Но он имел и дурные последствия, ибо лишал возможности приближенных к Государю лиц выступить там, где их помощь была необходима, где некому другому было раскрыть глаза Государю.

Конечно, все это не означает того, что Свита не оказывала никогда и никакого влияния на Государя. Была область придворной жизни, где лица Свиты были всемогущи, это — высочайшие приемы, приглашение на высочайшие завтраки и обеды, пожалование наград и других милостей. Действуя хитро, осторожно и настойчиво, они иногда оказывали решительное влияние и на большие назначения и увольнения. Могу с несомненностью утверждать, что увольнение военного министра ген. Поливанова и назначение на его место ген. Шуваева состоялись под влиянием Свиты и, особенно, адм. Нилова и проф. Федорова<sup>5</sup>, не симпатизировавших ген. Поливанову. Еще чаще достигал намеченной цели дворцовый комендант ген. Воейков. Но во всех случаях цель достигалась ловкими, искусными ходами, а не естественным положением дела. Вообще же область государственных дел для лиц Свиты Государем тщательно закрывалась. В эту область имели право вторгаться, кроме «специалистов», еще Императрица-супруга, Распутин и Вырубова, для влияния которых уже не существовало никаких преград и границ.

Не больше влияния имели на Государя и находившиеся в Ставке Великие Князья. Для меня и доселе остается непонятным несомненный факт, что Вел. Князья очень боялись Государя. Еще, пожалуй, смелее были младшие князья: Дмитрий Павлович, Игорь Константинович, но старшие, как Сергей Михайлович, Георгий Михайлович, не скрывали своего страха перед Царем. Внушался ли им с детства трепет перед Монархом, боялись ли они за смелое слово попасть в опалу, быть высланными из Ставки, или что-либо другое внушало им осторожность, но факт тот, что за спиной Государя они трактовали о многом и многим возмущались, а когда приходила пора высказаться открыто и действовать прямо, тогда они прятались за спины других, предоставляя им преимущество ломать свои шеи. Конечно, ярким исключением тут был Вел. Князь Николай Николаевич,

---

<sup>5</sup> Как и учреждение Министерства здравоохранения и назначение министром проф. Рейна, потом, вследствие протеста Госуд. Думы и Гос. Совета аннулированные, — состоялись под внушением и давлением проф. Федорова.

который всегда выступал смело, действовал прямо и всё брал на себя.

Из находившихся в Ставке Великих Князей бóльшей любовью и уважением Государя пользовался Вел. Князь Георгий Михайлович, старший по возрасту, наиболее русский по душе, прямой и добрый человек. Прежний любимец Государя, Вел. Князь Димитрий Павлович после ухода Вел. Князя Николая Николаевича отошел на второй план. Отношения между ним и Государем стали сухо формальными. С обострением распутинского вопроса выдвинулся Вел. Кн. Борис Владимирович, ставший близким к Царю и Царице. Особенное благоволение к Царя было заметно, хотя для меня и доселе непонятно, чем Вел. Князь заслужил Царскую любовь

## II.

Переехав в губернаторский дворец, Государь поместился во втором этаже, в предназначенных для него еще Вел. Князем двух небольших комнатах. Первая комната стала кабинетом Государя, вторая — спальней.

Государь вставал в 9-м часу утра; потом занимался туалетом и, по совершении утренней молитвы, выходил в столовую к чаю. Там уже ожидали его лица Свиты. В 11 ч. утра он шел в Штаб на доклад. В первый раз его туда сопровождали Министр Двора и Дворцовый Комендант. Повидимому, оба они собирались присутствовать при докладе. Но ген. Алексеев решительно воспротивился этому, и оба остались за дверьми. Ген. Алексеев будто бы перед самым носом Воейкова захлопнул дверь. Последний потом жаловался: «мне Алексеев чуть не прищемил нос». После этого гр. Фредерикс больше не сопровождал Государя, а ген. Воейков не пытался проникнуть в «святая святых» Ставки.

При первой, операционной части доклада присутствовал не только ген.-квартирмейстер, но и дежурный штаб-офицер ген. Штаба. По окончании этой части Государь оставался наедине с ген. Алексеевым, и тут они обсуждали и решали все вопросы, касавшиеся армии. А какие только вопросы не касались ее? Государь возвращался во дворец около 12½ ч., иногда за две-три минуты до завтрака.

Собственно говоря, этим часовым докладом и ограничивалась работа Государя как Верховного Главнокомандующего. Об участии его в черновой стратегической работе, конечно, не могло быть и речи. Она исполнялась Начальником Штаба с участием или без участия его помощников, а Государю подно-

сились готовые выводы и решения, которые он волен был принять или отвергнуть. Экстренных докладов Начальника Штаба почти не бывало. За всё время пребывания Государя в Ставке ген. Алексеев один или два раза являлся во дворец с экстренным докладом. Обычно же, все решительно экстренные распоряжения и приказания он отдавал самостоятельно, без предварительного разрешения Государя и лишь после докладывал о них. В этом отношении при Вел. Князе дело обстояло совсем иначе. Начальник Штаба являлся к нему по несколько раз в день, и ни одно серьезное распоряжение не делалось без великокняжеского указания или разрешения.

На Высочайших завтраках и обедах всегда присутствовало более 20 человек. Обязательно приглашались к Высочайшему столу: Великие Князья, Свита, иностранные военные агенты, ген. ад. Иванов и я. Ген. Алексеев просил Государя освободить его от обязательного присутствия за Царским столом, в виду недостатка времени, и разрешить ему лишь два раза в неделю являться к Высочайшему завтраку. Государь уважил просьбу старика, но просил его помнить, что его место за столом всегда будет свободно, и он может занимать его всякий раз, когда найдется возможным.

В 12½ ч. дня на завтраках и в 7½ на обедах, иногда с опозданием на 3-5 минут, раскрывались двери кабинета, и выходил Государь. Почти всегда он, выходя, правой рукой разглаживал усы, а левою расправлял сзади свою рубашку-гимнастерку. Начинался обход приглашенных. Государь каждому подавал руку, крепко пожимая ее<sup>6</sup>, и при этом как-то особенно ласково смотрел в глаза, а иногда обращался с несколькими словами. При каждом моем возвращении из поездки, он, например, здороваясь, спрашивал меня: «как съездили? Удачно? Потом доложите мне» и т. п. Лично неизвестные Государю, когда он подходил к ним, прежде всего рекомендовались: «имею счастье представиться Вашему Императорскому Величеству, такой-то», при чем называли свою фамилию, чин, должность. Только после этого Государь протягивал новичку руку.

Обойдя приглашенных, Государь направлялся в столовую и шел прямо к закусочному столу. За ним входили Вел. Князья и прочие приглашенные. Государь наливал себе и иногда старейшему из князей рюмку водки, выпивал ее, и, закусивши чем-нибудь, обращался к своим гостям: «не угодно ли заку-

---

<sup>6</sup> Государь обладал огромной физической силой. Когда он сжимал руку, я иногда чуть удерживался, чтобы не вскрикнуть от боли.

силь?» После этого все приближались к столу, уставленному разными холодными и горячими, рыбными и мясными закусками. Каждый брал себе на тарелку, что ему нравилось, — пьющие выпивали при этом водки, — и отходили в сторону, чтобы дать место другим.

Когда закусывавшие кончали свою «работу», Государь направлялся к большому, занимавшему середину столовой, столу и, осенив себя крестным знаменем, садился на свое место в центре стола, спиной к внутренней стенке и лицом к выходившим во двор окнам, из которых открывался красивый вид на Заднепровье. Против Государя, на другой стороне стола всегда сидел Министр Двора или, если его не было в Ставке, Гофмаршал; справа от Государя — ген. Алексеев, старший из Князей, если Алексеева не было, или министр; слева — Наследник, а когда его не было, второй по старшинству из приглашенных. По правую и левую руку Министра Двора садились французский и английский военные агенты. При распределении остальных соблюдался принцип старшинства, малейшее нарушение которого иногда вызывало огорчения и обиды. Я сам однажды слышал жалобу Князя Игоря Константиновича, что его посадили ниже, чем следовало.

В общем же, на той правой стороне, где сидел Государь, помещались лица, постоянно приглашавшиеся к столу, а на другой, против Государя, иностранцы и временные гости.

Завтрак, обыкновенно, состоял из трех блюд и кофе, обед — из четырех блюд (суп, рыба, мясо, сладкое), фруктов и кофе. За завтраками подавались мадера и красное крымское вино, за обедами — мадера, красное-французское и белое-удельное. Шампанское пили только в дни особых торжеств, причем подавалось исключительно русское «Абрау-Дюрсо». У прибора Государя всегда стояла особая бутылка какого-то старого вина, которого он, насколько помнится, никому, кроме Вел. Кн. Николая Николаевича, не предлагал. Если принять во внимание затрачивавшиеся суммы, то Царский стол оставлял желать много лучшего. Особенным безвкусием отличались супы. Более избалованных он не удовлетворял. Проф. Федоров был прав, когда он называл кн. Долгорукова «ни к чорту негодным гофмаршалом».

В конце завтрака, как и обеда, Государь обращался к гостям: «не угодно ли закурить?» И сам первый закуривал папиросу, вставив ее в трубку (или мундштук) в золотой оправе, которую всегда носил в боковом кармане гимнастерки.

Сидя за столом, Государь запросто беседовал с ближай-

шими своими соседями. Делились воспоминаниями, наблюдениями; реже затрагивались научные вопросы. Когда касались истории, археологии и литературы, Государь обнаруживал очень солидные познания в этих областях. Нельзя было назвать его профаном и в религиозной области. В истории церковной он был достаточно силен, как и в отношении разных установлений и обрядов церкви. Но во всем, — я сказал бы, — весьма серьезном образовании Государя проглядывала основная черта его душевного склада. Государь многое знал, как и многое понимал, но он, боясь ли утруднить себя, или страшись новизны, как будто уклонялся от решительных выводов и проведения их в жизнь, предоставляя делать это «специалистам». Возьмем к примеру церковную область. Государь легко разбирался в серьезных богословских вопросах и, в общем, верно оценивал современную церковную действительность, но принятия мер к исправлению ее ждал от «специалистов», — Обер-Прокурора Св. Синода и самого Св. Синода, которые в своих начинаниях и реформах всегда нашли бы полную его поддержку, если бы только не встретилось противодействия со стороны Императрицы или иной какой-либо, сильной влиянием на него стороны. То же бывало и в других областях.

В тесном кругу, за столом, Государь был чрезвычайно милым и интересным собеседником, а его непринужденность и простота могли очаровать кого угодно. С ним можно было говорить решительно обо всем, говорить просто, не подбирая фраз, не считаясь с этикетом. Чем прямее, проще, сердечнее, подходишь к нему, тем проще и он относится к тебе. Однажды, по возвращении моем из Петрограда, Государь за столом спрашивал меня: «хорошо съездили в Петроград?». — «Совсем измучился, — отвечаю я, — разные посетители и просители так извели меня, что я, наконец, захватив чемодан, удрал к брату и уже на другой день от него выехал на вокзал». — «Понимаю это»... сказал Государь, — «со мной не лучше бывает, когда приезжаю в Царское Село. Но мне убежать некуда»...

— «Я, Ваше Величество, не считаю свое положение завидным, но с Вами ни за что не поменялся бы местами», — выпалил я. Государь посмотрел на меня с удивлением, а потом с грустью сказал: «Как вы хорошо понимаете мое положение!».

Иногда Государь трогал своим вниманием и сердечностью. Когда в июне 1916 года умер мой родственник, сельский священник, и я обратился к Государю с просьбой разрешить мне поездку на похороны, он с самым сердечным участием начал расспрашивать о покойном, об его семье, его службе и пр.

После кофе Государь вставал из-за стола, осеняя себя крестным знамением, и направлялся в зал. Если он проходил мимо меня, я молчаливым поклоном благодарил его за хлеб-соль. Это же делали и многие другие. Государь приветливым движением головы отвечал на благодарность. Вслед за Государем направлялись и все трапезовавшие. Не переставая курить, Государь обходил гостей, беседуя то с одним, то с другим. Если тут были «новые», т. е. приезжие, то им уделялось особое внимание. Они преимущественно устаивались царской беседы<sup>7</sup>.

Беседа Государя не могла удовлетворить того, кто ожидал увидеть в ней величие и мудрость Монарха, но зато она не тронула собеседника своей простотой и сердечностью. Государь не касался в беседе ни отвлеченных, ни даже государственных вопросов, — всё свое внимание он сосредоточивал на личности того, с кем он говорил, выказывая живой интерес к его службе, к его здоровью, к его семейному и даже материальному положению и т. п. Постороннего же наблюдателя не могли не удивить то спокойствие и добродушие, то долготерпение с которым Государь выслушивал неудачные ответы, нелепые просьбы, бестактную болтовню некоторых собеседников.

После завтрака Государь принимал с докладом Министра Двора, а иногда и других министров, когда те приезжали в Ставку, а затем, около 3-х часов дня отправлялся на прогулку. Тут его сопровождали: ген. Воейков, кн. Долгоруков, гр. Граббе, проф. Федоров, Нарышкин и дежурный флигель-адъютант. Обыкновенно, выезжали на автомобилях за город, а потом пешком делали чуть ли не до 10 верст. Государь обладал удивительным здоровьем, огромной физической выносливостью, закаленностью и силой. Он любил много и быстро ходить. Лица Свиты с большим трудом поспевали за ним, а старшие были не в силах сопровождать его. Государь не боялся простуды и никогда не кутался в теплую одежду. Я несколько раз видел его зимою при большой стуже прогуливающимся в одной рубашке, спокойно выстаивавшим с открытой головой молебствие на морозе и т. п.

Летом иногда прогулки совершались по Днепру в лодках. Тогда адм. Нилов вступал в исполнение своих обязанностей,

---

<sup>7</sup> Во время разговора с гостем, Государь часто почесывал левую руку около плеча, или ногу и очень любил поддакивать, когда разговор был угоден ему: «ну, конечно!», или: «именно так, ну, само собою понятно!»

садясь у руля лодки с Государем, а последний бесменно сам работал веслами. Лица Свиты сидели в другой лодке, где гребли матросы. И хотя лодка Государя шла по середине реки и он один в ней работал веслами, а свитская лодка больше держалась берега, первая — никогда не отставала. И так пробирались верст семь вверх по Днепру.

От 5 до 6 часов вечера шел чай, после которого до обеда Государь принимал доклады министров, писал письма. В 7½ час. вечера начинался обед; после него часов до 9-ти вечера — беседа с обедавшими гостями. А затем Государь снова занимался делами. В 10 часов вечера еще раз подавался чай, после которого, если не было спешных дел, происходили игры. По окончании обеда я слышал несколько раз, как Государь мимоходом говорил графу Граббе: «сегодня не будем играть в кости».

Мне не раз задавали и продолжают задавать вопросы: верно ли, что Государь ежедневно предавался в Ставке неумеренному потреблению алкоголя? Верно ли, что Воейков и Нилов спаивали его?

Со дня вступления Государя в должность Верховного и до самого его отречения я состоял в Ставке и в течение этого времени всегда завтракал и обедал за одним столом с Государем. Не знаю, почему, но я всегда с чрезвычайным вниманием изучал Государя. И я так изучил Государя, что прошло уже много лет, как я с ним расстался, но я и сейчас, как наяву, различаю каждую морщинку на его лице, вижу его прямой затылок, загорелую шею, его открытые приветливые глаза, слышу интонацию его голоса, чувствую крепкое пожатие руки. Меня интересовало каждое слово, каждый жест, каждое движение Государя. Не могло ускользнуть от меня и его отношение к напиткам. Государь за завтраками и обедами выпивал одну-две рюмки водки, один-два стакана вина. Я не только никогда не видел Государя подвыпившим, но никогда не видел его и сколько-нибудь выведенным алкоголем из самого нормального состояния. Нелепая и злая легенда о пьянстве Государя выдает самое себя, когда одним из лиц, «спаивавших» его считают ген. Воейкова. Ген. Воейков совершенно не пил ни водки, ни вина, демонстративно заменяя их за Высочайшим столом своей кувакой. А в бытность свою командиром Лейб-Гв. Гусарского Его Величества полка он прославился, как рьяный насадитель трезвости в полку. Как же мог он спаивать Государя?

Во все праздничные и воскресные дни и накануне их Государь посещал Штабную церковь. Пропуски в этом отношении

были чрезвычайно редки и всегда вызывались какими-либо особыми причинами.

«Как-то тяжело бывает на душе, когда не сходишь в праздник в церковь», — не раз слышал я от Государя.

Должен заметить, что богослужбное дело в Ставке в это время было поставлено исключительно хорошо. В отношении церковного пения Государь отличался большим консерватизмом. Любимым его пением было простое. Из композиторов он признавал Бортнянского, Турчанинова, Львова, к которым с детства привыкло его ухо. Произведения новых композиторов можно было исполнять при нем с большой опаской, рискуя получить замечание, а то и резкое выражение неудовольствия. Придворные певчие рассказывали, что бывали и такие случаи. Чтобы избежать лишних неприятностей, я приказал регентам в присутствии Императора исполнять только те номера, которые уже пелись в его придворной церкви, и кроме того, перед каждой службой я сам просматривал представлявшийся мне список предположенных к исполнению нотных песнопений. После одной из литургий Государь спрашивает меня: «какую это херувимскую сегодня пели? Я никогда ее не слышал». — «Регент Носков сказал мне, что она несколько раз исполнялась капеллою в Вашей церкви», — отвечаю я. — «Ничего подобного! А чья это херувимская?», — продолжает Государь. «Носкова», — докладываю я. «Ну, теперь понятно! Чтобы провести свое творение, он неверно доложил вам», — добродушно сказал Государь.

В церкви для Государя и его семьи было приготовлено особое место на левом клиросе. Клирос был устлан ковром, вся стена перед клиросом была убрана разными иконами с лампадками перед ними. Совершенно закрытый от публики клирос представлял красивый и уютный уголок, располагающий к сосредоточению мыслей о Боге, к молитве и душевному покою.

Государь выслушивал богослужение всегда со вниманием, стоя прямо, не облачиваясь и никогда не приседая на стул. Очень часто осенял себя крестным знаменем, а во время пения «Тебе поем» и «Отче наш» на литургии, «Слава в вышних Богу» на всенощной становился на колени, иногда кладя истовые земные поклоны. Всё это делалось просто, скромно, со смирением. Вообще, о религиозности Государя надо сказать, что она была искренней и прочной. Государь принадлежал к числу тех счастливых натур, которые веруют, не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без сомнений. Религия давала ему то, чего он более всего искал, — успокоение. И он

дорожил этим и пользовался религией как чудодейственным бальзамом, который подкрепляет душу в трудные минуты и всегда будит в ней светлые надежды.

После первой же поездки из Ставки в Царское Село в конце сентября, Государь вернулся в Могилев с Наследником. Наследника сопровождали его воспитатели: тайный советник П. В. Петров, француз Жильяр, англичанин мистер Гиббс и дядька-матрос Деревенько. Первые три были и учителями Наследника. Алексей Николаевич с этого времени стал членом нашей штабной семьи.

В Ставке Наследник поместился во дворце с отцом. Спальня у них была общая — небольшая комната, совершенно простая, без всяких признаков царской обстановки. Занимался же Алексей Николаевич в маленькой комнате-фонаре, во втором этаже, против парадной лестницы, рядом с залом. Завтракал Алексей Николаевич всегда за общим столом, сидя по левую руку Государя. По левую руку Наследника по большей части сажали меня. Обедал же он всегда со своими воспитателями. При хорошей погоде он участвовал в прогулке и обязательно сопровождал Государя в церковь на богослужения.

Как, вероятно, всем известно, Наследник страдал «гемофилией», часто обострявшейся и всегда грозившей ему роковой развязкой. От одного из приступов этой болезни остался след: мальчик прихрамывал на одну ногу. Болезнь сильно влияла и на воспитание, и на образование Алексея Николаевича. Как болезненному, ему разрешалось и прощалось многое, что не сошло бы здоровому. Во избежание переутомления мальчика, учение вели очень осторожно, с очевидным ущербом для учебной цели. Следствием первого была часто переходившая границы дозволенного шаловливость; следствием второго — отсталость в науках. Последняя особенно была заметна. Осенью 1916 года Алексею Николаевичу шел 13 год, — возраст гимназиста, кадета 3 класса, — а он, например, еще не знал простых дробей. Отсталость в учении, впрочем, могла зависеть и от подбора учителей. Старик Петров и два иностранца преподавали ему все науки кроме арифметики, которой учил его ген. Воейков... «Что за чушь! Ген. Воейков преподает Наследнику арифметику! Какой же он педагог? Когда и кому он преподавал что-либо? Он занимался лошадьми, солдатами, кувакой, а не науками», — обратился я однажды к проф. Федорову. «Вот, подите-же! Эти господа (он указал на гофмаршала) убедили Государя, что так дешевле будет... Отдельный преподаватель дорог», — ответил проф. Федоров. Я чуть не упал от

ужаса. При выборе воспитателей и учителей для Наследника Российского престола руководятся дешевизной и берут того, кто дешевле стоит. Тем не менее, Воейков до самой революции продолжал преподавать Наследнику арифметику.

В воспитательном отношении главную роль, кажется, играл дядька-матрос Деревенко, может быть, очень хороший солдат, но для Наследника, конечно, слишком слабый воспитатель. Отсутствие сильного, опытного, соответствующего задаче воспитателя заметно сказывалось.

А между тем Господь наделил несчастного мальчика прекрасными природными качествами: сильным и быстрым умом, находчивостью, добрым и сострадательным сердцем, очаровательной у царей простотой; красоте телесной соответствовала и духовная.

Когда приезжала в Ставку Государыня с дочерьми, жизнь дворца изменялась. Тогда на завтраках присутствовала вся царская семья. Первой из кабинета выходила Царица, всегда стройная, красивая, величественная, но всегда с каким-то скорбным лицом. Когда она улыбалась, то и улыбка у нее была скорбная. Рядом с нею Царь казался маленьким, не царственным. После завтрака Царь обходил гостей. А Царица, усевшись около окна, подзывала к себе через одну из дочерей, Ольгу или Татьяну, того или другого из завтракавших и вела с ними разговор. К обедам никто не приглашался. Царь обедал только с своей семьей. Жила Царица с дочерьми в своем поезде.

Накануне праздников и в самые праздники вся царская семья обязательно являлась в штабную церковь и размещалась на левом клиросе. Больная ногами Императрица во время богослужения больше сидела.

Много ходило, как и продолжает ходить, сплетен, будто супружеская жизнь у Царя и Царицы сложилась и протекала нескладно и неладно. Кто близко видел их вместе, присматривался к их отношениям друг к другу и к детям, кто хоть сколько-нибудь изучил их характеры и взгляды, тот знал, что эта чета отличалась редкой в наши дни любовью и супружеской верностью. Это была патриархальная семья, усвоившая отношения, традиции и порядки благочестивых русских семей.

**Протопресвитер Г. Шавельский**

## ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ

Приступая к рассказу о февральских днях 17-го года, я ни в малейшей степени не претендую на роль историка — я хочу лишь свидетельствовать о них, как их очевидец и участник. Роль простого рассказчика и очевидца, конечно, налагает на изложение событий известный субъективизм, но этот субъективизм, я в этом уверен, неизбежен для всего поколения, эти события пережившего. События эти до сих пор еще не остыли, в живых сохранились еще их участники, некоторые из них продолжают принимать участие в политической жизни — возможно ли при таких условиях избежать субъективизма в оценке происшедшего? Еще и сейчас, может быть, писать историю февральской революции рано и во всяком случае это должны делать не мы — ее должны будут написать (и ее напишут) последующие поколения. Мы же, ее свидетели и участники, можем только *рассказывать* о ней. И дело тут не только в субъективизме, но и в ответственности за происшедшее, что много важнее и серьезнее.

Ответственность за события принято возлагать на политические партии, игравшие в этих событиях роль, и на отдельных деятелей революции — среди них ищут правых и особенно виноватых. Такая точка зрения мне кажется непростительно близорукой, она свидетельствует о плоской политической обывательщине тех, кто так судит. *За февральскую революцию 1917 года ответственны все ее современники, все наше поколение.* И пусть никто напрасно не старается уберечь себя от этой ответственности — нет, ответственны за нее *все* современники, и активные, и пассивные, не только те, чьи имена в те дни были у всех на устах и мелькали на страницах газет того времени, ответственна и безвестная масса, каждый обыватель, как бы ни старался он тогда укрыться от событий. Весь спор может быть лишь о большей или меньшей ответственности. Если мы согласимся на этом и примем на себя ответственность за события последних лет России, если признаем в них внутреннюю логику неизбежного исторического процесса, нам легче будет понять смысл происшедшего.

## О С Е Н Ь 1916 Г О Д А

Осенью 1916 года я был призван в Москве на военную службу в качестве ратника ополчения второго разряда (в ноябре того года мне исполнилось 36 лет). Но долго отбывать военную службу мне не пришлось.

Медицинская комиссия признала меня неблагополучным по зрению и отправила на особое испытание, где меня и вовсе признали «негодным» к несению военной службы. И к единодушной зависти всех окружающих я был совершенно освобожден от военной службы — после двух месяцев, проведенных в запасном полку в Моршанске Тамбовской губернии.

Освободился я от военной службы в самых последних числах декабря 1916 года и уже в первой половине января следующего года получил от знакомых мне издателей «Северных Записок» в Петербурге — Якова Львовича Саккера и Софьи Исааковны Чацкиной — предложение занять в редакции место секретаря редакции. «Северные Записки» мне были хорошо знакомы — это был толстый ежемесячный журнал народнического направления (в числе его сотрудников были Н. Д. Авксентьев, В. Н. Воронов, М. В. Вишняк, А. Ф. Керенский, Н. Я. Быховский, Б. Н. Черненков, В. М. Чернов); три статьи поместил в нем и я в 1916 году. Я с удовольствием принял сделанное мне предложение, в половине января переселился из Москвы в Петербург и немедленно с головой окунулся в литературно-общественную жизнь того времени. И литературные и политические знакомства у меня были обширные, очень скоро я оказался в курсе всех событий, рассказов и начинаний. Атмосфера и обстановка были тогда какие-то неуловимо тревожные. В Москве на многолюдной встрече в частном доме Нового Года (100-120 человек) один из присутствующих начал свою речь словами: «Надеюсь, что в наступающем новом году смогу обратиться к вам не со словами «милостивые государи» или «господа», а со словами «граждане!» В этих его словах звучала не только надежда — в них было и обещание. Так это и было понято тогда — присутствующие встретили его слова горячими аплодисментами, в них таились надежды, обещания, вера в грядущее освобождение... Оратором был революционно-настроенный молодой помощник присяжного поверенного. Я и в Петербурге очень скоро почувствовал, как что-то там внизу бурлило и клокотало, порой легкими всплесками показывалось на поверхности, но видимая политическая жизнь тянулась уныло. Не помню, чтобы кто-нибудь говорил о близости и возможности больших событий. Но чего-то все ждали...

За последние два года я близко познакомился с А. Ф. Керенским. Вернувшись поздней осенью 1914 года из далекой сибирской ссылки, в которой пробыл четыре года, я жил с родителями до начала января 1915 года в Пятигорске, затем переехал на жительство в свою родную Москву. А. Ф. Керенского я хорошо, конечно, знал по его выступлениям в Государственной Думе, а в один из своих приездов в Петербург познакомился с ним лично. Он, вероятно, тоже слышал обо мне от наших общих знакомых. При его очень частых в 1915 и 1916 гг. разъездах по России он каждый раз при проезде через Москву виделся со мной, бывал у нас в семье и я всегда с его слов знал последние политические новости. Мы вместе пытались несколько раз восстановить в Петербурге эсеровские партийные организации (он считал себя членом партии), я присутствовал на заседаниях думской трудовой группы, был на съезде-совещании нескольких народнических групп, который мы с ним вместе устраивали. И теперь, встречаясь постоянно с А. Ф. Керенским в Петербурге, я хорошо был осведомлен о том, что происходило в правительственных, думских и общественных кругах.

### ПЕТЕРБУРГ. ЯНВАРЬ 1917 г.

В январе 1917 г. всё в Петербурге было смутно и вместе с тем тревожно. Организованной общественности не было, партийных группировок совсем не чувствовалось. Что касается в частности эсеровских кругов в Петербурге, то здесь партийная эсеровская организация была разбита — кое где на окраинах работали лишь одиночки, распространяли в разноречивой самодельные прокламации. Той борьбы между «пораженцами» и «оборонцами», которая в это время шла за-границей (в частности и в эсеровских кругах — на одной стороне были В. М. Чернов, М. А. Натансон, Н. И. Ракитников, В. В. Лункевич, на другой — Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков-Фондаминский, Б. Н. Воронов), ни в Петербурге, ни в Москве не было, она была для нас даже мало понятна. Помню, какое удивление вызвала в нас готовность некоторых эсеров-оборонцев принять участие в создававшейся тогда в Петрограде большой ежедневной газете «Русская Воля» (одним из ее создателей был А. Д. Протопопов, сделавшийся затем министром внутренних дел!). Ко мне еще в Москве с предложением принять участие в этой газете приезжал в конце лета 1916 г. профессор петроградского университета С. А. Адрианов, имевший репутацию радикала, и сообщал, что уже заручился в Париже согласием Н. Д. Авксентье-

ева и других моих политических друзей за границей — и этим очень меня напугал. Я понял, как оторваны были наши заграничные друзья от существовавших в России настроений. Сейчас же после свидания с Адриановым я пошел на телеграф и отправил Н. Д. Авксентьеву в Париж телеграмму, в которой решительно предостерегал его и его друзей от возможной с их стороны грубой политической ошибки — их готовность принять участие в «Русской Воле» я мог объяснить себе лишь их плохой осведомленностью о том, что должна была представлять из себя эта газета; кроме Протопопова, уже тогда скомпрометированного в глазах левой общественности, в числе инициаторов «Русской Воли» называли еще А. Амфитеатрова, Леонида Андреева, Гредескула, Аничкова и Сыромятникова (Сигму). Моя телеграмма, а потом и дополнительное, отправленное ей в догонку письмо, сделали свое дело — никто из эсеров в «Русскую Волю», к счастью, не пошел. Должен сказать, что редкие номера заграничных русских журналов — как «пораженческие», так и «оборонческие» — вызывали в нас большое недоумение: по ним мы чувствовали всю степень оторванности эмиграции от русской действительности. «Циммервальдисты», как мы их понимали, и «пораженцы» вызывали во всех нас единоедушное отталкивание, но помню, что и «оборонческий» «Призыв», который тогда в Париже совместно издавали Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков, Б. Н. Воронов и Г. В. Плеханов с его призывами против «стачек во время войны» и к «гражданскому миру» во внутренней русской политике, вызывал в нас полное недоумение: непримиримая борьба с правительством казалась нам одной из очередных и бесспорных задач — наряду с призывами к обороне родины и даже во имя этой обороны. Передаю эти настроения наши, не вдаваясь сейчас в оценку правильности такой тактики. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в близких мне по настроению общественных кругах «пораженчество» вызывало тогда единодушный отпор.

Некоторым событием в эсеровских кругах Петрограда был тогда приезд из заграницы некого «Петра Александровича» (нелегального эсера), которого называли «эмиссаром Чернова» (и он сам себя так называл). В. М. Чернов издавал тогда за границей пораженческие (циммервальдистские) журналы. Александрович тоже называл себя циммервальдистом и очень решительно высказывался за пораженчество. Но человек он был мало примечательный (можно даже сказать — незначительный) и мало симпатичный, большого значения ему никто не придавал. Все иронически называли его «черновиком» и серь-

езно, кажется, к нему никто из петербургских эсеров не относился. Несколько раз он заходил к А. Ф. Керенскому, но сочувствия у него не встретил. Забегая несколько вперед, скажу, что это был тот самый «Александрович» (настоящая его фамилия была Дмитриевский), который в первые и последующие дни революции занимал ультра «левые» позиции, после раскола партии с. р. (к осени 1917 г.) играл видную роль в рядах «левых эсеров», был помощником Дзержинского с момента создания Чeka в декабре 1917 года и, наконец, в июле 1918 года был большевиками расстрелян в Москве после убийства графа Мирбаха левыми эсерами и их московского восстания.

Была, как я уже сказал, в то время в обстановке и общественной атмосфере тревога, но вместе с тем ощущалась и безвыходность. В декабре был убит Распутин, как раз в это время, как позднее выяснилось, зрел антидинастический заговор ген. Крымова. Но у общественности воли к действию не было — активность проявлялась лишь в сенсационных рассказах о придворных и правительственных кругах; эти рассказы рисовали безотрадную картину какого-то полного распада государственности — но не чувствовалось, чтобы что-либо формировалось в общественных кругах. Помню, что под впечатлением всех этих неуловимых ощущений я написал для очередной книжки «Северных Записок», которая должна была выйти в конце февраля, статью — нечто вроде внутреннего обозрения, которую так и назвал «Распад». Статье этой не суждено было появиться, хотя редакцией (Саккером и Чацкиной) она была принята и даже набрана — к тому времени, когда книжка журнала должна была выйти, «распад» неожиданно для всех превратился в революцию...

Жизнь шла. Каждый день со своими маленькими невзгодами и заботами. Тяжелые вести с фронта, беспорядки в тылу, неурядицы в самом Петербурге. Слухи о тревожных настроениях на заводах, о перебоях в продовольственных делах... Всё это стало уже обычным... Общественность бурлила, но всё это происходило, как будто, только на поверхности и не находило себе выхода.

## 10 И 14 ФЕВРАЛЯ

14-го февраля должна была после прерванной сессии снова открыться Государственная Дума. Многие смутно надеялись, что это может развязать события. Петербургские меньшевики и рабочая группа при Центральном Военно-Промышленном Ко-

митете призывали рабочих к открытию Государственной Думы явиться к Таврическому Дворцу. 24-го января Рабочая Группа выпустила воззвание весьма решительного характера. «Рабочему классу и демократии, — говорилось в этом воззвании, — нельзя больше ждать. Каждый пропущенный день опасен. Решительное устранение самодержавного режима и полная демократизация страны являются теперь задачей, требующей неотложного разрешения, вопросом существования рабочего класса и демократии... К моменту открытия Думы мы должны быть готовы на общее организованное выступление. Пусть весь рабочий Петроград к открытию Думы, завод за заводом, район за районом, дружно двинется к Таврическому дворцу, чтобы там заявить основные требования рабочего класса и демократии. Вся страна и армия должны услышать голос рабочего класса: только учреждение Временного Правительства, опирающегося на организующийся в борьбе народ, способно вывести страну из тупика и губельной разрухи, укрепить в ней политическую свободу и привести к миру на приемлемых как для российского пролетариата, так и для пролетариата других стран, условиях».

26-го февраля Рабочая Группа в полном составе была арестована.

Враждовавшие с меньшевиками и в особенности с оборонческой Рабочей Группой большевики, называвшие Рабочую Группу не иначе, как «социал-предатели», в противовес им призывали устроить рабочую демонстрацию 10-го февраля, в день годовщины суда над социал-демократической (большевистской) фракцией Государственной Думы. Сами большевики, как к Государственной Думе, так и к Рабочей Группе Военно-Промышленного Комитета, относились крайне отрицательно и даже с презрением и своим призывом устроить демонстрацию 10-го февраля (а не 14-го) хотели убить нескольких зайцев сразу: продемонстрировать и против правительства и против Государственной Думы, попутно, кроме того, и против меньшевиков, доказав на деле свою силу и влияние среди петроградских рабочих. Фактически же большевистские организации были тогда в Петрограде не сильнее меньшевистских и эти две намеченные на 10-ое и на 14-ое февраля рабочие демонстрации были как бы соревнованием — каждая организация должна была доказать свое превосходство. Для большевиков демонстрация 10-го февраля была революционным выступлением, которое они хотели противопоставить «хождению к Думе 14-го февраля оборонческих групп». От имени Петербургского Междурайонного Комитета РСДРП (большевистская организа-

ция, руководимая Бюро ЦК РСДРП в составе Шляпникова, В. Молотова и П. Залуцкого) большевики выпустили помеченную февралем прокламацию: «Петербургский Междурайонный Комитет призывает вас 14 февраля к стачке и демонстрациям перед Государственной Думой, а одновременно (?) протестовать против суда над социал-демократическими депутатами, показать всему миру свою солидарность с томящимися в Сибири рабочими представителями, зовет вас организовать митинги протеста, сборы в фонд нелегальной печати и в пользу депутатов»... Эти прокламации характерны для обеих организаций. Воззвание Рабочей Группы, несомненно, указывает на большее понимание политического положения (оно выдвинуло программу, действительно вскоре осуществленную), тогда как большевики не шли дальше обычного революционного всплеска и ограничились митингами протеста и сборами в фонд нелегальной печати и в пользу самих депутатов...

С этими выступлениями меньшевиков и большевиков связано появившееся 10 февраля в «Речи» письмо в редакцию П. Н. Милюкова. В этом письме П. Н. Милюков писал: «Неизвестное мне лицо, называющее себя членом Государственной Думы Милюковым, вело в последние дни агитацию на фабриках, убеждая рабочих выступить в день возобновления сессии Государственной Думы, 14 февраля, на улицах Петрограда с требованием более решительного образа действий от Государственной Думы и с протестом против войны... Спешу предупредить лиц, поверивших подобным заявлениям, что они сделались жертвой самого грубого обмана... Я обращаюсь с убедительной просьбой ко всем, услышавшим эти советы и увещания, не принимать участия в демонстрациях 14 февраля и оставаться в этот день спокойными».

Это письмо в редакцию П. Н. Милюкова вызвало в левых общественных кругах недоумение и недовольство, так как накануне, т. е. 9-го февраля, было опубликовано обращение командующего Петроградским военным округом ген. Хабалова к рабочим не поддаваться призывам к забастовке в день открытия Государственной Думы. Бестактность выступления одного из лидеров думской оппозиции сейчас же вслед за обращением командующего военным округом не могла не броситься в глаза.

Петербургская общественность серьезно отнеслась к призывам революционных организаций и к этим предупреждениям — все с волнением ожидали и 10-ое февраля и 14-ое. На Литейном проспекте, в редакции какого-то журнала или издательства, было даже организовано некоторого рода обществен-

ное дежурство из представителей нескольких общественных группировок. Я тоже был в числе «дежурных» — среди остальных помню неизменного организатора и участника общественных выступлений и предприятий того времени, Н. Д. Соколова, помню В. И. Чарнолуцкого, Б. О. Флеккеля, кажется, С. Ф. Знаменского... Идея была такова: наготове должен быть некий штаб связанный телефоном со своими осведомителями, которые должны ему сообщать, что делается на улицах. И в зависимости от того, как развернутся события, должны быть приняты те или иные решения, предприняты те или другие выступления. По телефону должны были звонить из Государственной Думы (конечно, то был А. Ф. Керенский) и из других пунктов, где могли состояться демонстрации... Мы добросовестно дежурили и 10-го февраля и 14-го, но ничего серьезного в эти дни не произошло... Оба выступления были малоуспешны — во всем городе 10-го февраля отозвались в лучшем случае (по преувеличенным, вероятно, подсчетам большевиков) лишь несколько десятков тысяч рабочих — не было ни всеобщей забастовки, ни серьезной демонстрации, а 14-го февраля произошла лишь небольшая манифестация на Литейном, да возле самого Таврического дворца собралась кучка в несколько сот человек, которая потом растаяла. И это всё. Это свидетельствовало о том, что массовых организаций ни у большевиков, ни у меньшевиков тогда не было, влияние тех и других было слабое. Не лучше обстояло дело и у третьей социалистической организации — у социалистов-революционеров. У призывавших к выступлению была, несомненно, тогда и внутренняя неуверенность. Они призывали к демонстрации, но не верили в возможность революции. Близкие большевикам так называемые «междурайонцы», позднее и организационно слившиеся с большевиками (их представителем был И. Юрнев), в особом листке, выпущенном 14-го февраля, откровенно «признавали нецелесообразным общее революционное выступление пролетариата в момент неизжитого внутреннего кризиса социалистических партий и в момент, когда не было основания рассчитывать на активную поддержку армии».

## 18 ФЕВРАЛЯ

18-го февраля рабочие лафетно-штамповочной мастерской Путиловского завода предъявили администрации требование об увеличении заработка на 50%. Директор ответил решительным отказом, и рабочие, не покидая мастерской, прекратили работы. Состоялись митинги по всем мастерским. Через день после это-

го, желая избавиться от «нежелательных элементов», учитывая, сверх того, недостаток угля, администрация рассчитала рабочих и мастерскую закрыла. Этот небольшой по существу эпизод, на который в другое время, быть может, и не обратили бы особого внимания, в сгущенной атмосфере того времени и при накопившемся в воздухе электричестве, сыграл роль спички, поднесенной к бочке с порохом. Вслед за лафетной прекратили работы на Путиловском заводе и некоторые другие мастерские. Вечером по всему заводу состоялись собрания, на которых обсуждалось создавшееся положение. Тогда 22-го февраля на всем Путиловском заводе был объявлен локаут (на заводе тогда работало около 50.000 человек). Рабочие решили обратиться за поддержкой к петербургскому пролетариату — был избран стачечный комитет.

С этими событиями совпали и продовольственные затруднения в городе. Еще 19-го февраля возле продовольственных лавок в течение всего дня скопьялись толпы с требованием выдачи хлеба — с этими выдачами уже были затруднения. Слухи о продовольственных затруднениях поползли по всему городу. 21-го с волнением передавали из уст в уста, что на Петербургской стороне жены рабочих разгромили несколько булочных и молочных. Сомневаюсь, однако, чтобы тогда даже те, кто рассказывал об этом с преувеличенным волнением, придавали событию сколько-нибудь серьезное значение. Недостаток в продовольствии несомненно был (иллюстрация — разгром булочных), но было это пустяком — особенно по сравнению с тем, что Петрограду (а позднее — Ленинграду!) в отношении продовольствия пришлось пережить много раз позднее...

Но эти события на Путиловском заводе и обнаружившиеся продовольственные затруднения, испытанные в первую очередь рабочим населением, были, несомненно, исходным началом разразившихся затем событий, покотившихся как снежный ком...

Здесь я должен отметить один очень важный эпизод, свидетелем которого был и который до сих пор нигде в литературе и воспоминаниях о февральских днях не был указан.

## 22 Ф Е В Р А Л Я

Это было всего вернее — 22 февраля. Я сидел днем, по обыкновению, в редакции «Северных Записок» (Загородный проспект, 21, у Пяти Углов) и был занят очередной работой — правил гранки ближайшей книжки журнала, которая должна была выйти в конце месяца. Вошло несколько человек рабочих — пять-шесть человек — и сказали, что хотели бы видеть А. Ф.

Керенского (он был сотрудником «Северных Записок»). Узнав, что я был секретарем редакции, они объяснили, что являются делегацией путиловских рабочих и что одновременно другая такая же делегация направилась к «депутату Чхеидзе» (они отчетливо подчеркивали депутатское звание Керенского и Чхеидзе). К «депутату Керенскому» у них важное поручение, но в чем оно состояло, они мне не сказали. Я тут же при них созвонился с А. Ф. Керенским (к счастью, удалось застать его дома — тел. 119-60) и он выразил согласие встретиться с ними сегодня же, в редакции, в 7 часов вечера и попросил меня при этом свидании присутствовать. О согласии Керенского я и сообщил рабочим, чему, видимо, они были очень рады. Нужно сказать, что к этому времени А. Ф. Керенский, благодаря своим выступлениям в Государственной Думе и в качестве защитника на политических процессах, пользовался огромной популярностью — и не только в Петербурге; в частности большую известность ему создала поездка на Ленские прииски летом 1912 года на расследование обстоятельств ленского расстрела рабочих. Популярность его была велика решительно во всех кругах общества — уже тогда он сделался положительно любимцем общественности. В этом мне пришлось убедиться лично. Когда я приходил в качестве простого слушателя на заседания Государственной Думы очередной сессии (после открытия Думы), в прихожей, согласно, правилам, надо было указывать, по рекомендации какого депутата был получен билет. Вызывали не по фамилии пришедшего, а по фамилии депутата — «от депутата Керенского». И когда называли его фамилию, все присутствовавшие, как один, поворачивали головы в мою сторону, желая увидеть того, кто пришел по билету «от депутата Керенского». Однажды, когда я сидел на хорах в ложе для публики (помню, слушал запрос Аджемова, выступали тогда также Родичев и Милюков), А. Ф. Керенский заметил меня со своего депутатского места и поднялся ко мне на хоры. Надо было видеть, какое внимание он к себе вызвал! Мы ходили с ним под руку в коридоре, примыкавшем к хорам, и публика, оставив свои места на хорах, вышла в коридор и следила за нами. Это любопытство было так настойчиво, что в конце концов А. Ф. Керенский поспешил меня оставить и вернулся в зал заседаний.

В семь часов назначенное свидание рабочих депутатов с Путиловского завода с А. Ф. Керенским состоялось (они, как потом признались, побоялись идти к нему на квартиру — думали, что полиция может помешать). Рабочие подробно рас-

сказали о локауте на Путиловском заводе. Цель их посещения обоих депутатов (Керенского и Чхеидзе — не знаю, впрочем, удалось ли их товарищам повидаться с Н. С. Чхеидзе) заключалась в следующем: они считали своим общественным долгом предупредить обоих депутатов (к А. Ф. Керенскому они каждый раз обращались со словами — «гражданин депутат») о серьезности создавшегося положения и о том, что они «слагают с себя ответственность за могущие произойти последствия». Таковы были буквально их слова. О себе сказали, что поручение это «к обоим депутатам» им дано забастовавшими рабочими. Весьма отчетливо и очень серьезно рабочие делегаты заявили А. Ф. Керенскому, что начавшаяся забастовка не носит частного характера и что дело тут не в экономических требованиях, также и не в продовольственных затруднениях — рабочие сознают, что это начало какого-то большого политического движения и они считают своим долгом предупредить об этом депутата. Чем это движение кончится, они не знают, но для них, по настроению окружающих рабочих, ясно, что произойти может что-то очень серьезное. Так говорили делегаты, говорили спокойно и твердо и это спокойствие лишь подчеркивало серьезность сообщаемого. Предупреждение это оказалось в полном смысле слова *историческим* и позднее я часто вспоминал о нем и удивлялся пониманию момента, проявленному тогда путиловскими рабочими. Понимали это тогда далеко не все. Должен признаться, что тогда и я этому визиту не придал особого значения — не знаю, как отнесся к нему А. Ф. Керенский. То были настоящие *вестники грядущей революции*. Их прозорливость, вероятно, объяснялась тем, что они были у самых истоков начавшегося движения и чувствовали, насколько уже тогда была раскалена атмосфера в рабочих кругах Петрограда. Мне до сих пор кажется странным, что нигде в мемуарной литературе не упомянуто об этих делегациях путиловских рабочих.

## 23 ФЕВРАЛЯ

На другой день, 23 февраля, всюду в городе говорили о начавшемся на петербургских заводах стачечном движении, но никому и в голову не приходило считать это началом революции. Расширение стачки объясняли тем, что локаут на Путиловском заводе вызван желанием администрации этого завода экономить на топливе. Угля, будто бы, в Петрограде не хватало. А с Путиловского завода забастовка в силу солидарности рабочих или по каким-либо другим причинам перекинулась и на

другие петроградские предприятия. Казалось, это движение мало чем отличалось от того, что уже несколько раз происходило и раньше. Между тем самые размеры начавшегося движения и его характер говорили о другом. На заводах происходили митинги, работа постепенно останавливалась всюду. С пением революционных песен рабочие после митингов выходили на улицы. К 12 часам дня 23 февраля почти весь Сампсониевский проспект был залит толпами рабочих. Усиленные наряды конной и пешей полиции не могли удержать демонстрантов. Днем в разных местах города были сделаны попытки остановить трамвайное движение — у некоторых вагоновожатых были отобраны пусковые ключи. С двух часов дня общее руководство подавлением беспорядков перешло от градоначальника ген. Балка в руки военных властей. На помощь были посланы казаки и драгуны. С Выборгской стороны рабочие пробивались и на левый берег Невы, были попытки остановить трамвайное движение на Литейном и Суворовском проспектах. У Казанского моста, на Невском, на углу Невского и Садовой, на Литейном проспекте, на Шпалерной происходили мелкие столкновения толпы с полицией. «То, что началось в Питере 23 февраля, — писал позднее Суханов, — почти никто не принял за начало революции... Казалось, что движение, возникшее в этот день, мало чем отличалось от движения в предыдущие месяцы. Такие беспорядки происходили перед глазами современников многие десятки раз».

## 24 ФЕВРАЛЯ

24-го говорили уже о десятках и даже сотнях тысяч бастующих, но кто мог это проверить? С утра рабочие старались проникнуть в центр города. У Литейного моста, несмотря на наряды полиции и казаков, десятки тысяч рабочих прорвались на Литейный проспект. На Невском появились кучки рабочих с женами и детьми — демонстрации имели вид праздничного гуляния, но нервность в городе повысилась. Толпы собирались в разных местах города. На мостах были расставлены заставы, чтобы разорвать город на части. Демонстрации у Казанского моста, на Невском и на Знаменской площади, столкновения с полицией у Литейного проспекта, у Городской Думы и на Знаменской площади. На Невском, Суворовском и Литейном демонстранты останавливают трамваи, отбирают пусковые ключи. Во второй половине дня движение трамваев прекратилось, исчезли и извозчики. Казаки рассеивают толпы, но настроены миролюбиво. По их адресу раздаются дружественные возгласы из тол-

пы, они отвечают улыбками. К вечеру распространились слухи об обстреле Невского — неизвестно кем: полицией или войсками. Не удастся установить, были ли при этом раненые. Быть может, стреляли в воздух?.. В этот день за подписью ген. Хабалова было развешено по городу объявление, предостерегающее население в ближайшие три дня не выходить на улицы — порядок будет восстановлен, если даже для этого придется прибегнуть к оружию; вызывающие беспорядки играют в руку врагов...

Эти два дня — 23 и 24 — я провел большею частью на улицах. Жил я тогда на Серпуховской за Царскосельским вокзалом, улица эта выходила на Загородный. Район моего наблюдения были — Загородный, Литейный, весь Невский от Гостиного Двора до Знаменской, Мойка, Фонтанка... Я бродил без всякого плана по улицам, переходя с одной на другую, наблюдая толпу, прислушиваясь к разговорам. Народу на улицах было больше обычного, преобладал серый люд, настроение было возбужденное, но не раздраженное — больше всего в толпе чувствовалось любопытство, видно было также, что это были не столько жители этих улиц, сколько пришедшие с окраин. Во многих местах стояли цепи солдат, несомненной задачей которых было не пропускать дальше прохожих, но они плохо это выполняли. Помню, пришлось задержаться надолго у Мойки — солдатам был отдан строгий приказ никого не пропускать через цепь, но с ними прохожие то и дело вступали в разговоры, убеждали пропустить, объясняя необходимость пройти дальше явно выдуманными причинами — и солдаты, оглядываясь кругом, чтобы начальство не заметило их послаблений, пропускали... Так пропустили и меня. Из этих мимолетных разговоров выяснилось, что все эти солдаты были по большей части недавно мобилизованные, т. е. еще совсем недавно они были такими же, как и окружавшая их толпа.

## 25 Ф Е В Р А Л Я

Предостережение Хабалова не имело желательных для власти результатов — 25 февраля движение во всем городе продолжало нарастать. Не испугало, видимо, и его сообщение, что накануне на Невском, около Гостиного Двора, были трое убитых и десять раненых. Беспорядки в городе усиливались. Трамвайное движение совсем прекратилось — теперь уже не рабочие отнимали у вагоновожатых пусковые ключи, а сами вагоновожатые, бросив где попало трамвай, уносили ключи с собой — и трамваи замирали на месте. Черные толпы рабочих

на Невском. От Казанского Собора к Адмиралтейству пройти нельзя — не пускают войска. Около полудня встретил на Невском В. И. Чарнолуцкого. По Невскому от Литейного к Знаменской площади двигалась большая толпа народа — настолько большая, что всякое движение в другую сторону остановилось. Дворники начали запира́ть ворота. Вместе с В. И. Чарнолуцким мы зашли во двор издательства, где В. И. работал — дворник запер за нами чугунные ворота. Мы выждали, когда толпа делается еще гуще, наблюдая за ней из окна, выходящего на Невский. Затем снова вышли. Теперь толпа уже валила густой массой по Невскому — всё в одном направлении, к Знаменской площади, и будто с какой-то определенной целью. Появились откуда-то самодельные красные знамена — видно, что всё это произошло экспромтом. На одном из знамен я увидел буквы «Р.С.Д.Р.П.». На другом стояло «Долой войну». Но это второе вызвало в толпе протесты и оно сейчас же было снято. Помню это совершенно отчетливо. Очевидно, оно принадлежало либо большевикам, либо «между-районцам» (примыкавшим к большевикам) — и совсем не отвечало настроению толпы. Чем дальше, тем толпа двигалась увереннее и быстрее. Теперь мы все уже шли посередине мостовой. Это была та первая демонстрация февральских дней, которая закончилась первым кровавым столкновением на Знаменской площади — судьба захотела, чтобы я принял в ней участие. Проскакал мимо, вслед за толпой, отряд казаков — толпа посторонилась, отряд проскакал стороной улицы и не тронул манифестантов. Когда мы проходили мимо редакции газеты «День» (по правой стороне Невского), окна в верхних этажах открылись — из форточек и окон махали нам платками, полотенцами, что-то кричали, приветствовали. У самой Знаменской площади толпа загустела и почернела. Волна вынесла к самому памятнику Александра III. Из наших рядов вылез плотный бритый человек, вскарабкался на ступени памятника и обратился к толпе с речью. Я стоял совсем близко от него и хорошо его заметил, он был мне незнаком. Но через несколько дней я встретил его уже на заседании Совета Рабочих Депутатов и имел с ним дела — только тогда я узнал, что это был Гриневи́ч, небезизвестный меньшевик-интернационалист. На площади, в разных концах ее, стояли несколько маленьких отрядов конных казаков, но они не проявляли агрессивных намерений против толпы. Один из этих отрядов вдруг двинулся с одного угла площади на другую — толпа охотно раздвинулась и пропустила отряд, потом снова сомкнулась. Оратор продолжал что-то говорить... Видны были

несколько красных маленьких флагов. Закокали по камням подковы — со стороны Николаевского вокзала появился новый конный отряд — как я позднее узнал, то был отряд конной полиции, во главе его ехал плотно перетянутый ремнями в серой шинели офицер. Раздался предупреждающий звук рожка. Другой... Вслед за этим хлопнул одиночный выстрел и раздался залп. Только потом я узнал, что первый выстрел был сделан одним из казаков и им был убит находившийся во главе конного полицейского отряда пристав Крылов. Вместе с толпой побежал и я — при этом потерял галошу. Оглянувшись назад, увидел на снегу палки, шляпы, галоши — но людей на площади не было. Площадь быстро была очищена от толпы, и толпа бросилась бежать в соседние улицы, которые вдруг показались очень узкими.

Ходить в одной галоше по снегу было неудобно и я зашел к жившему неподалеку, на Старом Невском, старому своему приятелю А. А. Никитскому (в свое время мы с ним были в одной и той же московской эсеровской организации; он был довольно видным эсеровским экономистом, писал по вопросам финансов под псевдонимом Новоторжский; почему-то, неожиданно для меня — и, кажется, для себя — он превратился в дальнейшем в Петрограде в годы войны в «меньшевика-интернационалиста»; позднее был женат на сестре жены Н. Н. Суханова — может быть, этим и объяснялась его перемена программы). Хотелось поделиться с ним впечатлениями о только что происшедшем. Возбужденно рассказал ему о столкновении на Знаменской площади, горячо звал его с собой на улицы. Но у А. А. весьма кстати болело горло и его старая прислуга-кухарка решительно этому воспротивилась. — «Не могут Андрей Александрович выйти — у них горлышко болит», — умоляюще говорила Аннушка (которую я, между прочим, хорошо знал еще с Москвы и которой Н. Суханов в своих известных «Записках о революции» посвятил несколько теплых строк). Впрочем, и сам А. А. особо горячего желания выйти на улицу не обнаружил, но запасные галоши мне дал... Посмеявшись над его «горлышком», я снова вышел на улицу.

Я снова стал кружить вокруг Знаменской площади и опять на нее вышел. Разъезжали отряды казаков. Сразу бросалось в глаза, что между толпой, которая продолжала кругом кипеть, и казаками установились какие-то особые, дружественные отношения. Я видел, как вокруг одного конного казака собралась толпа и вела с ним мирный разговор. С другим казаком разговаривал какой-то рабочий, положив руку на холку его ло-

шади. Я тоже подошел к нему и несколько раз погладил его лошадь по бархатному крупу. Всё это казалось необычным, удивительным.

Эта демонстрация на Знаменской площади, во время которой казаком был убит полицейский пристав — кажется, первая жертва революции со стороны правительства, произошла около трех часов. Как позднее установили мемуаристы и историки, этот выстрел из казачьей винтовки в полицейского пристава был едва ли не первым наступательным движением уличной революции.

Отсюда я отправился в Таврический дворец. Улицы вокруг него кишели народом. Встречались небольшие отряды казаков, но они держались мирно, никого не разгоняли. Кое где толпа приветствовала их криками — «да здравствуют казаки!» Но казаки держались опасно и сдержанно.

Вечером этого дня в Городской Думе на Невском состоялось объединенное заседание общественных организаций. Официально оно было созвано для обсуждения продовольственного положения в городе и для введения хлебных карточек, но фактически имело чисто политический характер. Выступали Шингарев, Керенский, Скобелев. Они резко протестовали против уличных расстрелов. Кончилось собрание принятием общей резолюции с требованием свободы собраний и слова. Весь этот вечер я провел, вместе со встреченным там случайно приятелем, Б. О. Флеккелем, членом городской эсеровской организации, на ступенях Думы или в ее кулуарах. Думу окружала черная толпа — она облепила здание, примостилась на лестнице, все корридоры и комнаты были набиты народом. Все старались узнать, что происходит в самой Думе. От одного к другому передавали обрывки произнесенных речей. Вокруг была суета, в которой сейчас уже трудно отдать отчет. Одно было ясно: *жизнь вышла из берегов, происходит нечто необычайное...*

В этот вечер, как позднее стало известно, царь из Ставки отправил телеграмму Хабалову: «Приказываю прекратить завтра беспорядки в столице, недопустимые в такой серьезный момент, как война с Германией и Австрией»... Стрельба в этот день происходила в разных частях города — стреляли в толпу.

## 26 ФЕВРАЛЯ

26-е февраля, воскресенье. Солнечный зимний день. Яркое солнце, приятный легкий мороз, голубое небо и недавно выпавший мягкий снег создают праздничное настроение. Город с утра походит на развороченный муравейник. Улицы — тротуа-

ры и мостовые — во власти толпы. Все куда-то спешат в разных направлениях, кучки людей останавливаются, наспех обмениваются новостями. Все возбуждены, взволнованы но не напуганы. Чувствую у себя и у прохожих, что мы все переживаем одно и то же — и это нас соединяет. Это настроение я чувствовал в течение нескольких дней и не могу его определить иначе, как ощущение какого-то общего братства. Как будто пали обычные перегородки, отделявшие людей — положением, состоянием, культурой, люди объединились и рады помочь друг другу — в большом и малом, быть может, то было ощущение общего риска, которое соединяло всех. Случайные встречные разговаривали друг с другом, как давнишние приятели — дружески, доброжелательно, готовые придти друг другу на помощь, если это даже связано с риском для жизни, в чем, вероятно, в ту минуту никто не отдавал себе отчета. Это ощущение *братства* было очень острым и вполне определенным — и никогда позднее я его не переживал с такой силой, как в эти незабываемые моменты, дни. То было воистину ощущение общего народного праздника.

Всюду на улицах чернеют люди. Полицейские совершенно исчезли. Упорно говорили, будто они с пулеметами засели на чердаках высоких зданий. Зато город во многих местах перегороден многочисленными заставами солдат, которые шеренгами расположились поперек мостов и на перекрестках некоторых улиц. В некоторых местах совсем не пропускали, в других — пропускали лишь тоненькими ниточками. Центром оживления был Невский и прилегающие к нему улицы, но не везде по Невскому пропускали. С утра говорили о стрельбе возле Городской Думы — действительно, оттуда доносились сухие выстрелы. Из уст в уста передавали о множестве убитых. Боковыми улицами мне удалось добраться до Гостиного Двора — выстрелы были слышны совсем рядом. Выйдя на Садовую, я увидел в одном месте, около Гостиного Двора, скопление людей и, подойдя к толпе, увидел на свежем снегу алый след пролитой крови — цепочкой и пятнами. Прохожие обходили след — он шел по тротуару, — тревожно и с любопытством вглядываясь в неуспешную еще почернеть кровь. Кто-то объяснял, что здесь же только что была ранена сестра милосердия — пулей ей перебило ногу, ее куда-то отнесли. Толпа слушала и передавала рассказ дальше. Видимо, это либо шел раненый или раненого здесь пронесли. Пробраться к Адмиралтейству я не мог. Толпа вынесла к какому-то мосту. Помню стоявших на нем солдат. Они никого не пропускали, но мирно разговаривали

с публикой. Возле стоял интеллигентного вида бородатый офицер — наверное из призванных прапорщиков запаса. Сознание не допускало мысли, что эти мирные, благожелательно настроенные к толпе люди могут обратить против нее оружие. И толпа сама относилась к ним добродушно. По Загородному я попробовал выйти на Невский — не пропустили. Пробрался по Владимирскому. Невский был пуст жуткой пустотой. Раздавались частые выстрелы — одиночные и пачками, чаще последние. Действовал, вероятно, и пулемет, но тогда ухо к нему еще не привыкло. Если всмотреться по Невскому подальше, по направлению к Гостиному Двору и Думе, можно различить лежащие на снегу поперек Невского фигуры — это лежали цепи стрелявших время от времени вдоль Невского. Убежденно передавали в толпе, что солдаты стрелять по толпе и прохожим отказываются и что этой стрельбой занимаюя городовые, передетые в солдатские шинели.

Ворота и подъезды домов заперты. Редкие прохожие на Невском опасно пробираются по тротуарам, прижимаясь к стенам домов. Когда редкие смельчаки перебегают через Невский, все за ними напряженно следят — в этом было что-то спортивное. Мы были с кем-то вдвоем — с кем, не помню. Вероятно, то был просто случайный встречный, но мы чувствовали в ту минуту друг к другу большую близость и подбадривали один другого. Вероятно, согласились бы и рисковать друг для друга... Нам, конечно, тоже обязательно надо было перебежать через Невский... Помню это жуткое ощущение опасности, риска и желание во что бы то ни стало испытать свою судьбу... В конце концов мы всё-таки перебежали и остались целыми, несмотря на продолжавшие раздаваться — одиночные и пачками — выстрелы. Крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Отсюда выбрался на Пески и с той стороны вышел на Литейный. По нему валила густая толпа. Останавливали редких извозчиков и автомобили, добродушно высаживали пассажиров и заставляли извозчиков возвращаться домой. Казаки разъезжали маленькими отрядами — по три-шесть человек — толпа их приветствовала. Они имели совершенно мирный вид. Это казалось странным, необычным. Ведь так давно уже все привыкли на них смотреть, как на охранителей порядка, нагайками разгонявших всякие скопища. Это те же казаки, те же загорелые мужественные бронзовые лица и серебряные сережки в ушах, но глаза смотрят иначе — серьезно, но без злобы. И толпа кричит им ура, аплодирует... Возле больницы принца

Ольденбургского вдруг замешательство — толпа ринулась в сторону, прижалась к чугунным решеткам...

Как рассказать этот день, весь проведенный на улицах? Это был последний день старой власти, которая еще цеплялась за жизнь, но цеплялась уже неуверенно, не зная, что будет на другой день, так как не знала сил противника. Но и сам этот противник — высыпавший на улицы народ — не знал своих сил. Была неуверенность у обеих сторон, но, как показали дальнейшие события, возбуждение охватывало всё более широкие массы, а силы старого строя не увеличивались, а уменьшались — скоро они просто совсем растаяли. По мере того, как увеличивалась толпа на улицах, росла сила народа и падала уверенность тех, кто призваны были охранять существовавший до сих пор порядок. Всё это, конечно, выяснилось лишь впоследствии. Пока же толпа просто переливалась по улицам, подгоняемая выстрелами, бросающаяся в панике из одной части города в другую — ее главная сила состояла в ее количестве. А она, эта сила, росла, как будто ее вызвал кто-то из под земли, росла всюду и везде, нетерпеливая, любопытная — в этот решающий день скорее испуганная и добродушная, чем раздраженная и гневная. И чем больше ее высыпало всюду на улицы, тем увереннее становились ее действия.

Передавали, что в этот день в четырех местах Невского открывалась ружейная стрельба залпами — независимо от одиночных выстрелов вдоль Невского залегшими поперек проспекта цепями. Днем около Адмиралтейства весь Невский очищен и по нему никого не пускают — ни по тротуарам, ни по мостовой, но толпы людей пересекают Невский по Садовой, Владимирской, Литейному. На Невский никому не позволяют выходить казаки, стоящие скученным отрядом человек в 500; они вооружены пиками.

Самое значительное событие этого дня — выступление Павловского полка, подробности которого стали известны лишь позднее. Это был первый — хотя и неудачный — переход войсковой части на сторону революции. И хотя он кончился неудачно, он имел большое политическое значение, так как пример павловцев вызвал подражания — самая весть об этом выступлении сыграла огромную революционизирующую роль в войсках. Произошло, как позднее стало известно, в Павловском полку следующее. Около 5 часов дня солдаты 4-й роты лейб-гвардии Павловского полка, разобрав имевшееся в распоряжении роты оружие (около 30 винтовок и не более сотни патронов!), вышли на улицу из помещения роты и направились к

Невскому. По дороге, на Екатерининском канале, они подверглись нападению конной полиции и, расстреляв все свои патроны, растерялись. Недостаток оружия и отсутствие организаторов заставило их вернуться в свою ротную казарму, где они и забаррикадировались. Около семи часов вечера они были окружены войсками, вооруженными пулеметами. Ночью были обезоружены, из них 19 человек было арестовано и под усиленным конвоем отведены в Петропавловскую крепость, где и были заключены в Трубецкой бастион. Освобождены они были оттуда только 28-го, когда восставшими войсками и народом Петропавловская крепость была взята. Всё это, повторяю, стало известно лишь значительно позднее, но весть о «восстании Павловского полка» распространилась к вечеру 26-го очень широко — от одной интеллигентной группы к другой — при этом со ссылками почему-то, то на Леонида Андреева, то на Шаяпина. Один из них жил по близости Павловских казарм, был очевидцем происшедшего и затем раззвонил об этом по телефону по всему городу. Только поздно вечером слух этот оформился и укрепился.

Что делалось в этот день в Государственной Думе, не знаю. Кажется, даже не был в Таврическом дворце. Да и события явно уже отошли от Думы — жизнь шла на улицах.

26-го вечером на квартире у А. Ф. Керенского (на Тверской) по его приглашению состоялось совещание представителей некоторых левых общественных группировок и организаций. Такого рода совещания за последние недели (или вернее — дни) происходили несколько раз и носили характер информационных собраний — формального характера они в смысле представительства не носили и имели целью лишь обмениваться сведениями о происходящем в Петрограде. Принимали в них участие — Н. Д. Соколов, А. Ф. Керенский, М. И. Скобелев, И. Юрезев (член «междурайонного комитета», близкого к большевикам), П. Александрович (эсер), Г. Эрлих (бундист), Шляпников (член ЦК большевиков), А. В. Пешехонов, В. М. Зензинов, П. Гриневич (меньшевик-интернационалист), Н. Н. Суханов, Ерманский (меньшевик-интернационалист), М. Е. Березин (трудолик), С. Ф. Знаменский (трудолик). Таких «информационных совещаний» в предфевральские дни было четыре; три совещания происходили на квартире у М. Горького (ни А. Ф. Керенский, ни я на них не были), это — четвертое и последнее — состоялось на квартире у А. Ф. Керенского. На нем присутствовали (я твердо помню), кроме А. Ф. Керенского, меня и пришедшего к концу совещания Н. Д. Соколова — Эр-

лих, Александрович и Юренев; возможно, что были также Знаменский и Березин, но я в этом не уверен. Хочу подробнее на этом совещании остановиться, так как настроения участников его ярко отражали те настроения, которые тогда были характерны для различных политических групп.

По идее и задачам совещание это должно было иметь важное значение — оно претендовало некоторым образом как бы на роль генерального штаба революции, который должен был принять весьма ответственные решения. И несомненно, как бы ни преувеличивали сами собравшиеся своего удельного веса, они, действительно, могли оказать некоторое влияние на ход событий. Правда, организованной политической общественности в Петрограде в то время не существовало, но в вихре событий, среди возбужденных группировок и инициативных ячеек, привычные формулировки, лозунги, а главное — партийные названия могли и должны были сыграть крупную и активную роль. Масса искала руководителей, жаждала, чтобы ее смутные желания были точнее сформулированы, были ей подсказаны. И присутствовавшие на совещании у А. Ф. Керенского, из которых каждый мог опубликовать заявление от имени какой-нибудь политической организации, могли, действительно, сыграть роль...

Я подробно останавливаюсь на этом моменте, во первых, потому, что он кажется мне значительным, во вторых, также и потому, что роль большевиков на нем была изумительна, для большинства неправдоподобна, невероятна<sup>1</sup>.

«Собрание было довольно бурное», писал потом об этом совещании большевик Юренев. Я тоже помню, что споры у нас были горячие. Юренев и Александрович, который в эти и последующие дни действовал в полном контакте и согласии с

---

<sup>1</sup> О совещании этом имеется упоминание в книге А. Ф. Керенского — *Crucifixion of liberty*, London и в небольшой и очень редкой брошюре участника этого совещания большевика И. Юренева — *Борьба за единство партии (очерк возникновения и деятельности Петроградского Междурайонного Комитета)*. Петроград, 1917 года. Вот что писал в этой брошюре И. Юренев: «Найти общий язык представителям «общественности» с представителями нелегальных организаций не удалось... Последнее совещание состоялось у А. Керенского в ночь на 27-е февраля. Собрание было довольно бурное. Дискутировался вопрос о протекавшей с 23 февраля стачке рабочих и о демонстрациях, о расстрелах на улицах и о перспективах на будущее. Когда-нибудь, в особой заметке, я расскажу подробнее об этом сове-

большевиками (недаром он при каждом удобном и неудобном случае подчеркивал свой «циммервальдизм», «интернационализм» и пораженчество), держали себя как-то вызывающе-заносчиво, как будто они были единственные настоящие социалисты, попавшие в общество либералов (в своих воспоминаниях Юренев откровенно противопоставляет «представителей нелегальных организаций», т. е. себя и Александровича, представителям «общественности» — в презрительных кавычках). Уж во всяком случае они чувствовали себя единственными подлинными представителями «пролетариата». Не помню точно высказываний Александровича (вряд ли вообще он был способен свои позиции отчетливо формулировать), что же касается Юренева, то он занял какую-то удивительную позицию. В противовес всем остальным присутствовавшим Юренев не только не проявлял никакого энтузиазма по поводу происходивших событий, но отравлял всех нас своим скептицизмом и неверием. — «Нет и не будет никакой революции, — упрямо твердил он... — Движение в войсках сходит на нет и надо готовиться к долгому периоду реакции...» — А когда мы после оценки происходящего перешли к вопросу о том, что нам нужно делать, он заявил, что необходимо занять лишь наблюдательные позиции, отнюдь не стараясь самим развить события. Мы (А. Ф. Керенский, Г. Эрлих и я) единодушно говорили о необходимости влиться в события, постараться воздействовать на движение, придать ему более определенный политический смысл и направление, добыть средства для создания техники по изданию листовок, Юренев твердо настаивал на позиции: «выжидать и наблюдать». При этом он особенно резко нападал на А. Ф. Керенского, упрекая его в «обычной, свойственной ему истеричности» и «обычном преувеличении». Мы утверждали, что волна идет вверх, что мы должны готовиться к решительным событиям, Юренев, считавший себя на более левом фланге, усиленно старался облить нас холодной водой. Для нас было ясно, что такова была позиция в тот момент не только его лично, но и большевистской петербургской организации. Юренев высказывался против форсирования событий, утверждал, что начав-

---

шании, а теперь ограничусь сказанным». К сожалению, И. Юреневу не удалось исполнить своего обещания — о совещании этом он больше ничего не писал. Позднее И. Юренев занимал у большевиков, затем и в советском правительстве, видное положение, был советским полпредом в Риме и бесследно исчез в одной из внутренних большевистских чисток. Несомненно, он был ликвидирован.

шееся движение не может иметь успеха, настаивая даже на необходимости успокоить взволнованные рабочие массы. Единственно, на что он соглашался, это на то, чтобы «Керенский использовал свои общественные связи и раздобыл денег для издания... информационного бюллетеня» (цитирую его фразу буквально). И говорилось это с величайшим презрением к «либералу Керенскому». Таких же позиций в то время держался, как позднее выяснилось, и Н. Н. Гиммер (Суханов). Чем была тогда продиктована такая пассивная тактика большевиков, тогда я не понимал, но уверенно констатирую ее, как факт. В те дни, когда началось уличное движение, всего более скептически отнеслись к успеху революции большевики. Сейчас эту странную позицию большевиков я могу объяснить только одним: начавшееся движение они не считали своим, движением «пролетариата» — в лучшем случае это было, по их мнению, началом «буржуазной» революции, которой они чурались. Только это может объяснить их странное поведение — это презрение к «буржуазной революции» многое определило в их позициях и в последующие дни.

Как раз в разгар наших споров раздался звонок и из передней ворвался в шубе Н. Д. Соколов. Еще из передней раздался его громкий голос: «вы знаете, что произошло?...» А. Ф. Керенский перебил его словами — «знаем, знаем — восстал лавловский полк...» — Об этом нам только что сообщили по телефону (со ссылкой на Шалапина). Это и была та новость, с которой Н. Д. Соколов, так любивший первым сообщать о важных событиях, спешил на совещание. Надо было видеть его огорчение и разочарование, что не он был первым вестником важного события.

Совещание наше затянулось до поздней ночи. Когда через весь Петербург (с Тверской до Царскосельского вокзала) я возвращался домой, Петербург все еще имел взбудораженный вид. Всюду на перекрестках кучки митингующих — на Сергиевской, на Литейном, на Владимирской, у Царскосельского вокзала. Особенно оживлен — несмотря на поздний ночной час — перекресток Невский-Литейный... И меня опять поразила эта уже подмеченная мною черта — незнакомые люди, случайно встретившиеся на минуту, с таким братским доверием относились один к другому, так охотно открывали друг другу сердца, что было очевидным: все в эту минуту переживали одно и то же — высокий, небывалый, ни с чем несравнимый духовный праздник!... Кое-где горели огни — ночь была холодная, около них собирались кучки случайных встречных, обменивались но-

востями, рассказывали об отдельных эпизодах и личных приключениях, дружески прощались друг с другом и расходились в разные стороны. Полицейских нигде решительно не было видно, не было и войск, хотя отдельные солдаты в толпе теперь встречались в значительном количестве. Улица явно переходила во власть толпы... На совещании у Керенского мы только что единодушно отметили исчезновение филеров, следивших за нами раньше, и учли это как отрядный признак.

*(Окончание следует)*

**В. Зензинов**

# РАССКАЗ ЛАТЫШСКОГО КРЕСТЬЯНИНА БЕЖАВШЕГО ИЗ СССР

*Весною 1944-го года я покидал лагерь советских военнопленных «Stalag I A» в Восточной Пруссии. Советские войска медленно, но неудержимо двигались на запад.*

*Немцы уже начали частичную эвакуацию военнопленных. С востока — с Украины, из Прибалтики и Польши, — этап за этапом, катился поток эвакуируемых. По временам эти этапы останавливались у нас на ночевку, иногда задерживались на двое-трое суток, и двигались дальше. Наконец была назначена на пересылку первая партия и от нас. Я оказался в этой партии. Никто не знал, конечно, куда нас отправляют, но все верили, что нас везут на запад, куда-то «очень далеко».*

*Накануне отъезда ко мне в барак пришел латыш-военнопленный, с которым мы сдружились, лежа вместе в тифу в лагерном госпитале.*

*— Ну, что же, едете? — спросил он меня. — Счастливого пути.*

*— Спасибо. Надеюсь, что и вы скоро за нами.*

*Он помолчал, потом полез в карман шинели и достал оттуда старую замусоленную тетрадь в самодельном переплете.*

*— А у меня к вам просьба, — нерешительно проговорил он. — Возьмите эту тетрадь с собою. Это рассказ моего товарища латыша, побывавшего в СССР. Мне хочется сохранить эту тетрадь. У вас теперь есть надежда на спасение. А что нас ожидает — сами знаете. Тогда, вместе со мною, погибнет и рукопись.*

*Я согласился и взял рукопись. С тех пор, целых восемь лет, я возил эту тетрадь с собой. Где только она ни была со мною в годы жизни в лагерях «ди-пи». И, наконец, добралась со мной до Америки. Эта рукопись — не только лишнее свидетельство того, что происходит за железным занавесом. Автор ее — советский военнослужащий, добровольно сдавшийся в плен врагу.*

*И его рукопись — является тоже одним из многих объяснений, почему происходило бегство пленных от армии, которая шла их же «освобождать». Имени автора я не называю по понятным причинам.*

*Ник. Витов*

**«Советский суд не мстит, а карает»**

В июне 1940-го года советские войска пересекали границы Латвии, чтобы освободить нас от «власти капиталистов и помещиков». А через месяц или полтора, в обозе красных войск, явилось всемогущее НКВД и наступило «освобождение». Людей хватали всюду: на дорогах и на улицах, дома и на работе. Никто не мог чувствовать себя в безопасности ни днем, ни ночью. К моменту объявления войны Германией из двух миллионов человек, в то время населявших Латвию, репрессиям разного рода (арестам, ссылке, раскулачиванию, депортации) были подвергнуты, по слухам, около ста тысяч человек. Судя по тому, что мне пришлось видеть в тюрьмах и лагерях, я думаю, что эта цифра была даже еще выше.

Меня арестовали в мае сорок первого года.

Месяца за три до ареста я был объявлен кулаком. Мое хозяйство реквизируют. На каждого члена семьи оставили по три пуда ржаной муки, по две смены белья и по одной тарелке, вилке и ножу. Все прочие запасы продовольствия, всю лучшую посуду и одежду, весь скот и инвентарь, словом, всё, что создавалось долгими годами труда, у меня забрали.

Жаловаться было некуда и некому. Нас окружали тысячи таких же обездоленных, как мы. Мне оставалось одно — уйти из разоренного гнезда и стать пролетарием. Так поступали многие раскулаченные. Не без труда мне удалось устроиться на лесоразработки. Лишь по субботам я, как вор, прокрадывался в дом, чтобы увидеться с семьей. Но скоро и эти встречи прекратились. К весне работа в лесу кончилась, приходилось искать заработка в другом месте. Я поехал в город Лимбежи, где у меня были хорошие друзья. Конечно, ни жене, ни мне в голову тогда не приходило, что именно там и подстережет меня последняя беда.

15-го мая в лимбежском городском суде слушалось дело нескольких крестьян по обвинению в «невыполнении плана весеннего сева». Среди подсудимых я увидел старого знакомого. Его судили за то, что он не засеял полпуровки земли, которая, как он пытался объяснить суду, еще находилась под вешней водой. Тем не менее, его приговорили к двум годам тюрьмы «за саботаж указов партии и советского правительства». В зале, переполненном крестьянами, началось волнение. Прокурор грубо прикрикнул на толпу, велел «очистить зал» и взять осужденного под стражу. В эту минуту я как раз стоял рядом с приятелем, и мы довольно громко обсуждали с ним решение

суда. Повидимому, милиционер, который должен был вести приговоренного в тюрьму, слышал наш разговор.

— Пойдемте и вы — приказал он мне.

Я с удивлением спросил — зачем? Вместо ответа, он лишь повторил приказ. Не чувствуя за собою никакой вины, я спокойно подчинился. Через полчаса я был уже в тюрьме. На следующий день меня перевезли в Вальмир и только тут вызвали на допрос.

То, что я услышал от следователя, было каким-то бредом. Он объявил мне, что меня будут судить... за незаконную торговлю овцами и лошадьми! Когда я попытался объяснить, что я в жизни не продал ни одной овцы, следователь искренне расхохотался. Я навсегда запомнил его грубую и бессмысленную фразу:

— Мы тебя научим возить возы...

Я понял, что оправдываться бесполезно и что я приговорен. Овцы и лошади были, конечно, совершенно не причем. Просто меня, как раскулаченного, хотели убрать с глаз долой. Предлог же был выдуман самый издевательский.

Последнее, что я успел заметить, выходя от следователя, были, висевшие над дверью, два огромных красных плаката с лозунгами. На одном я прочитал:

«Советское правосудие -- справедливейшее правосудие мира».

На другом было написано:

«Буржуазный классовый суд — это суд мести. Советский суд не мстит, а карает».

Меня отвели в камеру и с этих пор словно забыли обо мне. Мои родные, разумеется, не знали, где я нахожусь. Да и сам я не представлял себе, что меня ожидает. «Следствие», видимо, уже закончилось. Но суда все не было.

### Что говорили стены

Я сидел в тюрьме уже второй месяц. Однажды, среди ночи, мой сосед по нарам, Янис Озолс, разбудил меня.

— Сядь и послушай — шетал он, — как по-твоему, что это значит?

Я протер глаза. Сел на нарах и прислушался.

Несся какой-то странный гул не то с тюремного двора, не то из города. Его, пожалуй, можно было бы принять за шум дождя или прибоя. Но на дворе стояла ясная июньская ночь, а море было очень далеко.

— Это давно? — спросил я Яниса.

— Почти всю ночь.

От этого шума, несмотря на очень ранний час, многие обитатели нашей камеры уже не спали. На нарах и на полу в одном нижнем белье сидели заключенные и, так же, как мы с Янисом, молча и настороженно прислушивались. Несколько человек сидело возле самых окон, хотя железные щиты, которыми они были прикрыты с внешней стороны, даже и днем не позволяли видеть ничего, кроме кусочка неба да тюремного двора.

Я кое-как оделся и перебрался на край нар к окну. Теперь я ясно слышал стук колес и цоканье подков, шум моторов и даже голоса людей. Было такое впечатление, что весь наш городок, обычно погруженный в этот час в мертвую тишину, поднялся и идет мимо тюрьмы по улицам.

Лишь на рассвете шум стал, как будто, стихать. Но в то же время началось необычайное движение в самой тюрьме. Из коридоров стали доноситься торопливые шаги охранников и характерный скрежет отпираемых замков. Примерно в пять часов утра из нашей камеры вызвали «на допрос» сразу семь человек. Наша тревога возросла — допросы в эти ранние часы случались редко. Мы с нетерпением ждали возвращения товарищей. Но прошел час, два, ни один из вызванных не возвращался. Во время завтрака от нас забрали еще несколько человек. Затем вызовы стали повторяться чуть не каждый час. Тогда нас охватила паника. То, что заключенных вызывали «без вещей» и ни один из них за целый день не возвращался, ясно говорило, что вызывают вовсе не для допросов. Но... для чего же? Никто из нас не произнес слова «расстрел», но всем стало ясно, что в тюрьме идет какая-то массовая расправа с заключенными.

Под вечер в камерах погасло электричество, которое не выключалось никогда прежде — ни днем, ни ночью. В темноте все так же по камерам рыскали надзиратели, читая списки заключенных при тусклом свете фонарей. В камере наступила тишина. Одни молились, стоя на коленях, другие плакали. И в этой тишине около полуночи мы услышали из соседней камеры стук в стену. Кто-то, страшно спеша и поминутно ошибаясь, передавал по тюремной азбуке:

...вчера немецкие войска вошли в СССР...

...большевики бегут...

...в тюрьме расстрелы...

### Лагерь в горах Кавказа

Ночь с 23-го на 24-ое июня сорок первого года была, быть может, самой страшной ночью моей жизни. За сутки население нашей камеры уменьшилось ровно наполовину. То же происхо-

дило и во всех других. В этом мы убедились на рассвете 24-го июня, когда нас всех, оставшихся в живых, вывели на тюремный двор, построили в колонну и погнали на вокзал.

Стояло тихое летнее утро. В последний раз светило нам родное солнце; в последний раз ноги ступали по родной земле. Мы шли знакомыми улицами и не узнавали их — такое шумное движение кипело вокруг. Город был полон отступающими советскими войсками. Колонны солдат, одетых в запыленные шинели, повозки, автомобили и орудия — всё это нескончаемым потоком катилось через город с запада на восток. Нам сразу стало ясно, что шум этого потока и разбудил нас прошлой ночью.

На станции нас втиснули в товарные вагоны по 80 человек в каждый. Двадцать два дня мы провели в этих вагонах, питаюсь только тем, что некоторые из нас успели захватить с собою из тюрьмы, да подаянием, которое порою удавалось получить на станциях от местных жителей. Еще больше, чем голод, нас терзала жажда. Когда на 23-ий день в Нальчике на Кавказе двери вагонов наконец открылись, и чей-то голос приказал нам выходить и пересаживаться на автомобили, многие не могли двинуться с места. Их пришлось переносить на руках.

По узкой и извилистой дороге грузовики медленно повезли нас в горы. Мы ехали почти безлюдными местами и лишь под вечер увидели несколько старых приземистых строений.

— Ну, вот и лагерь, — равнодушно произнес наш часовой. — Приехали.

Несмотря на страшную усталость, мы с жадным любопытством вглядывались в эти низкие мрачные здания, которые должны были стать нашим новым жилищем. Даже больные поднялись, чтобы взглянуть на них. «Так вот как они выглядят — знаменитые советские концлагеря, о которых нам в Латвии приходилось слышать столько страшного!»

Описав еще несколько поворотов, машины въехали во двор лагеря и остановились. И только тут мы увидели, что «бараки» были просто-напросто громадными старыми хлевами, в окна которых были вделаны чугунные решетки. Хлева были обнесены со всех сторон колючей проволокой. Возле единственных ворот стоял барак почище и получше, предназначавшийся, должно быть, для охраны. И это — всё. Кругом, куда ни глянешь, возвышались горы.

После того как мы расположились в этом «лагере», нам выдали по куску черного хлеба и по три соленых воблы. Изголодавшиеся люди с жадностью набросились на пищу. Спу-

стя какие-нибудь полчаса нас охватила нестерпимая, мучительная жажда.

— Воды — кричали изо всех бараков. — Дайте воды!

Но ни одна душа не отозвалась. Охранники молчали, словно вымерли. Прошла ночь. Прошел следующий день. У нас уже не было сил стучать в двери бараков и просить охрану дать воды. Мы молча лежали на соломе, моля Бога лишь об одном — послать нам поскорее смерть. Но вот, на третьи сутки на рассвете, загремел замок, двери раскрылись и раздался голос:

— Эй, кто тут есть живой? Марш на работу!

Вскоре мы узнали, что у коменданта этого горного лагеря была своя собственная «система перевоспитания классовых врагов». Она заключалась в том, что каждую новую партию заключенных кормили в первый день очень соленой рыбой, а затем в течение двух суток не давали ни воды, ни пищи. Только на третий день двери бараков отворялись и на пороге появлялся комендант или его помощник. Они торжественно сообщали, что с этой минуты заключенным предоставляется возможность «доказать честным трудом, что они достойны есть хлеб социалистического государства».

Мы узнали также, что наш комендант — старый чекист и алкоголик — очень гордился этим дьявольским изобретением. Официально попытка называлась «карантином», но цель ее была, конечно, далеко не медицинская. Цель состояла в том, чтобы буквально в первые же часы лагерной жизни убить волю людей и превратить их в робких и безропотных рабов, мечтающих лишь о куске черствого хлеба и о глотке воды.

Мне кажется, цель эта достигалась. Во всяком случае я помню, когда на третий день нас повели куда-то в горы на работу, каждый из нас готов был за глоток воды работать целый день, хотя все мы уже едва держались на ногах.

В тот день мы начали строительство новой шоссейной дороги в Кавказских горах. Работать было очень тяжело и не только потому, что все мы были страшно истощены, но и оттого, что вся работа делалась вручную. Машин не было никаких, а инструмент давали только самый примитивный — кирку да лопату. С ним мы и должны были «вгрызаться» в горы, прокладывая трассу будущей дороги. Вскоре нас разделили на бригады по 30 человек, и каждая бригада стала получать свое «задание». Питание заключенных зависело всецело от количества труда. Те, кто мог выполнить «задание», получали в день

300 грамм хлеба и две порции жидкого супа; остальным давали еще меньше.

От грязи, от недоедания и общего истощения к осени в лагере вспыхнули заразные болезни. О медицинской помощи не приходилось и мечтать. Лагерный врач был, в сущности, таким же зверем, как и всё наше начальство. Больному, приходившему к нему за помощью, он неизменно отвечал:

— Добрался до меня, дойдешь и на работу.

Больных, которых уже совершенно невозможно было выгнать на работу, каждое утро выносили из бараков и, как дрова, укладывали на земле рядами. Весь день они должны были лежать в грязи, и ни один из нас не смел к ним подойти. Лишь вечером, когда рабочие бригады возвращались в лагерь, больных вносили в помещение, чтобы на утро вышвырнуть опять. Делалось это, как нам объясняли, для того, чтобы мы «меньше симулировали». Но на самом деле цель этого издевательства была опять-таки другая: избавиться поскорей от тех, кто представлял собой «балласт» для социалистического государства.

Если больной пытался днем вползти в барак, с ним расправлялись совершенно беспощадно. С него снимали верхнюю одежду и, полураздетого, швыряли в особую яму, находившуюся посреди лагерного двора. Эта яма, — размером два на два метра и немного большей глубины, — была наполнена наполовину «силосом» — старым, прокисшим жидким кормом для скота, издававшим страшное зловоние. Случалось, что больной, пробывший в этой яме только сутки, умирал; но если его и вытаскивали из нее живым, он мало походил на человека. Я сам видел, примерно, человек двадцать, погибших в этой яме.

Однажды, в сентябре, в наш хлев явились комендант с помощником и вызвали нескольких заключенных, среди них: капитана старой латышской армии Юрка́, лейтенанта Берзныша и некоего Цалытыса, с которым мы были знакомы еще по тюрьме. Капитан Юрка́ спал рядом со мною. Я помог ему собрать вещи и проводил до двери.

— Не горюйте о нас! — крикнул Берзныш в ту минуту, когда охранник сковывал его наручниками. — Дай Бог, чтобы вам было лучше, чем нам...

Охранник оборвал его на полуслове, грубо подтолкнув к дверям. Мы видели, как всех троих усадили в крытую машину и повезли куда-то в горы. Мы поняли, что их увезли на смерть. И в самом деле, на другой день Альфонс Романис, работавший в коптерке, обнаружил вещи увезенных, которые кто-то принес в коптерку ночью.

Эта бессудная расправа взволновала заключенных. Спусти некоторое время, под ее впечатлением, из лагеря бежали шестеро латышей. Их скоро поймали, избили до потери человеческого облика и бросили в яму с кислотой. Потом их расстреляли на глазах у всего лагеря.

День ото дня условия нашей жизни ухудшались.

Однажды нам дали на ужин очень жидкий суп: чуть мутноватую водицу, в которой кое-где плавали листья капусты. Мы принялись шуметь. Некоторые прямо у кухни выплескивали «суп» на землю. Вызвали коменданта. Он пришел в сопровождении нескольких охранников и стал спрашивать чего мы от него хотим? Мы ответили, что при таком питании не сможем выполнять норм выработки. Он, усмехаясь, сказал:

— Что полагается, то и получаете.

Тогда один из заключенных, латыш Вандзыш из Риги, ударил коменданта фонарем по голове. Обливаясь кровью, комендант упал. Часовые бросились на Вандзыша и в одно мгновение скрутили ему руки за спиной. Вандзыш успел только крикнуть по-латышски:

— Латыши, на помощь!

Мой друг Алоиз Романис схватил камень и бросил его в одного из часовых. Часовой охнул и упал. Тогда охранники сорвали с плеч винтовки и навели на толпу. Минуту или две длилось молчание... Потом мы стали тихо расходиться, стараясь не смотреть на Вандзыша. Я убежден, что если бы в ту минуту у нас в руках были хотя бы палки, дело окончилось бы мятежом.

Весь следующий день в лагере шли допросы. Начальство, видимо, любой ценой хотело знать, кто бросил камень. Но среди заключенных не нашлось предателя. Вечером всех нас выстроили в лагерьном дворе и перед строем расстреляли Вандзыша.

Тотчас же после этого бежали еще четверо заключенных, но их тоже поймали и, избив, бросили в яму. На следующий день под вечер я, несмотря на запрещение, решил прокрасться к яме, чтобы передать несчастным несколько кусков хлеба, собранных их друзьями. Картину, которую я увидел, я не забуду никогда. Опухшие и посиневшие от холода и от побоев беглецы копошились в жидкой массе, хватаясь окровавленными пальцами за стены земляной тюрьмы. Земля осыпалась у них под руками. Люди, как черви, шлепались в зловонную черную жижу и сейчас же снова принимались карабкаться вверх. Они, повидимому, уже плохо сознавали, что делали. Я не мог вынести этого и, передав хлеб, поспешил назад. Лишь через несколько

дней беглецов вытащили из ямы. Весь день, пока за ними не приехала машина, они лежали неподвижно на земле около ямы. И даже мы, их близкие друзья, не узнавали их, — так страшно они были изуродованы.

Не знаю, чем могло бы кончиться всё это, если бы неожиданно в лагерь не просочился слух, что немцы приближаются к Кавказу. Эта новость сразу поглотила всё наше внимание и отвлекла от лагерных событий. Недели на две, на три воцарилась тишина. Даже начальство несколько притихло. Мы чувствовали, что чекисты растерялись и что вожжи выпадают у них из рук. Пользуясь этим, большая группа заключенных, в которую входил и я, начала готовиться к массовому побегу.

Расчет наш был основан вот на чем:

За три месяца жизни в лагере мы убедились, что днем, когда бригады были на работе, лагерь, в сущности, оставался без охраны. За исключением коменданта и его помощника, да часового у ворот, все остальные караульные были в горах. Ближайший запасный полк находился в Нальчике, т. е. примерно в двух часах езды от нас. Бригады возвращались с трассы в разные часы, и первая из них, разоружив при входе своего охранника и часового у ворот, могла затем с двумя винтовками овладеть всем лагерем с его запасами оружия и продовольствия. Затем, вооружившись, бригада должна была двинуться в горы навстречу другим бригадам, чтобы помочь и их освобождению. После того мы собирались идти к фронту и сдаться немцам в плен, а если бы нам это почему-нибудь не удалось, — стать партизанами.

План разрабатывался тщательно и осторожно, но всё-таки осуществить его не удалось. На этот раз мы, несомненно, были преданы.

### **От Нальчика до Алма Ата**

Я до сих пор не знаю, как и когда начальству лагеря стало известно о побеге. Во всяком случае, оно сделало всё для того, чтобы ничем себя не обнаружить и дать плану созреть. Удар был нанесен в последнюю минуту, когда никто из нас его не ожидал.

Утро назначенного для побега дня прошло спокойно. Всё было, как обыкновенно: подъем при свете месяца, завтрак, развод и долгий, утомительный путь на работу в горы. Наряды были те же, что всегда: один охранник на бригаду. Словом, как зорко ни присматривались мы в то утро к нашему начальству, мы не могли заметить ничего, что дало бы нам повод для тревоги.

Аресты начались перед обедом и кончились к шести часам, т. е. к тому моменту, когда должны были вернуться в лагерь первые бригады. Участники готовившегося побега были арестованы по-одиночке или небольшими группами чекистами, приехавшими, видимо, из Нальчика. Вечером заключенных выстроили на лагерном дворе. Наш комендант прочел краткий приказ. Затем раздался залп... Было расстреляно больше половины заговорщиков — повидимому, все, кого успел узнать предатель.

Эта кровавая расправа явилась заключительной страницей нашей жизни в горном лагере. Спустя несколько дней (15-го ноября, 41-го года) последовал приказ: всем спешно собираться и готовиться в большой поход. Нам выдали по пятисот грамм хлеба и по две вареных картофелины. С этим запасом продовольствия мы и проделали пешком путь до Нальчика — свыше пятидесяти километров. Больше всего нас мучило на этот раз отсутствие одежды и хорошей обуви. Идти пришлось всё время по камням, и многие до крови сбили себе ноги. А отставать нельзя было ни на минуту. Как только заключенный останавливался, охранники стреляли без предупреждения. Пока мы добрались до Нальчика, они убили не меньше тридцати человек.

Спустя три дня мы оказались в городской тюрьме в Баку и просидели там шесть суток. На седьмой день утром нас вывели на тюремный двор и приказали всем раздеться донага. Начался обыск. На улице в тот день было шесть градусов мороза. Пока охранники обшаривали каждый шов нашей одежды, мы, совершенно голые, должны были стоять на ледяной земле. Как только обыск кончился, нас отвезли в Бакинский порт и посадили в трюм старого маленького пароходика. Так началось наше морское путешествие, которого я тоже никогда не забуду.

В то время, как обычный пассажирский пароход пересекает Каспий (от Баку до Красноводска) за два дня, у нас эта дорога заняла целых четверо суток. Грязь, вонь и теснота в трюме были неописуемые. А море, как на зло, всё время было неспокойное, и многие из нас в первый же день почувствовали себя плохо от морской болезни. Каждое утро в трюм спускалось несколько охранников и забирали тяжело больных и мертвых. Позднее мы узнали, что тех и других бросали в море. Еще живыми были сброшены за борт шестидесятилетний старик Рудзиньс из Риги и бывший дворник городского рынка в Риге, фамилии которого я не могу сейчас припомнить. Море было могилою не только мертвых и больных, но так же тех, кто пробовал протестовать против зверского обращения с нами. Им

связывали проволокой руки за спиной и клали вниз лицом на палубу у самого борта. Только один из них вернулся в трюм, все остальные были смыты морем.

По вечерам к нам в трюм спускалась целая орава караульных с начальником этапа во главе. Они всегда были пьяны до бесчувствия. Последним появлялся гармонист. Хотя и без того мы задыхались в тесноте, начальник отдавал приказ — посторониться и очистить круг посередине трюма. Потом он доставал кусок черного хлеба и предлагал нам танцевать за этот хлеб лезгинку. Охотников, конечно, находилось мало; плясали иногда только цыгане.

Все эти дни мы жили смутною надеждою на то, что в Красноводске наше путешествие окончится. Но эти ожидания не оправдались. Прямо из трюма парохода нас пересадили в поезд и повезли куда-то дальше на восток. Как раз в это время началась зима — страшная, памятная всем зима 41-го года, с ее невыносимыми морозами. К нашим бесчисленным врагам — голоду, жажде, насекомым, издевательствам начальства — прибавился еще один неумолимый враг. Даже мысли о пище постепенно отступили на второе место. Теперь мы думали прежде всего о том, как нам укрыться от мороза.

В десятых числах декабря наш эшелон остановился в Омске. И здесь, когда поезд начали разгружать от мертвых и живых, мы сделали ужасное открытие. Оказалось, что последние вагоны нашего состава были заняты женщинами-заклученными. Где и когда их посадили в поезд, мы не имели представления. Но одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что они проделали всё это путешествие в тех же условиях, как и мы. Вид этих женщин сразу заставил нас забыть собственные мучения. На многих не было даже пальто; их заменяли старые платки или, еще хуже, — мешки, которыми они старались кое-как прикрыть плечи и головы. Другие кутались в какие-то лохмотья, похожие на одеяла. Юбки и кофточки на всех были изодраны до того, что в дыры просвечивало тело, а на ногах, вместо ботинок, были намотаны мешки и тряпки, перевязанные крест-накрест веревками, словно онучи. Что-то до ужаса беспомощное, незащитное было в этих полуобнаженных женщинах, сбившихся в кучу возле стен вагонов. Они дрожали от мороза и прижимались спинами друг к другу. Лица у всех были иссиня-белые, с запавшими щеками и глазами. Ни капли жизни не было в этих глазах! Помню, как я подумал вдруг: да видят ли еще эти глаза хоть что-нибудь?

У ног живых лежали прямо на снегу мертвые и больные.

Мы сразу заметили, что мертвых у них было больше, чем у нас. Так мы стояли против них в оцепенении час или полтора. Потом всех их, — живых, и мертвых, и полуживых, — стали грузить в автомобили и куда-то повезли.

Мы ждали, что нас тоже отвезут куда-нибудь в тюрьму, которая уже давно стала нашей мечтой, но нас оставили на станции в больших нетопленных бараках. Мы провели в них двое суток без воды и пищи и за это время лишь в одном нашем бараке умерло человек 25-30. Оставшиеся раздевали мертвецов и обряжались в их лохмотья. От непередаваемых душевных и телесных мук люди стали сходить с ума. В этом бараке помещался на моих глазах известный в своё время на всю Латвию доктор Зальюмс.

На третий день стало известно, что Омск нас «не принял», и что мы должны отправиться куда-то дальше, чуть не в Среднюю Азию. Нас охватило совершенное отчаяние. Мы были уверены, что не переживем нового путешествия. Но в тот же вечер мы уже опять сидели в поезде.

Морозы все усиливались, и усиливались наши муки от холода, голода и дикого произвола надзирателей. Иногда нам выдавали по куску черного хлеба, иногда мы не получали ничего. Воду же приносили очень редко и почему-то обязательно в бочках из-под сельдей. После такой воды еще больше хотелось пить. Охранники на этот раз были особенно жестоки и безжалостны. В пути они придумали себе новое развлечение. На станции вдруг открывались двери вагона и раздавался голос караульного:

— Кто хочет хлеба? Выходи!

В первые дни, когда мы еще не могли сообразить, что это — жуткая забава дикарей, мы все бежали к выходу и прыгали на снег. Охранники встречали нас штыками и прикладами.

— Хлеба захотели? А штыка?...

В конце концов мы совершенно перестали понимать, когда нам, в самом деле, можно было получить паек и когда нас вызывали только для того, чтобы поиздеваться. Многие заключенные, в особенности старики, предпочитали вовсе отказаться от куска черствого хлеба, в котором заключалась вся их жизнь, и умереть от голода, чем от побоев. Избитых уносили в последний вагон, откуда уже никогда, никто не возвращался.

Помню: в то время мне казалось, что предел страдания достигнут и что ничего ужаснее этого путешествия на свете быть не может. Как я ошибался! Всё это было лишь преддверием ада: ад ждал нас впереди.

Нам оставалось километров 25 до города Алма Ата, когда на станции Илиново нас неожиданно вывели из вагонов и снова разместили по баракам<sup>1</sup>. Шесть дней мы провели в этих бараках взаперти, а на седьмой нас выстроили на дворе, и мы увидели перед собой какого-то чекиста, увешанного орденами и медалями. Он объявил нам, что мы отправляемся в дальний поход. Каждому тут же выдали по килограмму хлеба, по банке консервированного гороха и по котелку рисовой каши. Это похоже было на волшебный сон! Чекисты советовали нам не есть все сразу, чтобы не заболеть. Затем нас разделили на две больших партии, и первая отправилась в дорогу сразу после завтрака. Группа, в которой находился я, вышла на следующий день. Охранники сказали, что итти придется около семидесяти километров. Когда один из заключенных осмелился спросить, как быть тем, кому не под силу такой длинный путь, начальник нашего этапа коротко ответил:

— Скоро сам увидишь что с ними будет.

Когда мы покидали лагерь, в нашей колонне было около тысячи человек. Мы шли шеренгами по-пятеро, поддерживая слабых и больных. По обе стороны колонны двигалась охрана. Нам сразу бросилось в глаза, что караульные на этот раз идут с винтовками наперевес, а не несут их, как обычно, на плече.

Каждый из нас охвачен был только одним желанием, одной и той же мыслью: во что бы то ни стало продержаться до конца и не отстать. Но сил, после всего того, что нам уже пришлось перенести, конечно, не было ни у кого. Не прошло и часу, как упал первый заключенный. К нему тотчас же подскочили несколько охранников и прикололи его на наших глазах штыками. Смысл зловещих слов, брошенных начальником этапа, стал ясен. Охране, видимо, было приказано не тратить на нас патронов. Спустя краткое время жуткая сцена повторилась с той только разницей, что упавший был на этот раз добит прикладами.

А путь становился все труднее. Скоро мы подошли к болоту, поросшему редким кустарником. Оно было покрыто льдом, но кое-где на льду виднелись проталины. Последовал приказ: остановиться на привал. Охранники бегали по колонне, отбирая слабых и больных. Их отвели куда-то в арьергард. Затем нам велено было двигаться дальше. Стараясь обойти прота-

---

<sup>1</sup> Здесь явная ошибка. Рассказчик, очевидно, имеет в виду станцию Или (Илийск), находящуюся на дороге Омск-Алма Ата.  
— Н. В.

лины, люди порою выходили из колонны. Им моментально разбивали голову прикладом.

Под вечер я стал чувствовать, что силы изменяют мне. Меня мало помалу охватило чувство странного безразличия ко всему на свете. Я еще слышал брань и крики охранников, звуки ударов, стоны умирающих. Но все это проходило как-то мимо моего сознания. Я двигался подобно механизму, переставляя по снегу отекие и окровавленные ноги, как колоды. Земля тянула меня, как магнит. Потом все помутилось у меня в глазах и в тот же миг мое сознание погасло...

### В землянке у азиатов

Я очнулся в какой-то темной и дымной землянке. Над головой моей был низкий закоптевший потолок. Я попытался приподняться и — не мог: не было сил. Все тело ныло и пылало, как в огне. Минуты три я пролежал с закрытыми глазами, потом снова принялся изучать мое жилище. Я убедился, что я лежу в углу землянки, где расстояние между потолком и полом не больше метра. Потолок косо приподнимался к двери, над которой находилось круглое отверстие, повидимому, заменявшее окошко. Ни мебели, ни посуды, — в нашем понимании этих вещей, — я не заметил. И всё таки землянка несомненно была обитаема. На это мне указывали: груда старой, рваной одежды, сложенной в углу, и специфический жилой запах в этом странном помещении. На земляном полу среди камней дымился небольшой костер; тонкая струйка дыма уходила в круглое отверстие над дверью.

Пока я всё это рассматривал, низкая дверь открылась и вошла или, лучше сказать, вползла женщина-азиатка. Она была уже не молода, с очень смуглым, почти черным монгольским лицом. Она молча подбросила в костер несколько веток, подула на него и, приподнявшись, посмотрела в мою сторону. Заметив, что я лежу с открытыми глазами, она тотчас же подошла ко мне и на едва понятном русском языке спросила, как я себя чувствую. Я отвечал, что плохо и попросил напиток. Она согрела на костре воды и подала ее мне в закоптевшей банке. Потом она уселась около меня и принялась рассказывать всё по-порядку.

Я с удивлением узнал, что нахожусь здесь уже третьи сутки. Вместе со многими другими заключенными, я был подобран на дороге азиатами и принесен сюда. Всё это время я не приходил в сознание.

— Я ранен? — спросил я у нее.

— Нет, ты не ранен... Один ты изо всех.

Это еще больше удивило меня. Я замолчал, стараясь собрать в памяти события последних дней и уяснить всё, что со мной произошло. Но память плохо подчинялась мне. Позднее я не раз думал о том, каким чудом мне удалось спастись в тот вечер на болоте и находил только один ответ: повидимому, в наступившей темноте охрана не заметила, как я упал, а может быть, сочла просто за мертвого.

— Где же мои товарищи? — принялся я спрашивать женщину.

— Там, — указала она на дверь.

— Где «там»?

— В другой землянке.

— А почему я здесь?

Тогда она сказала мне, что все мои товарищи умерли в первые два дня от ран, и их тела лежат теперь в другой землянке, заменяющей сарай. Я стал просить ее свести меня туда. Она долго отказывалась, но в конце концов всё-таки уступила. Собрав все силы, я, с помощью женщины поднялся и побрел к сараю. Женщина отворила дверь землянки, и передо мной открылось совершенно непередаваемое зрелище.

«Сарай» наполовину был набит трупами заключенных. У большинства из них были разбиты головы прикладами, тела других страшно исколоты штыками. Должно быть, азиаты пробовали оказать несчастным помощь: раны были заматаны обрывками одежды и цветными тряпками, которые я видел на полу землянки. На тряпках, на одежде, на полу сарая чернели пятна крови. Больше всего я был потрясен тем, что среди убитых были также и женщины. У них, так же, как у мужчин, были исколоты штыками груди и спины и разбиты головы. Хотя в сарае было холодно, как на дворе, тела уже начали разлагаться, и в помещении стоял невыносимый смрад.

От этого зрелища или от слабости я снова потерял сознание. Оно вернулось ко мне окончательно только на следующий день. Очнувшись, я увидел прямо над собой... чекиста! Он пристально, с любопытством наблюдал за мною. Мне показалось, что я всё еще брежу, и я опять закрыл глаза.

— Ну, как дела? — громко спросил чекист.

— Плохо, — ответил я.

— Врешь! — оборвал он. — Ничего не плохо.

Я молчал.

— Живуч же ты! — насмешливо сказал он. — Как кошка.

Я снова ничего не ответил.

— Ладно, — проговорил он, — живи, если живуч. Счастье твое.

Он повернулся к женщине и стал ей что-то громко и сердито объяснять на местном языке. Я наблюдал за ними, стараясь угадать свою судьбу по выражению их лиц. Но эти лица ровно ничего мне не говорили. Потом чекист снова повернулся в мою сторону.

— Ты останешься пока здесь, — сказал он. — Смотри, не вздумай у меня бежать. Поймаем — сразу к стенке. От нас тут далеко не убежишь.

Я и сам знал отлично, что бежать тут некуда и потому решил спокойно покориться своей участи. К тому же я еще был очень слаб и, разумеется, не мог даже мечтать ни о каком побеге. Своим спасением я был обязан азиатке. Она ходила за мной, словно за ребенком, пока не убедилась в том, что силы возвратились ко мне окончательно.

Заботы этой женщины порою трогали меня до слез. Уже не первый раз мне приходилось наблюдать глубокое сочувствие к нашей судьбе со стороны народов, с которыми мы сталкивались в наших бесконечных странствиях по СССР. Когда мы проехали по России, русские женщины и даже дети, с риском для жизни, совали нам в вагоны хлеб и воду. В горах Кавказа ингуши, чеченцы и абхазцы укрывали наших беглецов. И вот теперь, за тысячи верст от родного дома, где-то в воротах Азии, мы неожиданно опять нашли союзника. И в ком? В народе, самое существование которого было для нас открытием! Так совершалось постепенно наше «политическое воспитание». Но это было не то воспитание, ради которого мы были посланы в концлагеря. День ото дня мы убеждались в том, что нашим истинным врагом являются не русские, не украинцы, не кавказцы и не какой-нибудь другой народ вообще, а люди, покоровившие себе и русских, и кавказцев, и вот этих азиатов, с которыми я теперь жил.

Лишь через две недели я встал на ноги и мог снова приниматься за работу. Тот же чекист, еще раз приехавший к нам в землянку, назначил меня старшим пастухом отары, в которой было семь тысяч овец. Я получил в своё распоряжение верблюда и старое охотничье ружье — на случай нападения волков на стадо. Потом чекист отвез меня куда-то в степь и указал мне на землянку вроде той, в которой он нашел меня.

— Влезай туда и оставайся с пастухами, — приказал он мне. — Тебе тут будет лучше, чем твоим друзьям в рабочем лагере.

С этим я тоже был вполне согласен и поспешил нырнуть в землянку. В ней оказались люди. Я стал им объяснять, кто я такой, но они плохо понимали мою речь. Тогда из груды одеял, лежавших на полу, поднялась женщина, которую я в первую минуту не заметил. Она была по виду тоже азиаткой, но говорила так же хорошо по-русски, как и на местном языке. Пока она переводила мой рассказ, я с возрастающим изумлением приглядывался к ней. Мне сразу бросилось в глаза несоответствие между ее костюмом и ее интеллигентной речью. Она происходила несомненно из другого круга, чем все остальные обитатели землянки. В конце беседы я спросил ее об этом. Она спокойно улыбнулась и ответила:

— Мы с вами друзья по несчастью. Я выслана сюда по политической статье.

— Откуда?

— Из Алма Ата.

— Что же вы тут делаете?

— А вот готовлю пищу пастухам и помогаю им в работе.

И, помолчав, добавила:

— Они славные люди, хотя и грубоватые немного. Я думаю, вам будет здесь неплохо.

Она была права. Недели, проведенные в этой землянке, были действительно самым счастливым временем моей жизни в «стране социализма». Забота и внимание, которыми эти простые люди окружали женщину, присланную сюда с клеймом «врага народа», лучше всего, конечно, говорили о их политических симпатиях. Советская власть научила их молчать, как всех, кого она поработила. Но их молчание было красноречивей слов. Советская ложь о «культурной революции окраин» предстала здесь передо мной во всем ее бесстыдстве. Люди, с которыми я жил, в культурном отношении стояли ниже дикарей. Кусок простого мыла представлялся им верхом цивилизации, а радио и фотоаппарат — какой-то сказкой. О множестве вещей, давно уже вошедших в быт других народов, они по-просту не имели представления.

Всё это отчасти я мог видеть сам, а отчасти узнал от женщины, которая жила с нами в землянке. Мы очень подружались с ней и для нас обоих были настоящим счастьем наши долгие беседы у костра землянки. Но никакое «счастье» не бывает в заключении долговечным. Однажды вечером я увидел в степи верблюда, который мчался во весь дух к нашей землянке. На нем сидел знакомый мне чекист. Спрыгнув со своего

«коня», он подошел прямо ко мне и развернул какую-то бумагу.

Ты латыш?

Латыш, — ответил я, предчувствуя недоброе.

Сейчас же собирайся и айда со мною!

У меня упало сердце.

— Куда?

— Увидишь сам, куда. Приказано собрать всех латышей.

Он криво усмехнулся и добавил:

— Кончилась, брат, твоя житуха. Придется тебе снова топтать в лагерь.

Спустя десять минут я уже ехал степью впереди чекиста. Когда мы поднимались на пригорок, я на минуту придержал верблюда и взглянул назад. Там, у дверей землянки, все еще стояла женщина. Заметив, что я обернулся, она раз или два взмахнула в воздухе пестрым платком. Невыносимая тоска сжала мне сердце. Я отвернулся...

## Ад

В двадцатых числах января 42-го года, едва ли не последним, я приехал в сборный лагерь, куда согнали из окрестностей всех латышей, общим числом до пяти тысяч. Здесь я опять встретил многих своих друзей. Они смотрели на меня, как на воскресшего из мертвых. Я был единственным свидетелем событий, разыгравшихся в степи после того, как наш этап прошел по ней. Как ни привычны были мы к тупой, незнающей границ жестокости большевиков, всё же я мог заметить, что мой рассказ о судьбе наших товарищей, оставшихся в степи, произвел на всех ошеломляющее впечатление.

Нам объявили, что нас отправляют в Свердловск на Урале, и 27-го января мы тронулись в путь. То, что нас отделили ото всех прочих заключенных и везут назад — загло наши сердца надеждой. Одно время по лагерю распространился даже такой слух, что нас везут в Свердловск, чтобы освободить. Но первые же дни нового путешествия разбили все эти надежды. Всё было совершенно так же, как и прежде: седой от инея товарный состав с вагонами-мертвецкими в хвосте, 200 грамм хлеба в сутки, вода в бочках из-под сельдей, вши, крики сумасшедших, стоны умирающих. Только в начале марта, в трескучий пятидесятиградусный мороз поезд остановился на товарной станции Свердловска и нас стали выводить и выносить из вагонов, которых мы не покидали пять с половиною недель.

В лесу, недалеко от авиационного завода, были раскинуты

палатки, обнесенные колючей проволокой. Внутри палаток, так же, как снаружи, лежал слой снега толщиной в метр. Нам заявили, что мы проведем здесь только день — пока не побываем в бане и не пройдем «санобработку». Мы кое-как расчистили палатки и, сбившись словно овцы, в кучу, простояли всю ночь на ногах. К утру один из заключенных — Пасглитыс из Риги — оказался мертвым.

На следующий день после обеда нас погнали в баню. Мы простояли на морозе пять часов и вернулись в те же самые палатки, потому что баня оказалась занята солдатами. Лишь на восьмые сутки мы прошли «санобработку» и попали в новые палатки с нарами для сна и с небольшими жестяными печками. Четырнадцать дней после этого мы «отдыхали» и готовились к работе. Потом нас разделили на бригады. Все, кто имел какую-нибудь специальность — плотники, кузнецы, электрики и пр. — попали на завод, а остальных отправили на лесоразработки и рытье канала. В числе последних был и я.

Работа на канале была необыкновенно тяжела. Промерзшая на два метра земля не поддавалась ни лопате, ни кирке, ни лому. А нормы выработки, как всегда, были очень высокие. Не выполнить их — значило попасть в число «срывщиков производственного плана». Питание «срывщиков» было настолько плохо, что редко кто мог продержаться на нем больше двух недель и не скатиться в следующую, еще более низкую категорию — «доходяг». У доходяг была уже только одна дорога — в братскую могилу.

Эта могила, находившаяся тут же, на опушке леса, никогда не зарывалась. Обязанности похоронщиков несли в лагере те же доходяги. Каждое утро они впрягались в сани и медленно тащили их по лагерю. Возле палаток, прямо на снегу, лежали мертвые и тяжело больные. Доходяги стаскивали с мертвецов одежду, складывали трупы в сани и так же медленно везли их на опушку леса. Тяжело нагруженные сани утопали в глубоком снегу, заледеневшие тела соскальзывали вниз, доходяги с бранью и проклятиями начинали снова громоздить их друг на друга, ломая скорченные руки и ноги мертвецов. Добравшись до опушки, доходяги тщательно укладывали тела в братскую могилу (приказ начальства — экономить место) и возвращались с санками за новой партией. Так они целый день и ездили между могилой и палатками. В среднем, за сутки они хоронили 60-70 человек. Когда ряд был готов, его легонько присыпали сверху снегом и сейчас же начинали новый.

Больным строжайше запрещалось оставаться днем в па-

латках. Они должны были лежать у входа на снегу или же (если у них хватало сил туда добраться) в «лазарете», т. е. в одной из нетопленных палаток, вроде тех, в каких мы жили первую неделю.

Вообще, в этом лагере все было сделано так, чтобы наша жизнь была как можно более невыносимой. Рабочие бригады возвращались в лагерь в разные часы. Но прежде чем возле ворот не соберутся все, в лагерь не впускали никого. Поэтому бывало так, что возвратившись в пять часов, мы стояли на морозе до семи-восьми, пока не подойдут все остальные. Стоять при этом нужно было обязательно в строю. Даже и самые выносливые заключенные в эти часы нередко плакали, как дети. Ужин мы тоже получали вместе. Но, для того, чтобы раздать его восьми тысячам человек, поварам требовалось не меньше трех, а то и четырех часов. Все это время мы стояли в очереди на морозе. Иногда только к полуночи мы попадали, наконец, в свои палатки. А на рассвете уже снова нужно было подниматься.

Ко всему этому добавлялось издевательство начальства.

Нигде с нами не обходились так бесчеловечно, как в этом лагере. За самую малейшую провинность, за любую просьбу нас били револьверами, прикладами винтовок, палками и просто чем попало. У охранников этого лагеря был свой излюбленный прием: бить деревянной палкой по шейному позвонку. Обычно одного подобного удара было достаточно, чтобы покончить с человеком.

Вскоре после приезда в этот лагерь на меня обрушилось большое горе: умер мой самый близкий друг, Алоиз Романис. Его похоронили, как и всех, в братской могиле на опушке леса. В то утро, когда доходяги везли его, заледеневшего, к могиле, я, глотая слезы, долбил киркой мерзлую землю на канале.

С этой потерей во мне как будто что-то надломилось, и жизнь стала казаться мне совсем невыносимой. Голод, холод, побои, надругательство охранников — всё это слилось в какой-то жуткий, непередаваемый кошмар. Четыре с половиной месяца длился этот кошмар. Неудивительно, что к середине лета, когда в нашей судьбе вдруг наступил глубокий перелом, нас, латышей, из пяти тысяч оставалось только двести пятьдесят. Небритые, обросшие, худые, в гнойной, кишасей насекомых одежде, мы ходили больше на зверей, чем на людей. За все эти четыре с половиной месяца мы не были ни разу в бане и ни разу не сменили нижнего белья. Если на свете, в самом деле, существует ад, то я могу сказать, что видел его.

Но вот, в конце мая или в июне, пошли по лагерю слухи о том, что где-то «наверху», чуть даже не в самой Москве, узнали «всё» о нашем лагере, и что скоро всё наше начальство «полетит». Ждали какую-то комиссию. Слухи, как будто, подтверждались: 19-го июня вышел приказ, запрещающий бить заключенных, стало немного улучшаться и питание. И наконец — самое удивительное: — в лагерь действительно явилась какая-то «московская» комиссия. Мы, затаив дыхание, ждали, что будет дальше. Но прошла неделя, две, а никаких дальнейших изменений не происходило, и всё наше начальство оставалось на своих местах. А затем случилось то, чего никто из нас не ожидал.

В один прекрасный день нас выстроили посреди двора, и мы увидели перед собою самого начальника комиссии. Он заявил, что будет говорить с нами «по поручению самой Москвы». Суть его речи состояла в следующем:

За время жизни в лагере мы могли убедиться в том, что партия и советское правительство не мстят преступнику, как это происходит в буржуазных странах, а всячески стараются его исправить. В СССР даже закоренелый «враг народа» может опять стать полноправным гражданином, если «сумеет показать на деле», что он достоин этого. Эта возможность представляется сейчас и нам. Все знают, что СССР ведет тяжёлую войну с Германией, которая мечтает превратить весь мир (и в том числе, конечно, Латвию) в свою колонию. Наш долг — помочь советскому народу в этой борьбе. Каждый из нас, кто «кровью смое с себя преступление» (какое — этого никто из нас не знал), может рассчитывать на полное прощение после победы над врагом.

Мы слушали и не верили своим ушам. Мы решили, что всё это должно быть, какая-то новая провокация. Вернее всего, большевики хотят попросту проверить еще раз нашу «преданность» партии и советскому правительству. Но мы уже прошли полный курс политического «перевоспитания», и нас не так легко было поймать. Поэтому, когда начальник предложил выйти вперед тем, кто желает добровольно вступить в армию, вышел весь строй — две сотни человек.

С этой минуты события стали разворачиваться с необыкновенной быстротой. На следующий день здоровых отделили от больных и принялись лечить последних. Затем всех нас постригли, вымыли в бане и выдали белье и форму: политическим — черную, уголовникам — зеленую. В тот-же день почти втрое увеличили паек. 1-го августа нас еще раз подвергли

медицинскому осмотру. Каждому предлагали расписаться в том, что он вступает в армию по доброй воле. После комиссии начальник пожимал нам руки, улыбался и поздравлял с началом новой жизни. Мы тоже улыбались и думали про себя: «Эх, встретиться бы нам с тобой на фронте!»

### «Не забывай этого никогда»

Пятого августа 1942-го года, в числе полтора года «добровольцев», я покинул лагерь смерти под Свердловском. Вечером, накануне нашего отъезда, я пошел проститься с теми, кто остался в этом лагере навек. Ни крест, ни холм — ничто не отмечало места, где наши себе последнее упокоение почти пять тысяч моих соплеменников. Над желтой глиной уже начинала пробиваться молодая сочная трава. Пройдут еще год или два, и даже мы, пожалуй, не сумеем указать, где хоронили наших братьев. «Сколько таких могил рассеяно в степях и дебрях сталинской России? — думал я. — И неужели люди никогда даже не будут знать о них?»

На утро мы покинули Свердловск. Поезд повез нас в глубину Уральских гор. Там, на глухой станции Исеть нас высадили и отвели еще за несколько верст от местечка в лес. «Вот тут и будем жить пока», — сказал начальник, останавливаясь на поляне. Мы получили две больших брезентовых палатки и в тот же день устроились в них очень хорошо, даже с уютом.

Так началась для нас новая «вольная» жизнь. Кроме начальника отряда, о котором все мы знали, что он из чекистов, никакой другой охраны с нами не было. Вся наша работа состояла в собирании грибов и ягод, которые мы каждый день сдавали в местный кооператив. В обмен мы получали хлеб, рыбу, овощи, просо. После всего того, что нам пришлось перенести, лучшей жизни мы не могли себе вообразить. Никто не знал, конечно, сколько она будет продолжаться, но пока нам было хорошо. А в будущее мы старались не заглядывать.

Прошло недели две. И вот однажды мне, в порядке очереди, пришлось нести бруснику в кооператив. Когда я уже собирался уходить, начальник поманил меня к себе в палатку и подал мне большой пакет с сургучными печатями.

— Когда пойдешь назад, — сказал он, — занесешь это письмо в лагерь. Знаешь, где он находится?

— Знаю, — ответил я.

— Ну и отлично. Товарищам о поручении не говори: дело военное.

Я вышел от него в страшном волнении. Лагерь, куда он посылал меня, пользовался у нас нелестной славой. В лесу, как раз на полпути между станцией Исеть и нашими палатками, стояло несколько барачков, обнесенных плотным и высоким досчатым забором. Что было за забором — этого никто толком не знал, но жители местечка в первые же дни сказали нам, что лагерь называется штрафным. С тех пор мы стали думать, что нас поселили в этом месте вовсе не случайно: соседство лагеря, к тому же еще и штрафного, подогревало наш «патриотизм» гораздо больше, чем что бы то ни было другое.

Легко понять, с какими чувствами я шел туда. Бог знает, что было в пакете, запечатанном сургучными печатями. Не провинился ли я чем-нибудь и не веду ли снова сам себя за проволоку? Эта мысль не оставляла меня всю дорогу. Уже вечерело, когда я постучал в ворота лагеря. Часовой, принявший мой пакет, долго разглядывал печати, потом отворил калитку и указал мне на барак, стоявший в глубине двора. Всё больше удивляясь и волнуясь, я направился туда. Двор показался мне совсем безлюдным. «Неужели еще на работе все? — подумал я. — Или ужинают в бараках?» Я подошел к приземистому зданию с вывеской — «комендатура» — и толкнул дверь. Передо мной открылся полутемный корридор из глубины которого навстречу мне шел человек в чекистской форме. Он быстро, профессиональным взглядом, осмотрел мой странный «военный» костюм и, взяв пакет, велел ждать у дверей. Моя тревога возросла до крайности. Я весь дрожал, как в лихорадке. «Вот он уже прочел письмо, — думалось мне. — Вот возвращается, чтобы арестовать меня». Еще мгновение и я, пожалуй, бросился бы из барака, не сознавая сам, куда и почему бегу. Но чекист уже снова стоял передо мной.

— Вот вам расписка, — сухо произнес он, подавая мне какую-то бумагу, — а вот пропуск на выход. Вы найдете выход или вас проводить?

— Спасибо, я найду, — поспешил ответить я. — Счастливого оставаться.

Я, кажется не шел, а что называется, летел на крыльях. И так, с разбега, за углом барака наскочил... на группу ребятшек, сидевших на земле возле завалинки. Сначала я не поверил собственным глазам. Дети в штрафлагере! Но еще больше поразил меня вид этих детей. Таких худых, пепельно-серых лиц, таких тоненьких рук и ног, таких огромных глаз я не видал ни разу в жизни. А ведь я многое видел в своей жизни. Или передо мной и в самом деле были тени, а не люди? Во

всяком случае, на первый взгляд, их можно было считать за призраки.

Первым молчание нарушил старший из детей, мальчик лет десяти или одиннадцати.

— Дяденька, — спросил он ровным, хрипловатым голосом, — дяденька, ты тоже солдат?

— Солдат, — ответил я. — А ты кто будешь?

— Я — Алешка.

— А что ты тут делаешь, Алеша?

— Ничего. Просто живу.

— С кем?

— Ни с кем... Вот с ними, — поправился он, указав мне на товарищей.

— Давно?

— Давно-о, — даже как бы с оттенком гордости протянул малыш. — Наверно, с год.

— А как ты сюда попал?

— Солдаты привезли. Взяли от папы с мамой и привезли.

В одну секунду мне все стало ясно. Так вот где они были, — дети, отнятые чекистами у «врагов народа», дети, по которым убивались в лагерях и в тюрьмах родители! Не думал я, что мне когда-нибудь придется повстречать этих детей. И где? В штрафном концлагере, в самой глуши Урала!

— Ты русский? — спросил я ребенка.

— Русский.

— Откуда?

— Из Москвы.

— А латыши среди вас есть?

— Латыши? Не знаю.

В эту минуту с земли поднялся мальчик лет восьми, такой же худенький и изможденный, как все, и на латышском языке спросил:

— Дядя, а вы латыш?

— Латыш.

Ребенок бросился ко мне, словно к отцу, схватил меня за обе руки и, обливаясь слезами, быстро, по-латышски принялся умолять:

— Пожалуйста, пожалуйста, скажи моему папе, что я его здесь жду. Пусть он придет и возьмет меня отсюда. Я так давно его тут жду.

— Где же твой папа?

— В Риге.

— А почему ты здесь один?

— Не знаю. Сначала мы ехали вместе: мама, папа, я и Бирутынъ...

— Кто это — Бирутынъ?

— Бирут, сестра... Потом меня забрали почему-то из вагона и привезли сюда. Я думаю, что папа с мамой уже дома. Как ты думаешь, дядя, они вернулись в Ригу?

— Конечно, вернулись, — сказал я, глотая слезы. — А как твоя фамилия?

— Берзныш. Елмарс Берзныш.

— Есть тут другие латыши?

— Много.

Действительно, к нам подошел еще один мальчик-латыш и так же сбивчиво и торопливо стал рассказывать мне о себе. Из его рассказа я мог заключить только одно: несчастных малышей везли сюда почти так же, как нас. С расширившимися от ужаса глазами, мальчик рассказывал, как в поезде от голода, холода и жажды умирали дети. Это было так жутко, что я не выдержал и заплакал.

— Дяденька, почему ты плачешь? — спросил у меня старший. — Тебе, наверно, так же плохо, как и нам?

Я так разволновался, что ничего не мог ответить им. Я лишь поочередно брал их на руки и целовал их худенькие, грязные, залитые слезами лица. Но пора было прощаться. Нас могли увидеть, и тогда всё кончилось бы плохо и для меня и для детей. Заметив, что я собираюсь уходить, Елмарс Берзныш опять схватил меня за гимнастерку и стал умолять:

— Дядечка, милый, не забудь же передать моему папе, что я здесь. Пожалуйста, не забудь.

Я обещал и чуть не бегом бросился прочь от детей...

Две ночи после этого я пролежал в палатке, не смыкая глаз. Что пережил я в эти ночи и какие клятвы я давал, знает лишь Бог. «Не забывай этого никогда, — твердил я про себя, сжимая под шинелью кулаки. Что бы с тобою дальше ни случилось, — никогда не забывай!»

## Побег

В середине сентября нам неожиданно опять устроили врачебный осмотр. На этот раз он был настолько строгим, что из полтора ста человек признали годными к службе только шестерых, включая меня. Как нам ни тяжело было за остающихся, но даже и от них мы не могли скрыть нашей радости. Мысль о том, что фронт — единственный путь к жизни и свободе, не оставляла нас ни на минуту.

Недели две спустя нас отвезли в военный лагерь около Горького. С этого времени мы превратились в бойцов 5-ой роты, 125-го стрелкового полка, Латвийской стрелковой дивизии. Дивизия наполовину состояла из бывших заключенных. Командовал нами некто Борманис, человек с бицепсами боксера и физиономией преступника. Латыш по национальности, он, еще до захвата Латвии большевиками, бежал в СССР, как коммунист.

Нас обучали с утра до ночи и, вместе с тем, вели среди нас лихорадочную пропаганду. Без устали и без конца, как граммофоны, политруки твердили о нашем «священном долге перед родиной» и об освобождении Латвии от «захватчиков-фашистов» и больше всего — о немецких зверствах. Стоит ли говорить, что после всего пережитого нами в стране социализма, это пропаганда отскакивала от нас, как горох от стенки. Я думаю, что если бы политруки взялись доказывать, что дважды два — четыре, мы моментально заключили бы, что дважды два — пять или три. Никто, кажется, не пытался даже вникнуть в смысл того, что говорилось на политзанятиях.

Но вот настал и день отправки на передовую. К вокзалу были поданы товарные вагоны с трехэтажными нарами для спанья. Когда мы погрузились в них, нам объявили, что никто не смеет покидать вагона ни под каким предлогом. «За самовольную отлучку, как за дезертирство — к стенке», говорили командиры. Двери закрыли, и поезд тотчас же отошел.

Вообще, всё это путешествие на фронт удивительно напоминало наши прежние этапы. Вечно голодные, в какой-то необыкновенной «форме», превратившейся за время ученья в настоящие лохмотья, запертые в вагонах, мы походили на кого угодно, но только не на добровольцев, едущих защищать свое отечество. Последние сто километров мы прошли пешком. Осенние дожди, грязь, слякоть, постоянное недоедание и никуда не годная одежда превратили этот переход в мученье. Мы снова начали слабеть, как в лагере. Добыть что-нибудь из съестного сверх того, что выдавалось, было совершенно невозможно. Поля уже стояли убранные, а красть и вовсе было негде. Крестьяне, у которых мы порою останавливались, были беднее нас. Только один раз счастье улыбнулось нам: мы набрели на труп не то убитой, не то павшей лошади. Мы бросились к нему с ножами и в какие-нибудь пять минут разделали его лучше мясников. Даже потроха — и те исчезли в вещевых мешках.

Хуже было с одеждой и с обувью. К концу похода баш-

маки у многих совершенно развалились. Чтобы не итти по грязи босиком, мы наворачивали на ноги бумагу, тряпки, что попало, обвязывали сверху телефонным проводом и в таком виде шли дальше. Так мы подошли к Старой Руссе, возле которой в те дни пролежала первая линия фронта. Мы ждали, что после такого перехода нам дадут передохнуть, оденут и накормят. Но вместо этого, нас повели прямо на линию огня. Об отдыхе никто даже не заикнулся. Нам стало ясно, что ведут нас на убой. Зачем кормить и одевать людей, которых не сегодня-завтра нужно будет хоронить? К счастью, участок фронта, на который нас поставили, был в эти дни спокоен, и мы всё же могли немного отдохнуть.

Штат полевого пункта медицинской помощи (ППМ), куда меня определили, состоял из двух врачей, нескольких санитаров и политрука. Латыш, родом из Ливавы, он, подобно Борманису, бежал из Латвии, как коммунист, и долго жил в Москве. Сперва мы не могли понять, зачем, собственно, нужен комиссар в полевом госпитале. Но он на первой же политбеседе объяснил нам это сам:

— Моя задача, — говорил он, — борьба с симулянтами и дезертирами. Запомните: если будете им потакать, сами пойдете на передовую.

Это был человек такой жестокости, что многие из чекистов, с которыми я сталкивался в лагерях, в сравнении с ним, казались мне невинными младенцами. В других условиях он, несомненно, кончил бы тюрьмой или домом умалишенных. Советская власть предоставила ему возможность «законно» удовлетворить его инстинкты. И он был по-собачьи предан этой власти.

Однажды после перестрелки санитары, вместе с ранеными, привели в блиндаж бойца, который уверял, что отморозил ноги. Врач только что собрался осмотреть его, как появился комиссар и заявил, что он осмотрит сам. С бойца стянули драные ботинки, полные снегом. Комиссар брезгливо двумя пальцами потрогал ногу и сказал:

— Обувайся и немедленно иди в свое подразделение!

— Я не могу, товарищ замполит.

— А я тебе приказываю.

— Да как же так? — с недоумением спрашивал боец. — Велите хоть намазать ноги чем-нибудь или ботинки дайте.

— Я тебе дам сейчас ботинки! — вскипел вдруг комиссар. — Сейчас я тебе дам!

И, повернувшись к санитарам, приказал:

— Выведите его из блиндажа!

Два санитары взяли под руки бойца и повели на улицу. Комиссар вышел за ними. С улицы донеслись до нас обрывки разговора:

— А ну, иди теперь!

— Да не могу же я, товарищ замполит, верите — не могу...

— Последний раз спрашиваю: пойдешь ты или нет?

— Делайте, что хотите, — не пойду!

В морозной тишине сухо и коротко щелкнул выстрел. В блиндаж спустились санитары, белые, как мел. За ними, всовывая в кобуру еще дымящийся «ТТ», шел комиссар...

В другой раз к нам пришел боец с простреленной кистью руки. Пока врач бинтовал ее, комиссар упорно приставал к бойцу с расспросами, как это его ранили, когда на фронте целый день затишье. Боец сначала терпеливо отвечал на все расспросы, потом, — почувствовав, должно быть, к чему клонит политрук, — не выдержал:

— А ты вылезь из блиндажа, да и ступай сам на передовую. Тогда и будешь знать, какое там затишье.

Взбешенный комиссар кинулся к доктору и начал уверять его, что «симулянт» сам прострелил ладонь. Перепуганный врач неохотно подтвердил возможность самострела. Не говоря больше ни слова, комиссар вывел бойца из блиндажа и убил его.

— Дурная трава — с поля вон — спокойно объяснил он нам, входя в блиндаж.

Об этих зверствах знала вся дивизия. Впрочем, наш комиссар не представлял собою исключения: в других подразделениях происходило то же самое. Всё это только укрепляло нас в решении — бежать при первом случае. Раньше других на этот шаг решился Альфред Л. Его рота занимала самую передовую линию, и Альфреду было хорошо известно расположение немцев. Ушел он как-то необыкновенно просто: вечером взял топор, сказал товарищам, что отправляется за хворостом и больше не приходил. Из всех его товарищей только я и Гросманис знали, куда он идет. Недели три спустя мы встретились с Альфредом в лагере военнопленных на немецкой стороне.

Бежал он во-время: на следующий день после его побега дивизию, почти без подготовки, бросили в наступление. Немцы, повидимому, знали о нем раньше, чем мы двинулись на них, и встретили нас убийственным огнем. О силе его можно судить по тому, что в нашей роте, например, после атаки от восьмидесяти человек осталось только шестеро. В этом бою погибли трое из моих друзей по лагерю. В живых остались только я и Кра-

стынш. Вечером, сразу же после атаки, Крастынш зашел ко мне и поманил меня из блиндажа.

— Прощай, — сказал он. — Я сегодня тоже уйду.

— Счастливого пути. Дай Бог тебе успеха.

— А ты?

— При первой же возможности пойду и я.

Мы обнялись. На следующий день мне сообщили, что Крастынш, якобы, убит при попытке «перейти на сторону врага».

Теперь из шестерых, отобранных в своё время на Урале, остался только я: четверо были убиты, один бежал. Как санитару, мне было труднее всех осуществить мое намерение. К тому же в эти дни у нас было много работы, и чувство долга не позволяло мне бросить в такой момент товарищей. Страданиям людей, казалось, не было конца. Запасы перевязочного материала и лекарств были так малы, что после атаки стали быстро истощаться. Нам было приказано строжайше экономить их. Прежде чем перевязывать бойца, я должен был решить, — стоит ли делать это. Если, на мой взгляд, положение было тяжелым, а тем более, безнадежным, — перевязывать не разрешалось. Раненому давали 200 грамм водки, выносили из блиндажа и клали на брезент, укрыв шинелью. Если он продолжал стонать и жаловаться, ему давали еще порцию алкоголя и старались убедить, что рана не опасна и что он только должен лежать спокойно. После второй стопки боец обычно замолкал. Когда поток раненых уменьшался, мы осматривали лежащих на брезенте. Лишь немногие подавали признаки жизни... Я видел многое в «стране социализма», но такого надругательства над человеком, над солдатом, проливающим свою кровь во имя власти, которая превратила его жизнь в подлинный ад, я всё-таки не представлял. Я чувствовал, как слепая ярость заливает моё сердце, и порою мне стоило большого труда сдерживать себя и не всадить пулю в висок кому-нибудь из наших командиров или комиссаров.

Только недели через две я вернулся к мысли о победе. Пополненная дивизия снова готовилась к наступлению. Когда я как-то раз вышел из блиндажа, вся земля дрожала от разрывов: шла артподготовка. Немцы отвечали слабо. И как раз в эту минуту мне сообщили, что где-то на передовой лежат трое раненых. Я доложил врачу. Он приказал мне взять еще одного санитаря и найти этих бойцов. У меня забилося сердце от волнения. «Сегодня или никогда», подумал я.

Через полчаса мы были на передовых позициях. Принялись

расспрашивать, где раненые? Никто толком не знает: одни посылают в одну сторону, другие — в противоположную.

— Да что вы привязались к нам! — прикрикнул на меня один из командиров. — Ищите сами, на то вы и санитары.

Мне только этого и надо было. Как старший санитар, я приказал моему спутнику, который, кстати сказать, оказался большим трусом, ползти по направлению к «ничьей земле». На рукаве у меня была санитарная повязка, и никто, разумеется, не смел нас задержать. Где перебежками, где «по-пластунски», мы добрались до «ничьей земли».

— Теперь ползи ты направо, — приказал я спутнику, — а я налево. Если найдешь их, дай мне знак. Я сделаю то же.

— Да ведь там немцы! — взмолился он.

— Ползи! — с остервенением закричал я.

Он медленно, то и дело озираясь на меня, пополз. Я дал ему скрыться из виду, потом нырнул в какую-то канаву и быстро пополз по ней в сторону немцев. Над головой моей визжали пули, а я всё полз и полз, пока не различил немецкие позиции.

Тогда я отломил ветку с куста, привязал к ней кусок марли и, лежа, стал размахивать этим флажком над головой.

— Komm, komm! — ясно услышал я со стороны немецких линий.

Я поднялся во весь рост и пошел вперед прямо на автоматы, наведенные мне в грудь...

---

## ВОСПОМИНАНИЯ О ШАЛЯПИНЕ\*

Впервые я увидела Федора Ивановича в Тифлисе из окон особняка моих родителей, расположенного у «пяти углов» скрещивающихся улиц. Против наших окон был небольшой домик с балкончиком; девочкой, я любила между делом сидеть у окна и наблюдать за прохожими. Однажды я увидела необыкновенно высокого молодого человека, одетого, несмотря на знойное лето, в длинное, коричневого цвета пальто; нес он большую связку нот и остановился у подъезда этого маленького домика. Очень высокий молодой человек оказался одной вышины с подъездом домика, и это меня весьма насмешило. Почему-то этот «длинный» человек вызвал мои симпатии и я часто поджидала его прихода и ухода из домика.

Наступила осень и я, окончив гимназию, училась пению у профессора Д. А. Усатова в отделении Росс. Муз. Общества. Уроки он давал у себя на дому. Однажды, после урока, Усатов задержал нас, учащихся, предложив послушать нового ученика и прибавил: «Он считает себя баритоном, а по-моему у него «басок». Вскоре открылась дверь и, к моему изумлению, появилась та же «длинная» фигура, так меня заинтересовавшая у наших «пяти углов». Усатов предложил ему спеть, и мы услышали красивый мягкий «басок». После пения Усатов отпустил нас, а «длинному» сказал: «А ты, Федя, оставайся у нас обедать».

Усатов очень любил этого Федю и делал для него всё, что мог: выхлопотал ему ежемесячную субсидию в 10 рублей, — деньги немалые в те времена, и этим обеспечил ему комнату; учил, кормил, поил и по возможности одевал «Федю» он сам. Нового коллегу мы все полюбили; со всеми он был ласков, веселого нрава, а когда улыбался, казалось, что весь светился. Усатов усиленно занимался с нами, он очень любил русских композиторов (Чайковского, Глинку, Даргомыжского он испол-

---

\* Автор этих воспоминаний, В. И. Страхова-Эрманс, проживающая во Франции, является почетным профессором Русской Консерватории в Париже. Ред.

нял изумительно). Пели мы сцены из опер, пели квартеты, трио. Среди зимы Усатов задумал с нами поставить «Севильского Цирюльника»; партию Розины он отдал мне. У него в квартире была устроена сцена, на которой он вел с нами занятия. А когда задуманный спектакль наладился, был снят клубный театр и репетиции начались на сцене. Дон Базилио должен был петь некий Стариченков. Помню темное зальце клуба, за пультом Усатов и оркестр из учеников Музыкального Общества. Мы все, — учащиеся и участники спектакля, — сидели в зале во время репетиции. Вдруг, после первого акта, началось какое-то недоразумение, неожиданно раздался гневный окрик Усатова и резкие ответы Стариченкова; а затем вспоминаю охвативший нас ужас, когда все мы увидели, что Стариченков снимает «балахон» и уходит прочь со сцены. Прошло несколько томительных секунд. Усатов, повернувшись в нашу сторону, спросил: — Федя, ты знаешь Дон Базилио? Федя негромко ответил: Кажется. — А сможешь сейчас репетировать? — Думаю, могу. — Ну, иди на сцену.

И вот наш мачтообразный коллега на сцене. На следующий день Усатовский «Федя» пел в первый раз Дон Базилио. Он обратил на себя внимание публики, и к осени дирекция Тифлисского оперного театра подписала с ним контракт.

Рассказанное мною — первая страничка чудесной сказки о жизни нашего богатыря в искусстве, Федора Шаляпина. Если меня спрашивают: учился Шаляпин петь у Усатова? Отвечаю: да, учился, но наиболее ценное он без учебы получил в дар от Господа Бога. И тем не менее роль Усатова в начальной стадии артистической карьеры Шаляпина огромна, а самое главное, это — «басок», правильное определение Усатова, сохранившее чудесный голос в его естественных границах; к тому же — музыкальная, моральная и материальная помощь в период бедности Шаляпина. Я особенно счастлива засвидетельствовать, как горячо любил Шаляпин Усатова и с какой нежной любовью он всегда вспоминал его. Жене Усатова он до самой ее смерти оказывал денежную помощь и всегда спрашивал домашних, не забыли ли про Марию Петровну?

Шаляпин начал свой оперный сезон в Тифлисе, а я той же осенью уехала в Петербург и поступила в консерваторию в класс профессора Фэрни Джиральдони; мои встречи с Шаляпиным временно оборвались. Кажется через год, мы встретились на Невском. Я еще издали заметила высокую фигуру, пластично двигавшуюся мне навстречу, как бы плывущую — это был Федор Иванович, хорошо уже экипированный. Мы очень обра-

довались встрече, вспоминали прошлое, и он позвал меня послушать его в Панаевском театре, в антрепризе И. Соколова, где он пел в опере «Фра-Дьяволо». Замеченный петербуржцами, Шаляпин из этого театра был приглашен в Мариинский. Однако, в те времена на казенной сцене, как известно, в нем не распознали «Шаляпина», и он выпускался только по воскресным утреникам.

Люди моего поколения хорошо знают и помнят еще, что рядом с «Художественной Драмой» Станиславского, годом раньше, возникла в Москве и заняла свое большое место в истории русского искусства, не менее ценная в художественном смысле, — Частная Русская Опера Мамонтова.

Савва Мамонтов, многогранный по талантам русский самородок, человек большой культуры, был на редкость любителем и ценителем искусства. Это он извлек из библиотечных шкапов, покрытые пылью с 1875 года, гениальные творения Мусоргского и Бородина; он научил ценить красоты «Бориса Годунова», «Хованщины», «Князя Игоря», так же как и «Псковитянку» и «Садко» Римского-Корсакова; это он распознал Федора Шаляпина, уплатил неустойку за нарушение контракта с государственным театром и, изъяв его из казенной, чиновничьей рутины, привлек в свой театр, где в соответствующих условиях распроясился шаляпинский талант во всем своем объеме.

И вот, на эту-то сцену Русской Частной Оперы я попала по окончании консерватории и вошла в основное ядро труппы артистов в момент ее формирования. Мамонтов всегда был окружен выдающимися художниками, музыкантами, среди них Римский-Корсаков, Глазунов, Кюи и, тогда еще совсем молодой, Рахманинов. Все они, и музыканты и художники, смотрели на Мамонтова не как на мецената: он был признанный знаток-ценитель, человек большого вкуса, и его своеобразные замечания всегда ценились и принимались к сведению. Любил Мамонтов и сцену, но «постановщиком», как сейчас это понимают, он не был, да и свободным временем он не всегда располагал, и тем не менее его инициативой и его духовным руководством была пропитана вся основная линия нашего театра. В одном только случае он взял на себя роль активного «постановщика» — в опере «Садко». Знаменитое «торжище» было целиком им обдуманно и поставлено, и получился шедевр: огромная сцена Солодовниковского театра, залитая солнечным светом (Мамонтов был солнцепоклонником), была заполнена торговым людом, именитыми гостями, гусярами, скоморохами, — всё вместе создавало впечатление живого куска Новгородского торжища, а не

театрального зрелища. Ярмарочная деловитость кое-где нарушалась неизбежными ярмарочными развлечениями. В строгое песнопение хора слепых врывается скоморошья песня и шум толпы. Первый спектакль был, в присутствии композитора, нарочито обставлен лучшими силами труппы: Царевну Волхову изящно и тонко пела Забела, певица, не смотревшая даже на дирижера. Садко пел Антон Рожанский — его красивый голос, могучий славянский тенор, звучал изумительно, так мог петь только гусляр, забубенная головушка Садко; в подводном царстве, когда он славил царя, царицу и царевну, он и пением и всем своим образом был великолепен, эпичен и можно было понять, почему морской царевне так полюбился надземный «песельник» Садко. Нежату пела В. Страхова. Любаву превосходно пела Ростовцева. Варяжского же гостя пел Шаляпин. Когда над торжищем поднялся занавес, публика, переполнившая театр, прервала музыкальное вступление и грянула овация... Из литерной ложи показалась клинообразная борода Римского-Корсакова, — овация усилилась. Публика встает, но Николай Андреевич уже на сцене, среди нас (он обожал выходить на вызовы). Музыкальная Москва, вся московская интеллигенция, в приподнятом, праздничном настроении, взволнованно принимает композитора и всех участников спектакля. Но С. И. Мамонтова — нигде не видно...

Кстати отмечу, как на генеральной репетиции «торжища» я убедилась в особой остроте глаза большого художника: во время перерыва репетиции, которая шла очень долго, к варягу-Шаляпину, опиравшемуся до локтя обнаженными руками на свою секиру, из зрительного зала быстро подошел художник В. Серов и говорит ему: «Федя, твои руки слишком женственны и не соответствуют монументальной фигуре и суровой песне. Пойдем к тебе, я подправлю руки», и через несколько минут «варяг» появился с великолепной мускулатурой рук, вполне подходящей к воинственной «песне Варяга».

Авторитет Мамонтова, как художественного критика, а часто и учителя был для нас, артистов, не исключая и Шаляпина, непререкаем. Помнится мне, случалось, у кого-нибудь из артистов, во время репетиции, что-то не ладилось, не удавалось, чувствовалась фальшь, беспомощен оказывался и режиссер и получалась досадная, тягостная задержка. Оба, артист и режиссер, нервничают и чем дальше, всё менее понимают друг друга, репетиция останавливается, и вот, как-то неожиданно, из недр огромного, мрачного, пустого зрительного зала, по лесенке, перекинутой со сцены на перегорожку оркестра, покашливая, к

нам подымался Савва Мамонтов и быстро, словно волшебник, сам перерождался, и артист в его фигуре и позе находил то, что так упорно не удавалось ни ему, ни режиссеру. Случалось это иногда и с вокальной фразой: Мамонтов, бывало, так ее скажет, что засветится новая мысль, мелькнет и зародится новый образ. Артист счастлив, а Мамонтов... по лесенке спускался со сцены и незаметно исчезал из театра.

Будущий историк Русской Частной Оперы Мамонтова не минуемо остановится и на покойном С. Н. Кругликове. Инженер по образованию, огромной эрудиции, музыкант-теоретик, он обладал изысканно-тонким вкусом и, в качестве музыкального критика, своими статьями-фельетонами делал в те времена большое культурно-общественное дело: он просвещал читателя, которого приучал понимать и чувствовать, что «Псковитянка» и «Борис Годунов» отнюдь не хуже «Гугенотов» и «Бал-Маскарада». Его критические статьи в «Новостях Дня», были своего рода явлением, и каждый фельетон был сам по себе, художественным произведением большого мастера. В его лице Русская Частная Опера имела талантливое критика, а Н. А. Римский-Корсаков, обогащавший тогда русскую оперную литературу своими новыми творениями — «Садко», «Царь Салтан», «Царская Невеста» — своего летописца и толкователя. Все эти оперы впервые были поставлены Русской Частной Оперой и стали вытеснять иностранный оперный репертуар; каждая новинка вызывала огромный интерес у публики и в театральном мире: декорации писались выдающимися художниками: Васнецовым, Коровиным, Поленовым и Серовым, и являли собою продукт сотрудничества художника-музыканта с художником-живописцем, которым помогал замысел «негласного» режиссера Саввы Мамонтова.

По окончании мною консерватории, меня в Петербурге молча прослушал и ничего не сказал С. И. Мамонтов, а через 3-4 недели я получила письмо за подписью С. Н. Кругликова, приглашавшее приехать в Москву для получения партий. В письме предлагалось мне остановиться у К. С. Винтер, официальной директриссы Русской Оперы, в Петровском парке, на даче Попова. Мне, провинциальной девице, было страшно поехать к совсем незнакомым людям, и я остановилась на ночь у приятельницы, и только на другой день отправилась в Петровский парк. К. С. Винтер по-московски гостеприимно меня встретила, познакомила с будущими товарищами, и к моему великому удовольствию, и радости сообщила, что членом труппы состоит Федор Иванович Шаляпин, который и живет сейчас у них. По-

сле перерыва — новая встреча, опять его ласковые глаза, чудесная улыбка, и мое трусливое чувство начинающей артистки улеглось. Начались разговоры о партиях в операх «Хованщина», «Борис Годунов», «Садко», «Майская ночь».

С этого времени началась наиболее ценная, насыщенная художественным творчеством жизнь Фодора Ивановича. Своим прекрасным голосом, на редкость чудесной фигурой, пластикой движений (достаточно вспомнить сказочную красоту и как-бы «игру» его рук в партии Олоферна), своим умением по-новому освещать музыку словом, которое тоже было музыкой, он ошеломил театральную Москву, привыкшую к традиционным приемам оперных «героев». Сезон открылся в Каретном ряду, в театре Щукина, так как наш театр в здании Солодовникова не был еще готов (там М. А. Врубель, тоже «открытый» Мамонтовым, писал свой великолепный плафон и занавес).

Великие дары Шаляпина обнаруживались постепенно, возрастая могучей волной, не знавшей, казалось, пределов, особенно в русском репертуаре: в операх: «Хованщина», «Борис Годунов», «Псковитянка», «Вражья сила». Всё великое, таившееся в этом человеке, нашло здесь свой выход, чему в большей степени способствовала и среда, в которую попал Федор Иванович. В центре ее стоял С. И. Мамонтов, окруженный выдающимися людьми искусства, среди которых были Поленов, В. Серов, М. Врубель, С. Кругликов; приезжали иногда Антокольский, Павел Трубецкой, Дягилев, К. Коровин, Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов, Кюи. Вот то общество, в котором Шаляпин вращался в начальные годы своей московской жизни. В такую среду избранников Шаляпин попал впервые, и она не могла не захватить его, жадно ловившего всё интересное и новое. Будет верно, если признать годы, проведенные Шаляпиным у Мамонтова периодом его наивысшего духовного напряжения и великого творчества — качественно и количественно. Это был момент буйного расцвета его гения. Здесь он создал свои гениальные сценические образы, и именно здесь и тогда Федор Иванович стал Ш а л я п и н ы м, одно имя которого так много говорило впоследствии всему миру.

Вспоминаю одну из бесед Шаляпина, у него на квартире, перед постановкой «Бориса Годунова», со знаменитым историком В. О. Ключевским, при которой и я присутствовала. Не пропуская ни одного слова Ключевского, я в то же время не могла оторвать глаз и от Шаляпина, который поглощал слова Ключевского не только ушами, но как бы ловил их и ртом, и мне казалось, что Шаляпин тут же претворяет мысли Ключев-

ского, облакая их в художественную форму для сцены. В. О. Ключевский рассказывал нам образно о Борисе Годунове, о людях эпохи царя Бориса, и, когда историк уехал, Шаляпин обмолвился фразой: «Вот бы мне такого Шуйского!»

Я коснусь лишь некоторых основных черт характера Федора Ивановича. Много говорилось и немало писалось о столкновениях, которые бывали у него с дирижерами, товарищами по сцене, партнерами по спектаклю. Да, бывали истории, о которых он потом, успокоившись, всегда сожалел. Человек он был вспыльчивый, но в сущности побудительной причиной всех этих историй и недоразумений была величайшая нелюбовь, нетерпимость Шаляпина к «ремесленникам» — там, где творилось искусство. Искусство требует мастерства и этого «мастерства» он требовал от всех его окружающих не только на сцене, но и в жизни. Каждый обязан уметь х о р о ш о делать свое специальное дело: мастер-сапожник должен хорошо шить сапоги, портной — платье и т. п. Когда он, разбогатеv, стал одеваться у первоклассных лондонских портных, они не всегда его удовлетворяли и он ворчливо замечал: «Материал хорош, а шьют так себе». Обладая безошибочным искусством целостного анализа исполняемого им творения, не только в границах своей роли-партии, он — этот сверх-художник, случалось, действительно расходился со своими дирижерами и партнерами, вернее, я сказала бы, что они не всегда шли с ним в ногу: по-разному понимали и чувствовали написанное в нотах; в результате скандал, а он, разводя руками, искренне наивно спрашивал: «в чем дело?»

Бессменная партнерша Шаляпина в спектаклях мамонтовской оперы в Москве и Петербурге, в «Хованщине», «Борисе Годунове», «Псковитянке», «Русалке» и др., встречаясь с ним почти ежедневно на репетициях и спектаклях, у Мамонтова дома и часто на пирушках в излюбленном им «Континентале», близ Охотного ряда, я не припомню случая его несдержанности в обращении с кем-либо. Подчеркну еще: Шаляпин, этот баловень женщин, вел себя с нами, артистками, за кулисами, необычайно корректно. Когда ему случалось столкнуться на сцене с настоящим мастером-партнером, он, словно назлектризованный, сам подымался и являлся во всем блеске своего гения и о скандалах не было речи. Приведу следующий характерный случай с европейски-известной певицей Ван-Занд, приглашенной Мамонтовым на гастроль. Это была молодая, красивая, скромная девушка. Я раньше с ней встречалась у С. И. Мамонтова, ее выступление в партии Лакмэ слушала, сидя

в публике. Помню ее выход, ее красивый голос и большое искусство пения; она очаровала и покорила публику. После первого действия она имела огромный успех. Когда она во втором действии появилась со стариком отцом-Шаляпиным, я, зная, что ему сейчас петь, испытала какое-то странное тягостное чувство страха. Но вот, со сцены пронесся в зал могучий, сочный, полный благородства и красоты звук, один, другой, всё нарастая в блеске бесподобного мастерства, и когда он пел-произносил по-Шаляпински слова: «Я хочу, чтобы ты улыбалась, в твоих очах дай видеть мне сияние небес», казалось, что он, «старик-отец», сам сверкал... Это был триумф... и Ван-Занд, эта первоклассная европейская певица, заняла свое место на втором плане.

Еще один пример. Тогда у нас был дирижером С. В. Рахманинов, который на протяжении года дирижировал «Русалкой». Я, постоянная участница этих спектаклей (в роли княгини, а затем русалки), всегда восторгалась и упивалась гармонией этих двух мастеров искусства, которые создавали великолепный праздник музыки, — и опять без каких-либо недоразумений. Должно отдать Шаляпину справедливость, — он и к себе во всем предъявлял не менее строгие требования и сам всегда замечал свои относительные неудачи. К своим обязанностям он относился с величайшим вниманием и сосредоточенностью. Так, в дни больших спектаклей он, не обедая, приезжал в театр часа за 2 до начала и немедленно приступал к гриму. Делал он всё сам: он не только изучил и хорошо знал каждую линию и складку своего лица, но и линии головы и затылочной части (свой затылок он превосходно и быстро набрасывал карандашом или пером, и всякий, взглянув на набросок, узнавал по нему Шаляпина), а техникой и тайной грима он владел в совершенстве. Я, глядя как он гримируется, говорила себе: большой художник Шаляпин гримирует Шаляпина артиста. Парики, бороды, усы ему подавались готовые, но налаживал он их сам — подстригал, подкрашивал, поправлял и т. п. Вообще, нужно сказать, что результаты, которых он добивался сидя и стоя часа 2 перед зеркалом, нельзя определить одним словом «грим»: он старался создавать внешний образ, соответствующий духовной личности исполняемой им роли; он стремился, чтобы царь Борис пел «Бориса Годунова». Покончив с гримом лица и головы, он, уже с помощью портного или служащего при гардеробе, начинал одеваться; но и тут он каждую мелочь сам оглядывал и строго следил за всем: каждая складка должна была быть на своем месте. Добиваясь в исполнении музыкальной партии не-

разрывной связи звука, слова и мысли с чувством, он в гриме добивался органической связи формы с содержанием, и этим дополнял музыкальное исполнение, создавая ряд изумительных образов: царь Иван Васильевич пел «Грозного» в «Псковитянке», и русский крестьянин, со всем ему присущим, пел мельника в «Русалке», и т. п. Его «Кончак» с непокрытой головой, без традиционного оперного головного убора, — от начала до конца великолепная пластическая фигура воина-военачальника, а не татарского наездника, предводителя орды. Храбрый сам, он ценит доблесть врага. Он — военачальник-политик и желает, хотя поверженного, но сильного врага, иметь «своим союзником». Все эти оттенки мыслей и чувств выражались у Кончака-Шаляпина и во внешнем его образе, и в звуках, в полном соответствии с гениальной музыкой Бородина. Все действия и движения Шаляпина на сцене были связаны между собой художественной необходимостью и реальными переживаниями лица им изображаемого. Его сценические образы — неповторимы и останутся великими образцами гармонии внутренней и внешней правды на сцене. В этом — непокупаемая благодать Гения!

После перехода Федора Ивановича на казенную сцену, наши частые встречи в Москве не прекращались. На новосельи в его доме присутствовал А. К. Глазунов, что было особенно отмечено хозяином дома. Помню частые сидения за поздним вечерним чаем в столовой у Шаляпина, очень часто в обществе художников В. А. Серова и К. А. Коровина; все трое — Шаляпин, Серов и Коровин, счастливые, прославленные, молодые, радостные. За столом они безудержно веселились и веселили нас, слушателей. Все они любили рассказать о замеченном смешном в жизни и доводили рассказ до анекдота. К. Коровин мог, не умолкая, часами «рассказывать» хорошим языком русской деревни, но в его рассказах всегда чувствовался гротеск. Шаляпин, если можно так выразиться, живописал свои рассказы-анекдоты. Запомнился мне один такой его рассказ-шедевр, схваченный кусочек быта тех времен и поразительный по акцентировке. Отец диакон засиделся в трактире своего прихода со своим закадычным другом-приятелем, вольтеррианцем. Попили чайку и перешли на более серьезные напитки. Всё шло у них по-хорошему, как полагалось, пока «вольтеррианец» не пустил ехидной шпильки по философическому вопросу мироздания. О. диакон возражает, но приятель всё язвит, да язвит. О. диакон, рассвирепев, ударил кулаком по столу и вопрошает: «А кто создал-то? Нет, ты скажи, кто создал-то? а?

Создал-то кто?» Вопросы ставились с шаляпинской гениальностью и перед нами были взъерошенный, победоносно гремевший отец диакон, и иронически улыбающийся вольтеррианец... Но любопытнее всего, что В. Серов, этот сосредоточенно-корректный джентльмэн, как рассказчик, превосходил их обоих и оставлял Шаляпина и Коровина за флагом.

Москва всегда умела любить своих выдающихся артистов. Москва любила и высоко чтила М. Ермолову, Г. Федотову, супругов Садовых, Ф. Горева, Ленского, Станиславского, Южина и др., но на улице их мало кто признавал. Совершенно исключительной любовью и популярностью пользовался Шаляпин: его везде и всюду, где бы он ни появился, знал и узнавал весь народ московский; при встречах с ним все ему улыбались, смотрели вслед. Его узнавал и также улыбался ему старый сановник в отставке, живший в одном из переулков близь «Неопалимой купины»; знал его и старик извозчик, никогда в театре не бывавший; знали его и «молодцы» из Охотного ряда, и банщики из «Сандуновских» бань. А как волновалась вся Москва, когда, по выражению одной приятельницы Ф. И., наш «малый» был приглашен на гастроли в Италию, в «Ла Скала». Русский человек поет по-итальянски в стране, привыкшей по установившейся традиции, «экспортировать» своих певцов! «Наш малый» должен был выступать в партии Мефистофеля в опере Бойто. Наконец, Москва получила из Милана блестящий фельетон в «Русском Слове» В. М. Дорошевича, командированного туда Сытиным. Влас Дорошевич, под влиянием всего виденного и слышанного рассказал, со свойственным ему талантом, о холодно настроенной сначала публике и последующих овациях, закончившихся великим триумфом «нашего малого» в Италии.

Это была первая гастроль Шаляпина в Европе, и он ее победил, а за Европой пошла Америка и другие части света. Когда он «удостоил» своим приездом страну «восходящего солнца» — Японию, школьники шпалерами были выстроены по всему пути его от порта до гостиницы, где он остановился, и кричали «Банзай».

Мировая слава, окружавшая Шаляпина всюду, выявлялась иногда в самых неожиданных формах: например, чех, хозяин лучшей гостиницы в Праге, где он гастролировал, не пожелал получить денег по счетам и повесил плакат «Здесь жил Шаляпин». Шаляпин, конечно, знал себе цену, эту славу он принимал с достоинством, но в то же время простота вырывалась

наружу, и тогда обнажался добрый и хороший, временами наивный, Федор Иванович.

Говорили, что Шаляпин был скуповат, но это не совсем верно. По натуре он был добрый и отзывчивый человек и мне известны случаи, когда он широко помогал обращающимся к нему за помощью. Но у него от малых лет и юности, за годы нищеты, осталось чувство «уважения к пятаку», в котором он тогда так часто нуждался. Этих времен он не забывал и, прибавлю, даже боялся, когда у него завелись уже сравнительно большие средства: «а вдруг он не сможет «работать», наступит нужда, а семья-то велика».

Он чтит право собственности, добытой личным трудом, и искренно радовался успехам настоящего работника. Получать огромные гонорары за свои выступления, за свою «работу», как он выражался, он считал совершенно естественным и бывал сердит, если импрессарио не выполнял своего обязательства. Согрешил как-то в расчете с ним добрейший князь А. А. Церетели и Шаляпин заявил, что он не желает встречаться с ним в театре. Спектакли под антрепризой Церетели с участием Шаляпина всё же продолжались. Недели через две, в прощенное воскресенье, Шаляпин просил передать Церетели, что он сегодня всех прощает, чему бесконечно обрадовался провинившийся князь, глубоко любивший Шаляпина.

Закончив в Румынии серию спектаклей и концертов при полных сборах, Шаляпин в день отъезда в Париж узнал, что вывоз денег из Румынии за границу воспрещен. Последовал взрыв: «Что же это такое? Я обязан даром веселить их?» Из Парижа было послано им письмо королю Каролю, и недели через две деньги были получены.

В Японии концерты его прошли с колоссальным успехом, художественным и материальным. Накануне отъезда в гостиницу явился чиновник Министерства Финансов, спросил о размере сумм, полученных от продажи билетов, и объяснил, что Министерство по закону обязано удержать известный процент. Импрессарио, не докладывая Шаляпину, заявил чиновнику: «Не советую поднимать этого вопроса — г. Шаляпин обидится». Чиновник ушел, вернулся через час и, низко кланяясь, заявил, что всё в порядке.

После Москвы — наши свидания в Ялте, затем встреча в Берлине и в Париже. Я пишу «свидания», потому что, отдыхая летом 1916 года на южном берегу Крыма, в замечательно расположенном имении «Форос», он наезжал оттуда в Ялту, где я жила летом с моим мужем К. А. Эрманс (он был давно

хорошо знаком с Шаляпиным, еще до моего замужества), и зачастую ночевывал у нас и проживал по несколько дней. Однажды, ранним летним утром, в восьмом часу, меня разбудила наша старая служащая, преданный друг, безграмотная крестьянка Тульской губернии, Наталия Павловна Степановская, превеликая умница и человек благородного характера, хорошо знавшая Шаляпина еще в Москве, — со словами: «Вставайте, Варвара Ивановна, Федор Иванович приехали с каким-то господином. Самовар готов, накрываю в столовой, а они сидят на террасе». Господин — бритые щеки, длинные усы, волосы на голове острижены под гребенку; некрасивое лицо украшали светящиеся добротой и умом глаза. Это был Максим Горький, который сразу и завладел разговором. Горький мастерски рассказывал, а время было интересное, знал он много. Интересно было наблюдать и слышать обоих вместе — Шаляпина и Горького — сродство между ними было большое, это чувствовалось.

За столом мы сидели долго, уходить не хотелось, забыли даже про чудесные ялтинские панорамы, пока за гостями не приехала машина из «Фороса». Кто мог предвидеть, что это была наша последняя встреча в России! Наталию Павловну Федор Иванович очень любил и из Парижа посылал ей деньги. Она, между прочим, побывав в Большом Театре, в ложе наших знакомых, когда Шаляпин пел Бориса Годунова, сказала мне на следующее утро: «Что ж, Федор Иванович хорошо докладает»... она не сказала «поет».

За границей мы встретились в Берлине. Из утренних газет я узнала, в каком отеле остановился Шаляпин, приехавший накануне вечером. На мой телефонный звонок мне ответил его импрессарио, которому еще накануне Шаляпин поручил отыскать меня. Телефонная трубка в руках Шаляпина, и опять мы радуемся предстоящей встрече; за завтраком вспоминаем старое, расспрашивая про новое и опять расстаемся, на сей раз ненадолго. Я закончила академический год занятий в Берлинской Консерватории и уехала в Париж, где жила в одной из его квартир 15 лет и откуда, к великому горю, пришлось проводить его прах на место упокоения.

**В. Страхова-Эрманс**

# МРАК И СВЕТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

## 1. Что это значит: «Я существую»

Всем известно, как Декарт торжествовал, когда он нашел свое утверждение: «Я думаю, значит я существую», «*Je pense donc je suis*», утверждение, которое стало знаменитым и общеизвестным в латинском переводе: «*Cogito ergo sum*». Декарт не без основания мог гордиться этим утверждением, в котором он нашел себе твердую опору в хаосе сомнений и который обеспечил ему право называться создателем новой философии. Однако, философу наших дней в этом утверждении дан не столько ответ, сколько вопрос, притом важнейший, если не единственный вопрос, какой может занимать мыслителя: что значит «Я существую», что собой означает мое «Бытие».

Постановка этого вопроса со всей его ясностью и во всей его глубине является философским достижением современных экзистенциалистов, для которых бытие является исходным пунктом их исканий и определяет основное содержание их систем. Нет сомнения, это является значительной заслугой экзистенциалистов. Ибо, что мы можем знать, если мы сами себя не понимаем? О чем мы можем заботиться, если мы сами собой пренебрегаем? Какую истину мы можем открыть и какую реальность постичь, если мы забываем, что наше бытие для нас единственная реальность и высшая истина? Что пользы человеку приобрести мир, если он себя потеряет?

## 2. Керкегор — философ Страх и Страдания

Вообще говоря, экзистенциалисты — отшельники-индивидуалисты, люди пустынные, и они даже друг друга недолюбливают. Например, в настоящее время над умами царят трое крупных экзистенциалистов: Гейдеггер, Ясперс и Сартр. Но мы напрасно станем искать в трудах Ясперса хоть одной ссылки или упоминания Гейдеггера или Сартра, и, наоборот, ни Гейдеггер, ни Сартр, кажется, ни единым словом не обмолвились об Ясперсе. Но все они трое вместе с легионом других меньших и малых экзистенциалистов признают, что начало современного экзистенциализма надо искать в личности и творениях Керке-

гора, и всякий из них с уважением и пиететом упоминает этого философа, видя в нем и своего предшественника и учителя.

Сэрэн Керкегор (Sören Kierkegaard), датский писатель, проповедник и философ, жил в первой половине 19 века (1813-1855). Надо сказать, что эта эпоха была временем, когда в Европе во всех областях господствовал величайший оптимизм. Наука и техника создавали свои первые чудеса и начали ощутительно переустраивать жизнь. В Германии над умами господствовали Гегель и Шеллинг, утверждавшие, что им удалось найти верный путь к окончательной истине. Во Франции Огюст Конт создавал основы позитивизма и новой религии разума. В Англии Бентам и Джон Стюарт Милль гласили истины утилитаризма, обещавшего возможно большее благоденствие возможно большому числу людей. Словом, везде и всюду все видели признаки прогресса, всё шло к тому, чтобы сделать человеческую жизнь разумнее, красивее, богаче, приятнее, счастливее и легче.

И вот как раз в это время Керкегор увидел призвание своей жизни и цель своей деятельности в том, чтобы делать жизнь людей не более легкой, а более тяжелой. Он сам, полуюмористически, полу-серьезно рассказывает, как однажды, сидя в кофейной, он думал о людях, которые приобрели и имя и славу, строя железные дороги, проводя телеграфные линии, или провозглашая приятные теории и идеи и делая тем жизнь всё более легкой. И тут он внезапно понял, что его призвание заключается в том, чтобы сделать что-нибудь более трудным. Ибо, как он говорит:

«Когда все стремятся к тому, чтобы сделать жизнь более легкой, тогда остается лишь одна опасность что эта легкость станет слишком большой, и явится желание (которое еще не ощущается) иметь трудности».

На первый взгляд могло показаться, что Керкегор, при условиях его жизни, был совсем непригоден для такого призвания. Его отец, успешный коммерсант в Копенгагене, разбогател настолько, что мог отказаться от дел и жить в свое удовольствие, развлекаясь философией и беседами с друзьями. Его дети, в том числе и младший сын Сэрэн, не знали нужды, и им не приходилось заботиться о хлебе насущном. Сэрэн поступил в университет и слушал лекции целых десять лет, из коих он некоторое время провел в Берлине, слушая лекции Гегеля. Он любил свободную жизнь в кофейнях и ресторанах, в веселой компании, иногда даже влезая в долги. Но ему не были чужды и более глубокие запросы, как это видно по его

дневнику того времени. Особенно примечательна запись в дневнике, в которой он описывает, как однажды всё его существо было охвачено «неописуемой» радостью:

«Имеется неопишуемая радость, которая так же чудесно охватывает нас, как немотивируемый порыв апостола: «Радуйтесь, и еще раз говорю я вам: Радуйтесь». Радость не из-за того, или иного, но огненный крик души «языком и устами из глубины сердца». Я радуюсь в своей радости — божественное песнопение, которое внезапно прерывает все остальные наши песни; радость, которая, как порыв ветра, и живит и освежает; волна пассата из небесных долин, овевающая вечные обиталища».

Эта запись напоминает нам подобные переживания Декарта и Паскаля. Она датирована 19 мая 1838 года. Нет сомнения, что это был день рождения Керкегора-философа.

Однако Керкегору не было суждено стать философом радости. В том же самом дневнике, в конце того же 1838 года, находится таинственная запись о каком-то переломе, совершившемся в его жизни, о «Великом Землетрясении». Последствия этого землетрясения, повидимому, сказались в истории его женитьбы. Осенью 1840 года он обручился с Региной Ольсен, красивой, молодой девушкой из хорошей семьи, которую он всю жизнь горячо любил. Однако в следующем году он отослал ей обручальное кольцо и грубо порвал с нею, несмотря на ее отчаяние, на растерянность обеих семей и негодование всего Копенгагена. Керкегор не объяснил причины разрыва ни Регине и никому другому. Только в позднейших записях его дневника находят намеки, что причиной была какая-то физическая болезнь, «терний в плоти» и связанный с этим совет доктора. Биографы Керкегора говорят об этом весьма туманно, и никто теперь не в состоянии сказать, была ли судьба Керкегора похожа на судьбу Ницше или на судьбу Рэскина. Факт остается, что он должен был отказаться от так близкого и возможного счастья, и его личная жизнь была навсегда разбита.

Керкегор говорит, что, если бы он жил в средние века, он поступил бы в монастырь. Но в 19 веке в протестантской Дании монастырей не было, и Керкегор пытался найти утешение в философии. Он отправился в Берлин и слушал там лекции Шеллинга. Но он скоро понял, что «мастера мышления не имеют мыслей, которые могли бы ему помочь». Он вернулся в Копенгаген и начал писать и издавать одно за другим свои произведения.

Керкегор написал чрезвычайно много: выпустив при жизни 30 печатных томов, он оставил еще столько же ненапечатан-

ных рукописей и дневников. Все его произведения до крайности субъективны, и каждое из них он начинает и кончает тем, что важно только ему одному. Писал он хаотично и сумбурно, и в последние годы, кончая какое-либо произведение, он, повидимому, уже не всегда помнил, чем он его начал, проявляя признаки своего рода графомании. В этих произведениях затронута бесконечное количество тем, начиная от классификации поцелуев, кончая требованием, чтобы всякий христианин умер так, как умер основатель христианства. Своими произведениями он не искал почестей и славы: многие важнейшие произведения были изданы под псевдонимами, которые постоянно менялись. Он не искал заработка: наоборот, на издание своих произведений он истратил почти целиком все наследство, которое ему досталось после смерти отца. Он не искал читателей: форма его произведений, их длина, сумбурность содержания и, наконец, даже самые заглавия: «Понятие Страха», «Боязнь и Трепет», «Недуг до смерти» могли только отпугнуть читателей. В конце концов, он не искал даже личного успокоения. Верный своей миссии делать жизнь более тяжелой, он своими произведениями поднимал одну бурю за другой: в начале из-за слишком большой откровенности об его отношениях к Регине; впоследствии, когда его произведения обратили внимание критиков, он как нарочно спровоцировал бурю негодования против себя, и его репутация некоторое время стояла так низко, что даже его друзья не решались заговорить с ним на улице. Его сочинения, в общем, были полны христианского духа, и он мог легко сделаться влиятельным церковным проповедником; но он направил свой сарказм на господствующую церковь и порвал отношения с нею.

Личность Кьеркегора настолько богата и оригинальна, и его произведения настолько разнообразны, что их невозможно исчерпать какой-либо краткой формулой. Тем не менее, основы его философии достаточно ясны, и они вытекают, в сущности, из основных событий его личной жизни и из основной задачи его деятельности: делать жизнь не более легкой, но более тяжелой.

В Библии сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». В этих словах заключается начало философии Кьеркегора, с той только разницей, что он употребляет не столько слово «душа», сколько более динамичное слово «экзистенция», существование.

В одном из основных произведений Кьеркегора, в «Понятие Страха», можно найти следующие строки:

«Когда совершается то или иное исключительное событие, когда герой всемирной истории собирает вокруг себя богатырей и творит великие дела; когда происходит перелом, и всё приобретает значение: тогда люди хотят быть там, ибо это просвещает. Возможно. Однако имеется и другой, более близкий путь просветиться с еще большей пользой. Возьми Ученика Возможности (=Страха), приведи его в луга Ютландии, где нет никаких событий, где величайшее событие — взлет куропатки: там он переживет совершеннее, точнее и глубже, чем тот, которому толпа рукоплещет на сцене мировой истории».

Человеку важен только один вопрос: сохранить и спасти глубочайшую основу своего естества, свое подлинное существо, «экзистенцию», которая не зависит от благ сего мира. Никакие богатства, никакие возможности и радости сего мира не могут этой задачи облегчить. Для того, чтобы сохранить свое естество надо иметь Страх, надо Трепетать, надо Верить и надо Страдать.

Страх... Важнейший труд Керкегора носит название: «Понятие Страха». Сам Керкегор был убежден, что этого одного труда было достаточно, для того, чтобы обеспечить ему бессмертие. В нем страх выдвигается как первое необходимое условие экзистенциальной истины, как главный признак человеческого совершенства, как вернейшая возможность спасения. «Ученик Возможности» в философии Керкегора является «Учеником Страха», который нашел стезю спасения. Если Аристотель начало философии видел в удивлении, Декарт — в скептицизме и сомнении, Керкегор ищет и находит это начало в Страхе, который является подлинной основой его философии.

Трепет... Другое характерное произведение Керкегора носит название «Боязнь и Трепет». В нем рассказана история Авраама, который послушный воле божьей, был готов пожертвовать своего собственного сына. Всякий должен иметь в себе готовность принять на себя риск подобного отказа от своей собственной личности.

Вера... Наивная, примитивная, примитивнее не критического догматизма, вера потому, что «так сказал мой отец». Во всяком случае, не вера философского рационализма, и Керкегор не щадит своего сарказма против тех философов, которые хвалятся умением доказать бытие Божие. Тут Керкегор был одним из наиболее влиятельных представителей европейского иррационализма.

Страдание... «Воистину, страдание это общение с Богом, договор слез, который так прекрасен» — пишет он в своем дневнике. В каждом его произведении можно найти в той или

иной форме восхваление страдания. Апогей этого восхваления достигнут в «Христианских Трактатах», где дается изображение семи степеней радости, достигаемой страданием, с их высшей степенью: Радость при мысли, что несчастье является успехом (“*Modgang er Medgang*”, “*adversity is success*”).

Таким образом Керкегор, который в 1838 году, охваченный радостью, стал философом, теперь, через десять лет, в 1848 году, снова возвращается к радости. Правда, он достиг ее теперь иным путем: трудностями, тяжкими переживаниями, «Великим Землетрясением», разрушением личной жизни и страданием. Зато он убежден, что эта новая радость крепче и глубже и устойчивее, и она не может быть нарушена ни в этой, ни в грядущей жизни.

Но если ему самому удалось путем страдания достичь радости, которую ничто не может нарушить, то этот путь открыт всякому иному, кто имеет смелость рискнуть идти тем же путем отказа от счастья и страдания. Достигнув радости при помощи Страха, Трепета и Страдания, Керкегор зовет других не искать «более легкого», но искать «более тяжкого», страшиться, трепетать и страдать и этим обрести спасение своей души, своего естества.

### 3. Философия Заботы Гейдеггера

Нетрудно понять, что в начале Керкегор всем, даже на его родине, казался только чужаком, которого не стоило принимать всерьез. Однако, по мере того, как духовная жизнь Европы становилась сложнее, то тут, то там появлялись люди, которые стали интересоваться Керкегором, — сперва в Германии, а затем, в особенности после появления книги Брандеса, посвященной датскому философу-одиночке, в самой Дании и Скандинавии.

Правда, Керкегор обратился на стезю своих экзистенциальных исканий из-за совершившегося в его жизни «Великого Землетрясения», разрушившего его личную жизнь. Но он сам себя считал «буревестником», и его чуткий духовный слух уже тогда слышал отдаленное гроыхание приближающейся бури. С течением времени и другие стали ощущать духовное беспокойство. Великий поэт перелома двух столетий, Рильке, воплотил в своей поэзии те же самые тенденции, которые Керкегор воплотил в философии. Наконец, разразилось «Великое Землетрясение» Европы и всего мира — первая мировая война, которая разрушила не только много физических ценностей, но и господствующий идеологический оптимизм. Гегель, Шеллинг, Конт, Милль и Спенсер всюду были забыты. Всюду родилось

ощущение необходимости найти новое, более глубокое и устойчивое основание философии. В Дании, Германии, Испании, Франции, а с некоторым запозданием в Англии и, наконец, в Америке стали серьезно интересоваться Керкегором, стали изучать, переводить и издавать его труды, писать о нем книги и диссертации (судьба, которую Керкегор предвидел и которой он пуще всего боялся). Керкегор стал модой, самым современным из всех современных писателей. Теологи, проповедники, реформаторы религиозной жизни стали искать в нем себе вдохновения. Наконец, зашевелились и университетские профессора-философы: Гейдеггер и Ясперс в Германии. Кроме них — Сартр во Франции и легион других меньших и малых экзистенциалистов.

Тот, кто стремится к хронологической точности и хочет знать дату рождения современного экзистенциализма, тот может найти ее в 1927 году, когда появился в свет главнейший труд Гейдеггера «Бытие и Время», «*Sein und Zeit*».

Мартин Гейдеггер (Martin Heidegger) родился в 1889 г., и он является немецким философом-профессионалом, тем, что по-немецки называется «катедер-философ». Будучи учеником Гуссерля, он после смерти своего учителя унаследовал кафедру философии во Фрейбургском университете и духовное положение главы «феноменологической» школы. Во время господства Гитлера Гейдеггер не сумел или не счел нужным отмежеваться от господствующей политики. Зато после войны ему пришлось расстаться с университетской деятельностью. Правда, он немедленно получил приглашение в университеты других стран. Но он не пожелал покинуть Германии и живет в горах поблизости Фрейбурга, время от времени читая лекции в кружке добровольных слушателей.

Основной темой всех трудов Гейдеггера является «*Sein*», «Бытие». Надо отметить, что уже Керкегор заменил статическое, неподвижное понятие «души» более динамичным понятием «экзистенции». Гейдеггер делает еще один шаг в этом направлении и, верный динамизму, господствующему в наше время, в качестве существительного и объекта своих исследований он употребляет чистейший глагол «*Sein*». Как ученик Гуссерля, он в своем главном произведении «*Sein und Zeit*» применяет метод феноменологии, который, стремясь найти ответ не на вопрос «что», а на вопрос «как», обещает привести исследователя «к самой вещи» («*Sache*») и показать ее так, как она сама себя «открывает», «сама себя показывает», «ставит себя на свет». Однако, напрасно мы станем надеяться, что этот

## ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ

метод обеспечил книге ясность и понятность. В течение двадцати пяти веков от начала философии до наших дней в философской литературе можно найти не мало темных и труднодоступных творений. Но произведение Гейдеггера, основная цель которого пояснить нам нас самих, является одним из самых темных и трудных, и после Гераклита Гейдеггер первый мог бы претендовать на прозвище «Темный». Как черное облако, тьма нависла над всем произведением, и только молния яркой мысли время от времени озаряет клубящиеся туманы понятий, определений и парадоксов. То обстоятельство, что Гейдеггер на каждой странице безо всякой видимой необходимости, измышляет новые, никому неизвестные и никем не употребляемые слова, нисколько не облегчает читателю задачу освоения его мыслей. Сам автор первый понял недостаточность своего труда, и он обещал пополнить его еще двумя частями, — обещание, которое до сих пор еще не выполнено.

Законченное или незаконченное, понятное или непонятное, «*Sein und Zeit*» остается основным источником к познанию современного экзистенциализма, и мы должны к нему обратиться. Если не вдаваться в детали и придерживаться того, что более всего подчеркнуто и доступно, то мы найдем, что понятие Бытия для Гейдеггера складывается из следующих элементов или признаков:

1. Бытие это «временность» («*Zeitlichkeit*»);
2. Бытие это «находиться в пространстве» («*Befindlichkeit*»);
3. Бытие это забота («*Sorge*»);
4. Бытие это «быть к смерти» («*Sein ist Sein zum Tode*»).

Первый и второй признак показывают нам бытие как нечто неразрывно связанное с временем и пространством, при чем время не является каким-то внешним придатком, но само вытекает из сущности бытия, между тем как пространство, как нечто чужеродное, как бы противопоставляется бытию. Третий элемент бытия — забота, которым пропитано всё наше существо; вопрос же о том, о чем бытие заботится, находит себе ответ в четвертом элементе понятия бытия: бытие это быть к смерти.

Странное дело, с каждой дальнейшей степенью в развитии понятия возрастает ясность изложения. Рассуждения о том, как наше бытие при помощи «временности» врывается или вбрасывается («*Geworfenheit*») в пространство, полны почти непроницаемой тьмы; страницы о заботе, которая изображается как основа структуры нашего бытия, так что даже время «озабочено», хотя сама забота пропитана ничтожеством, много

яснее и неувидительно, что вся философия Гейдеггера часто называется «Философией Заботы» («Philosophie der Sorge»); но всего яснее страницы, посвященные смерти, которые показывают ее со всем ее трагизмом, как наиболее своеобразную и верную возможность бытия. Вместе с ясностью нарастает драматизм. Таинственность и принудительность связи с быстро текущим временем, бесприютность при виде себя выброшенным в чуждое нашей природе пространство сменяются скорбью от заботы неизвестно о чем, и, наконец, перед лицом неизбежной смерти достигается пафос трагизма. Величайшее разочарование, какое себе только можно представить. В стремлении узнать, что такое наше бытие, мы проникли в темную чашу необычных понятий и туманных рассуждений, но когда мы достигли конца этой чаши, мы увидели не бытие, но открытую могилу.

Гейдеггер утешает: У человека есть свобода — «Свобода умереть» («Die Freiheit zum Tode»).

#### 4. «Предельные Ситуации» Ясперса

Вторым значительным представителем современного экзистенциализма является Карл Ясперс (Karl Jaspers), родившийся в 1883 году. Подобно Гейдеггеру, он немецкий профессор философии. Однако свою академическую карьеру он начал не с философии, а с психопатологии. Его первое философское сочинение «Психология Мировоззрений», выпущенное в свет в 1919 году, еще носит след его прежней профессии. Но вскоре он целиком отдался философии и стал профессором философии в Гейдельбергском университете. Он писал много произведений, но свои философские взгляды он полнее всего изложил в своей трехтомной «Философии», вышедшей в свет в 1932 году. Во время гитлеровского режима он не захотел приспособиться к нему и должен был оставить университет. Но после войны он с почетом вернулся в университет, был награжден медалью Гете и занял выдающееся место в интеллектуальной жизни послевоенной Германии. Однако, получив приглашение в Швейцарию, он оставил свою родину и теперь состоит профессором университета в Базеле. В 1947 году вышел первый том его нового обширного произведения «Об истине» («Von der Wahrheit»).

Если Гейдеггер темен, но глубок, об Ясперсе можно было бы сказать, что он значительно яснее, однако подчас за счет глубины и индивидуальности. Он слишком осторожен: всюду он заранее предвидит возражения и готовит себе защиту. По-

этому в его основных произведениях всё так систематизировано, уравновешено, приглажено, что не за что ухватиться. Только в одном отделе «Философии» чувствуется подлинный своеобразный энтузиазм и страстность, которые захватывают автора и заражают читателя, в отделе о «Просветлении» («Erhellung»). Но как раз этот отдел темнее и непонятнее всех других частей этого произведения. Но эта часть труда обеспечила автору имя одного из основателей современного экзистенциализма.

В отличие от Гейдеггера, Ясперс понимает, что «бытие» не является «вещью», которая могла бы показывать себя в качестве обыкновенного феномена. Для того, чтобы постичь «бытие» недостаточно рассуждений и размышлений, но нужно еще «Просветление». Путь «Просветления» несколько, но самый верный путь это — вести себя к «пределу» («An die Grenze führen»), ставить себя в «предельные ситуации» («Grenz-Situationen»). Этой теории «предельных ситуаций» Ясперс, очевидно, придает особо важное значение. Ее первый вариант имелся уже в его первом философском сочинении «Психология Мироззрений». Ее полное изложение дано во втором томе его «Философии», где она занимает центральное место во всем произведении. Наконец, спустя целых пятнадцать лет, Ясперс в своем последнем произведении «Об Истине» снова, хотя только фрагментарно, возвращается к этой теме. Нет сомнения, что в ней полнее всего отражаются все особенности Ясперса как мыслителя и человека.

В наиболее полном изложении этой теории, которое мы находим в «Философии», Ясперс указывает следующие ситуации, которые, по его мнению, могут дать «просветление»: Вина, Борьба, Страдание и Смерть. В этих ситуациях наше «Я», освободившись от условий своего «существования» («Das Sein»), достигает полного одиночества и делает один за другим три прыжка, которыми «Я» настигает «Бытие» («Sein»).

Едва ли стоит углубляться в эту странную теорию, полную таких таинственных образов. Она может быть понята, повидимому, только в сопоставлении с отзвуками восточного аскетизма и восточных стадий углубленного размышления. Для нас в этой теории важнее всего выбор «предельных ситуаций» и убеждение, что как раз только эти ситуации могут помочь нам понять самих себя. «В беспомощности моего существа дано возвышение моего бытия» («In der Hilflosigkeit des Daseins ist es der Aufschwung des Seins in mir»), утверждает Ясперс, и он убежден, что неудовлетворенность жизнью является признаком возможности бытия. Поэтому все «предельные ситу-

ации» таковы, что они вызывают острую неудовлетворенность, и в них наша жизнь затуманена (вина!), поставлена под угрозу (борьба!), ослаблена (страдание!) или даже находится в угасании (смерть!). Тем самым все предельные ситуации являются ситуациями мрака. Но Ясперс верит, что как раз в этом мраке он может найти «просветление».

Каждая из этих предельных ситуаций может мыслиться в отдельности. Но для Ясперса, повидимому, все они друг с другом связаны и составляют одно неделимое целое. Вина рождается из-за необходимости бороться за существование. Борьба соединена для нас и других со страданием. Но это страдание и эта вина становятся тем тяжелее, что они бессмысленны в виду их бесцельности: смерть неизбежна, и только смерть одна прекратит страдание, остановит борьбу и искупит вину. Таким образом мы, следуя за Ясперсом, хотя совсем иным путем приходим снова к той же самой точке: в поисках бытия мы находим смерть.

Ясперс утешает нас: Смерть не только покой, но и «завершение» («Vollendung»).

## 5. Ничто

Мы видим таким образом, что оба пути, — и феноменология Гейдеггера и «просветление» Ясперса — в конечном счете проблему бытия сводят к проблеме неизбежности и таинственности смерти. Для экзистенциалиста в этом исходе таится бесконечный трагизм. Ведь как раз для него бытие является основой, на которой всё покоится, источником, от которого всё берет свое начало. Если эта основа исчезает и этот источник иссякает, то всё становится под вопросом и теряет реальность, — не только наша жизнь и бытие, но и весь мир, который создан нашим бытием и им поддерживается. Даже понятие Бога для того, кто верит, оказывается под угрозой, и Рильке, этот глашатай экзистенциализма в поэзии, дает яркое выражение этому опасению:

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?  
 Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)  
 Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)  
 Bin dein Gewand und dein Gewerbe.  
 Mit mir verlierst du deinen Sinn.

Для экзистенциалиста смерть является не только вопросом судьбы отдельной личности, но это мировая катастрофа, в которой всё рушится и погружается во тьму. Поэтому неизбежность смерти является вместе с тем неизбежностью надвигающегося всеобъемлющего и имени не имеющего НИЧТО.

В первых произведениях Гейдеггера и Ясперса этот вопрос затрагивался только слегка, мимоходом. Но вся система их мышления и их чувств приводила к тому, что понятие «Ничто» выявлялось само собой всё яснее и отчетливее. Уже в 1929 году Гейдеггер в своей вступительной лекции на тему «Что такое метафизика», к указанным выше четырем признакам бытия добавил пятый признак:

«Бытие означает: Быть погруженным в Ничто («Das Sein heisst: Hineingehaltenheit in das Nichts»).

Ясперс в своем последнем труде «Об Истине» признает, что его «предельные ситуации» ведут не только к бытию, но и к Ничто.

С особой силой эта сторона современного экзистенциализма выражена в произведениях французского представителя этой философии, философа-писателя-драматурга Жан Поль Сартра (Jean-Paul Sartre, родился в 1905 году). Несомненно, что как мыслитель Сартр самый малый из больших экзистенциалистов. Тем не менее нельзя отрицать, что он придал *elan* этому духовному течению и сделал его модой: без Гейдеггера Сартр был бы немислим, но без Сартра никто, вероятно, за пределами Германии не знал бы ни Гейдеггера, ни Ясперса, которые стали заметны только в лучах мировой знаменитости Сартра. Политически Сартр как бы дополняет картину общественной беспринципности экзистенциализма: его тяготение к левым было всегда известно. Ряд его значительных статей был напечатан в органах близких французскому коммунизму («Action»), а в последнее время, участвуя в так называемом «Конгрессе Мира» в Вене, Сартр, повидимому, окончательно вошел в фарватер сталинской пропаганды, что, впрочем, не мешает советским идеологам неизменно называть его одним из самых ярких выразителей «гниения буржуазного мира».

В своей философии Сартр утверждает, что жизнь является авантюрой, которая не имеет ни единого шанса на успех. Уже само наше мышление истощает и исчерпывает наше существо. Всякое существо в качестве феномена в этом мире не имеет никакой иной цели, как уничтожить себя самого. В самом центре бытия, как черную дыру в сгнившей вещи, Сартр видит Ничто, которое является необходимым условием для того, чтобы мы могли понять реальность нашего бытия. Основное произведение Сартра, вышедшее в свет в 1943 году, носит название «Бытие и Ничто» (*L'Être et le Néant*). Повидимому, не было бы большой ошибкой назвать его «Бытие *есть* Ничто», «*L'Être est le Néant*».

В этом «Ничто», к которому нас подводит новейшее развитие западной философии, можно усмотреть своеобразную аналогию с восточной Нирваной. Но нельзя не заметить принципиальной противоположности обоих понятий. Нирвана востока не является чем-то принудительным; мыслитель приходит к ней добровольно, после глубоких размышлений, после всесторонней оценки, после долгих исканий. С презрением к миру, как разоблачение обманов и иллюзий жизни, как недостижимая для соблазнов высота, на которой дух человеческий поднимается выше всего, что связано с землей и миром, приходит Нирвана, как великое освобождение от оков страдания. В противоположность этому, западно-философское Ничто является непрощенным гостем, принудительным злом, всё-разрушающей катастрофой. В Нирване востока человек побеждает судьбу. В Ничто запада судьба покоряет человека.

### 6. Выводы и последствия

Автор этих строк считает своим долгом предупредить читателя, что очерк экзистенциализма, данный в настоящей статье, слишком краток и поверхностен, чтобы он хоть в какой-либо степени мог исчерпать это явление. Уже в области философии экзистенциализм вырос в одно из крупнейших духовных течений, создавшее громадную литературу и имеющее своих представителей во всех свободных странах. Не надо при этом забывать, что экзистенциализм, как крупное духовное явление, оказал значительное влияние не только на философию, поэзию и литературу, но и на историю (Тойнби) и его следы можно найти даже в проблематике точных наук. Поэтому экзистенциализм — явление слишком обширное для того, чтобы его исчерпать даже целой книгой, не говоря уже о короткой журнальной статье.

Тем не менее, даже после самого краткого и поверхностного обзора не будет ошибкой сделать вывод, что экзистенциализм, как симптом нашего времени, свидетельствует, что с нами не всё в порядке, и мы с этим направлением в том виде, в каком мы его знаем, вступаем на какой-то путь, из которого нет выхода. Каждый из представителей и выразителей экзистенциализма имеет свои ощущения жизни и свои избранные чувства. Керкегор — страх, боязнь, трепет, страдание; Рильке — печаль и одиночество; Унамуно — чувство трагизма; Гейдеггер — заботу; Ясперс — неудовлетворенность; Сартр — скуку и отвращение. Но все эти чувства, взятые порознь или в их совокупности, являются признаком болезненности, разочарования, если только не отчаяния. Неудивительно, что для Гейдеггера даже время «озабочено», а для Рильке даже пространство «запугано».

Правда, каждый экзистенциалист считает своим долгом призывать жить, делать опыт (*versuchen*), брать на себя ответственность (*l'engagement*) не избегать риска (*Wagnis*) и даже проявлять героизм. Однако никто из них не в состоянии разъяснить, к чему всё это может привести, и никто не дает ни малейшей надежды, что это может кончиться чем-либо хорошим. Наоборот, все они в один голос заявляют, что всё это «суета сует», ибо все наши заботы пропитаны ничтожеством (Гейдеггер), жизнь — это авантюра без малейшего шанса на успех (Сартр), и в жизни господствует безысходная бедственность (Ясперс). Правда, Сартр (кажется, он один) парадоксально и неожиданно заявляет, что экзистенциализм — это воплощение высшего оптимизма. Но читателю его философских и литературных произведений этот «оптимизм» напоминает оптимизм голодного человека, который за неимением ничего лучшего, пожирает гнилой и червивый хлеб.

Для современного экзистенциализма самые большие трудности лежат в этике. Эти трудности были уже значительны для Керкегора. Он нашел, что самый верный путь к спасению ведет через страх и страдание. Поэтому, вполне последовательно, он решил, что его миссия заключается в том, чтобы призывать людей не к тому, что легко, а к тому, что тяжело. Но почему только призывать к страданию, а не распространять страдания? Если, по Керкегору, обязанность каждого христианина умереть «на кресте», то не будет ли его обязанностью, из любви к своему ближнему, помочь ему быть распятым?

Но положение Керкегора было еще сравнительно легким. Будучи верующим, он, призывая к страданию, мог быть убежденным, что он тем помогает другим достигнуть вечного блаженства в другом мире. Но что могут обещать и на что могут надеяться современные экзистенциалисты-атеисты, для которых грядущий мир — это только великое безымянное Ничто?

## 7. Возможности экзистенциализма

Несмотря на всё, что было сказано, было бы ошибкой заключить, что надо призывать к тому, чтобы экзистенциализм огулом осудить, отказаться от него и как можно скорее забыть его. Нет сомнения, что в экзистенциализме имеется своя глубокая правда, во всяком случае, *правда правильной постановки вопроса*. Эта правда настолько самоочевидна, несмотря на весь сумбур даваемых современными экзистенциалистами ответов, правильность их исходной позиции настолько ясна и бесспорна, что в настоящее время едва ли мыслима филосо-

фия, которая не имела бы признаков экзистенциализма. Вопрос о том, что это значит «Я существую» и что такое мое «Бытие» настолько глубок, значителен и он сам собой так много дает и так много обещает, что если какой-либо философ проходит равнодушно мимо этого вопроса, он уже не философ, а если он попытается ответить на этот вопрос, то он, до известной степени уже будет экзистенциалистом.

Вместе с тем не подлежит сомнению, что основной вопрос экзистенциализма не легко поддается решению. Более того, надо думать, что в настоящее время, пока философии не удалось найти новых методов искания, этот вопрос не имеет никакого ответа. Во всяком случае несомненно, что феноменология Гейдеггера тут не в состоянии помочь. Он с помощью этого метода хочет подойти к бытию как к «вещи» и увидеть его таким, каким оно само себя открывает. Но наше бытие ни в каком смысле не является вещью, оно не феномен, который определяется законами времени, пространства и причинности. Бытие для нашего разума всегда только «нумен», который управляет разумом, пользуется им как своим орудием, но не имеет ни малейшей нужды разуму открыться и быть им освоенным. Когда разуму кажется, что он видит бытие, он видит в лучшем случае только его тень. Что же удивительного, что, пытаясь схватить эту тень, разум находит только пустоту, «ничто». Но это «ничто» является только признаком бессилия разума, но никак не признаком самого бытия. Наше бытие не поддается логической систематизации и подойти к нему можно только путем материализации и реализации его в жизни.

Иначе приходится оценивать метод «просветления» Ясперса, который до известной степени близок идее материализации и реализации. Однако нельзя не отнестись с сомнением к применению этого метода, в особенности к выбору «пределных ситуаций». Ясперс ищет «просветления», но он ведет к таким ситуациям, как вина, борьба, страдание и смерть, при которых мир и наше существо погружаются во тьму. Но «просветлению» нужна не тьма, а свет. Поэтому нужно искать не ситуаций тьмы и мрака, а света и блеска, или, пользуясь более выразительными немецкими терминами, не «Grenz-Situationen» но «Glanz-Situationen», не смерть, а творчество, не вину, а гармонию, не борьбу, а любовь и, наконец, не страдание, а радость.

Владас Станка

# О СТАРОМ СОЦИАЛИЗМЕ, НЕОСОЦИАЛИЗМЕ И НЕОЛИБЕРАЛИЗМЕ

В 1889 году вышли из печати *Fabian Essays* — учение о *постепенном* социализме в отличие от утопического, катастрофического, «научного» или марксистского. Очерки утверждали, что каждому известна разница между справедливым и несправедливым и задачи фабианцев сводятся к тому, чтобы показать британским трэд-юнионам и тем политикам, которые расположены будут слушать, как сделать Британию образцом социально-планированного благоденствующего общежития.

Эти очерки — или «опыты» — перепечатывались многократно — в последний раз в 1948 году, — и в предисловии к ним говорилось: «Сейчас нет авторитетных учителей социализма. Авторы очерков не претендуют ни на что большее, как на совместное с другими изучение и обсуждение». Сейчас дело обстоит значительно хуже, чем 65 лет тому назад. Утопический, катастрофический, выдающий себя за научный и марксистский, социализм-коммунизм перекочевал из мира идей в мир вещей. И за 36 лет своего существования на одной шестой части земного шара не только не утерял своей силы, динамизма и влияния, но обнаружил тенденцию к дальнейшему распространению и захвату всё новых умов, стран и народов.

В таких условиях более чем естественным было появление в Англии в прошлом году «Новых Фабианских очерков» под редакцией Ричарда Кросмана и с предисловием Этли. Очерки

---

Печатаемые ниже статьи М. В. Вишняка и Ю. П. Денике посвящены обсуждению проблем, затронутых в недавно вышедшей книге Б. П. Вышеславцева «Кризис индустриальной культуры». Мы считаем, что независимо от той или другой оценки этой книги, и общая ее тема, и отдельные, поставленные в ней вопросы, настолько существенны и актуальны, что подобная дискуссия на страницах «Нового Журнала» является вполне оправданной. В следующей книге журнала мы надеемся поместить статьи, подходящие к проблеме с других точек зрения.

РЕД.

эти были задуманы и обсуждались ещё с 1939 года и многим отличаются от былых. «В 1952 мы понимаем, что нельзя игнорировать прочий мир, как делали наши предшественники в 1889 году; не можем мы также принять концепцию мира, автоматически прогрессирующего в сторону распространения богатства и расширения свободы». «Материальный прогресс не делает людей ни свободными, ни равными... Особенно пагубно заблуждение будто экономика—определяющий фактор в социальных изменениях и что, если мы осуществим экономическую справедливость, мы автоматически обеспечим человеческую свободу». Так пишет редактор, левый социалист, сторонник Бевана. Этли, с своей стороны, отмечает, что «попечительное государство» (Welfare State) на той ступени, которой оно достигло, есть результат приложения на практике «Фабианских очерков»... Молодому поколению, выросшему в неприглядной атмосфере 20 века с двумя мировыми войнами, оставившими живой след в его сознании, предстоит найти ответы на вопросы: куда отсюда идти дальше? Как сделать демократию действенной в обществе, в котором управляющая автократия (managerial autocracy) представляет возрастающую опасность.

Что управляющая автократия представляет большую опасность, известно было давно, — с индустриальной революции в Англии и позднее в других странах. Но эта опасность необычайно возросла и стала особенно чувствительной с утверждением тоталитарных режимов в России, Италии, Германии. И в советской России, и в гитлеровской Германии тоталитаризм прикрывался социализмом. Это дало основание противникам социализма отождествлять тоталитаризм с социализмом. А тот факт, что в России, Италии и Германии тоталитаризм отвернулся от демократии и стал ее изобличать, дал повод противникам социализма считать демократию несовместимой не только с тоталитаризмом, но и с социализмом.

Животрепещущей теме о взаимоотношении между социализмом и демократией, социализмом и капитализмом, государством тоталитарным и либеральным, об обеспечении свободы и справедливости путем хозяйственной демократии, — посвящена только что вышедшая книга проф. Б. П. Вышеславцева «Кризис индустриальной культуры». В ней множество дефектов. Она плохо организована, как выражаются американцы. В ней много повторений: в последних главах автор то и дело воспроизводит сказанное в предшествующих. Он пишет о том, что знает и чего не знает: ссылки его часто случайны и взяты из вторых рук. Философ права, он и об экономике пишет ди-

дактически и аподиктично. Неудивительно, что нередко открывает для себя и для читателя уже открытую Америку. Желая соблюсти научную объективность, автор сопровождает свои утверждения и отрицания такими оговорками, которые лишают его суждения определенности, а то и приводят к очевидным противоречиям.

За всем тем и несмотря на вышесказанное, книга проф. Вышеславцева представляет интерес и заслуживает всяческого внимания. Малооригинальная и тенденциозная, она в живой и острой форме воскрешает вопросы, которые не переставали тревожить ум и совесть нескольких поколений в России и в других странах мира.

\*\*  
\*

Б. П. Вышеславцев отмечает, что Вернер Зомбарт насчитал сотни определений социализма. Но преимущественное внимание автора сосредоточено на марксистском социализме, который он как правило отождествляет с тоталитарным. Марксизму уделено больше трети книги. Автор останавливается на экономической доктрине марксизма, соглашается с Адамом Смитом и Прудоном, спорит с Рикардо и Сен-Симоном и больше всего изобличает Маркса — в неоригинальности и заимствовании у «буржуазных экономистов» и, одновременно, в «экономической бессмыслице и демагогической лжи».

Мы не последуем за автором в его экономических изысканиях. Не будучи специалистом в этой области, он многое утверждает здесь с чужого голоса — Бернгэма, Репке, Хайэка, даже Волтера Липмана. Его полемическое увлечение не могло не привести его к бесспорным преувеличениям и прямым ошибкам. Ограничимся двумя указаниями общего порядка.

Автор считает марксизм таким же порождением индустриализма, как и капитализм. Однако, свою критику он распределил весьма неравномерно: против марксизма направлены все тяжелые орудия, тогда как капитализм обстреливается беглым, беспорядочным, ружейным огнем. Кроме того, фактически неверно и политически рискованно утверждать будто «коммунизм есть прежде всего индустриализм». Почти сто лет существовал индустриализм без того, чтобы процветал коммунизм. И если считать, что индустриализм породил тоталитаризм, морально-политическая ответственность творцов тоталитарных режимов тем самым в значительной мере умалется. Ответственность делят пополам «капитализм и коммунизм, как две формы индустриализма» (стр. 110). Ленин, Муссолини, Гитлер оказываются созвучными историческому развитию индустриализма. За что же их в таком случае особенно винить и осуждать?

Не знаю, как писалась книга. Но создается впечатление, что она составилась из четырех отдельных очерков, лишь искусственно объединенных под общим заглавием «Кризис индустриальной культуры». Самый кризис изображен бегло и в очень общих чертах. Часто речь идет не о кризисе индустриальной культуры, а культуры вообще, — о кризисе или неудаче человеческой истории. Наконец, отдельные главы имеют самое отдаленное отношение к индустриальной культуре. Такой является глава о «смысле и ценности демократии», которую М. М. Карпович в предисловии к книге считает «одной из лучших», — я бы сказал: лучшей. Сам автор оговаривает, что «странно повторять все основы классической философии права». Но он их повторяет, и хорошо делает, — хотя с кризисом индустриальной культуры они непосредственно и не связаны. Против существа этих основ спорить не приходится. Можно только сказать, что рассеянные тут и там не всегда бесспорные афоризмы и игра слов, оживляя изложение, вряд ли что прибавляют к оправданию права и демократии. Автор пишет: «В правовом демократическом государстве министры выходят в отставку, тогда как в тоталитарном государстве — они «выводятся в расход». «В первом — оппозиция сидит в парламенте; во втором — оппозиция сидит в тюрьме». «Существует индустрия убийства и существует убийственная индустрия». «Философия свободы не есть свобода от философии».

Последний «афоризм» структурно совпадает с тем, который наш — с Вышеславцевым — профессор гражданского права, потом министр народного просвещения, Кассо из года в год повторял на своих лекциях в московском университете:

— Генеральное межевание, милостивые государи, не есть межевание генералов!..

\*\*  
\*

Проф. Вышеславцев многократно отождествляет тоталитарный марксизм, не насчитывающий и 40 лет, со «старым социализмом», в три раза его старшим по возрасту. Осуждая старый социализм в целом, Б. П. Вышеславцев ни разу не упоминает не только оппонента Маркса — Лассалья, но и Бернштейна, Жореса, Кер Гарди, Вандервельде, христианский социализм и — социализм народнический<sup>1</sup>. Между тем эти и другие представители «старого социализма» были «идеологами», или теоретиками, по своему понимавшими социализм, его

<sup>1</sup> О последнем автор упоминает лишь раз в подстрочном примечании, упрекая его вместе с марксизмом, в «фетишизме труда», который «сконцентрирован в слогане (?) «трудящиеся».

происхождение, назначение и возможное будущее. Роль и влияние каждого из этих теоретиков не могут, конечно, идти в сравнение с ролью и влиянием Маркса и, особенно, Ленина. Все они, однако, оставили заметный след в истории социализма нередко даже за пределами своих отечеств.

До вырождения марксизма в «ленинизм-сталинизм» марксизм господствовал только в Германии и Австрии. Он не был гегемоном в России. А в Англии, Франции, Италии, скандинавских странах, Бельгии доминировали не-марксистские, а то и анти-марксистские течения в социализме. Проф. Вышеславцев же глядит на весь социалистический мир сквозь узкое марксистское окошко. Он при этом еще настаивает на том, что марксистский социализм только и есть настоящий социализм. Это, конечно, облегчает критику, но не перестает быть и фактически неверным, и политически несправедливым.

«Старому социализму» автор противопоставляет неосоциализм, у которого обнаруживает точки соприкосновения с близким его сердцу неолиберализмом, что только и позволяет вести «диалог» с неосоциализмом<sup>2</sup>, а не атаковать его с места в карьер. Но и неосоциализма проф. Вышеславцев не приемлет. «Что получилось от неосоциализма?.. Нужно откровенно признать, что пока еще ничего нового не получилось». Верность принципу подлинной демократии и свободе? Но это принципы неолиберализма. Это он «хочет, в отличие от старого либерализма, расширить реализацию этих принципов до пределов индустриально-экономической сферы». — А «нео-

---

Как последователь Н. А. Бердяева в 20-х и 30-х годах, проф. Вышеславцев не мог не знать высказываний раннего Бердяева 1906-1910 гг., когда, следуя за Влад. Соловьевым, он писал: хотя правда гуманизма, демократии и социализма, развивалась «в светской культуре вне религии и как бы против христианства», по существу, «в последней глубине это правда Христа, правда Божественного Человека».

<sup>2</sup> Проф. Вышеславцев не определяет точно «неосоциализма». Отличается ли он чем-либо от ревизионизма? Не оговаривает он даже того, что его «неосоциализм» не тот, который возник во Франции 30-х годов в результате откола от социалистической партии группы депутатов во главе с Реноделем, Маркэ, Деа и др. Маркэ, Деа и другие позднее скомпрометировали себя сотрудничеством с наци и совершенно исчезли с политического горизонта. Справедливости ради надо прибавить, что и некоторые ортодоксальные социалисты Франции, во главе с генеральным секретарем партии Полем Фором, стали на тот же путь сотрудничества.

социализм» этого не хочет? — спросим мы. И «старый социализм» этого не хотел, этому противился?

Достаточно поставить эти вопросы, чтобы лишний раз убедиться, как произвольны и бездоказательны суждения автора — его одобрение и осуждение. Он допускает «право на существование» для неосоциализма, но под непременно условием — «только если он отречется от всех предрассудков старого социализма». Аналогичного требования неолиберализму — отречься от *всех* предрассудков старого либерализма — он не предъявляет.

Проф. Вышеславцев категорически заявляет: от социализма ничего не останется, если он откажется от социализации и национализации — даже мирной и постепенной. Вместе с тем он сам же приводит свидетельства того, что и для «старого социализма» существо его вовсе не сводилось к национализации. И не всякий, кто их защищает, является непременно социалистом: национализацию защищают и коммунисты, и технократы, и фашисты, и наци, и мало осведомленные обыватели. Но всякий социалист защищает и национализацию в известных формах. Еще Линкольн говорил: «задача правительства сделать для народа то, что необходимо сделать, но не может быть выполнено индивидуальными усилиями или не может быть сделано так хорошо». Рузвельт и Труман всячески отталкивались от социализма, но не переставали создавать «попечительную» государственность, в которой многие американцы, во главе с Хувером и Тафтом, усматривали социализм, а Черчилль доказывал, наоборот, что это «*наше* (консерваторов) политическое дитя»<sup>3</sup>. Да и как можно обойтись без национализации известных хозяйственных областей в атомную эпоху, когда, кроме коммунистов, все страны настаивают на *интернациональном* контроле производства и потребления атомной энергии?

Национализация Английского банка, угольной промышленности, воздухоплавательных линий, электрической энергии и, так называемая, социализация медицинской помощи, как известно, не повлекли за собой ни исчезновения социалистического движения в Англии, ни тех ужасов, которые предсказывали ученые противники социализма. Все эти национализации сейчас вошли в английскую жизнь, и во время избирательной кампании партия Черчила обещала не денационализировать национализированное (кроме стальной промышленности),

<sup>3</sup> Подробнее в моей статье «Свобода и Социализм». — «Новый Журнал», кн. 23.

а осуществить лучше, дешевле и эффективнее то, что рабочее правительство сделало бюрократически и неэкономно. Заслуживает внимания также, что сами социалисты в Англии считают «упразднение безработицы рабочим правительством более крупной социальной революцией, нежели передачу ключевой промышленности в общественную собственность»<sup>4</sup>.

\*  
\*  
\*

Одной из главных причин, почему проф. Вышеславцев отталкивается от неосоциализма, является то, что национализацию неосоциализм представляет себе в форме огосударствления. А Б. П. Вышеславцев издавна привык относиться с недоверием к государству: он защищал «безвластно правовую организацию общества» (см. «Путь» № 34 за 1926 г. под редакцией Н. А. Бердяева), и с того времени симпатии его к государству не возрасли.

В поисках противовеса всемогуществу государства проф. Вышеславцев нашел его в т. н., *хозяйственной демократии*, в распространении демократических начал на хозяйственную сферу, в введении особой конституции на фабриках и заводах. Эту идею проф. Вышеславцев приписывает неолиберализму и требует, чтобы и неосоциализм «признал идеал хозяйственной демократии». На это неосоциализм с полным правом мог бы возразить: моим же добром да мне же челом!.. Ибо требование хозяйственной демократии выдвинуто было социалистическими и синдикалистскими кругами за много десятилетий до того, как проф. Вышеславцев решил отнести его на счет неолиберализма. При этом, остановившись на хозяйственной демократии в противовес излишествам государственного социализма, проф. Вышеславцев не нашел никого другого, на чей авторитет он мог бы опереться, как на стоявших на крайнем левом фронте английского и французского социализма Харольда Ласки и Георгия Гурвича. Даже из старых социалистов-марксистов и не-марксистов — мало кому импонируют эти имена<sup>5</sup>.

И литературой о хозяйственной демократии проф. Вышеславцев владеет далеко неполно. Так он совершенно не упоминает большого и очень основательного труда проф. С. И. Гес-

---

<sup>4</sup> Socialism. A New Statement of Principles. London. 1952 p. 21.

<sup>5</sup> Ласки известен тем, что до самой смерти доказывал необходимость «лучше понять» большевизм. Во время войны он убеждал Черчилля ввести социализм путем декретов.

Проф. Гурвич отошел от русской политики уже несколько десятилетий тому назад. После войны он оказался среди сотрудников «Советского патриота» и, говоря о советской конституции в «Декла-

сена «Проблема правового социализма», печатавшегося в семи книжках «Современных Записок», с 1924 г. начиная. Имеются в ней и главы, специально посвященные «Эволюции Либерализма», «Либерализму и Социализму» и хозяйственной демократии. Проф. Гессен три десятилетия тому назад многое утверждал почти в тех же самых выражениях, что, не ведая того, сейчас повторяет проф. Вышеславцев. Проф. Гессен положительно относится к «новому либерализму», считая его «продуктом социалистической критики либерализма». Но, по его убеждению, «в слишком многом новый либерализм остается еще на полпути: продуманный до конца, он несомненно должен притти к выводам, уже вплотную приближающимся к тому, что составляет основное содержание программ современных социалистических партий». («Совр. Зап.», кн. 23, стр. 314).

Примерно, в то же время, в связи с моей статьей «Государство и русский социализм», направленной против «конструктивного социализма» В. М. Чернова, или социализма, построенного на хозяйственной демократии, возник обмен мнениями между Г. Д. Гурвичем и мною на страницах тех же «Соврем. Записок» (кн. 25). Мы оба исходили из демократии. Но Г. Гурвич доказывал необходимость социализации хозяйства на путях «внегосударственного правового регулирования», тогда как я настаивал на признании решающего слова в последнем счете за государством. Г. Гурвич апеллировал к тому, что право категория метафизическая, а государство — категория историческая. Я же доказывал, что и право — категория историческая, и государство можно воспринимать метафизически, как это делал Гегель.

Из того факта, что исторически право и государство были «капиталистическими», Ленин сделал вывод, что *всякое* право и государство «буржуазны», то-есть враждебны интересам рабочего класса. Позднее большевики «использовали» в партийных интересах и государство, как «использовали» науку, искусство, религию. Но умалять значение государства на том основании, что большевики, фашисты и наци превратили его в тоталитарного Левиафана, значит следовать логике Ленина 1915-1917 гг. Невзирая на все недостатки, демократическое государство — величайшее достижение культуры и громадная морально-политическая ценность.

---

рации социальных прав», вышедшей по-французски и по-английски, — ни словом не оговорил, что эта конституция — Филькина грамота, а не вошедшие в жизнь основные законы, охраняющие личные и социальные права граждан.

\*\*

\*

Вопрос о хозяйственной демократии — не новый вопрос. В русской политической эмиграции он обсуждался в течение всех 35 лет ее существования. Западно-европейская же мысль не переставала задумываться над этим вопросом, примерно, 125 лет — со времен чартистского движения в Англии и зарождения социализма во Франции, когда «великие принципы 1789 года» не оправдали возлагавшихся на них надежд. И разномыслие проходило по линии: хозяйственная демократия *вместо* политической, как утверждали чартисты, синдикалисты, некоторые анархистские и анархо-коммунистические течения, сторонники советской «трудократии» и т. п., или *в дополнение* к политической демократии, как доказывали старые и новые социалисты и, по мнению Б. П. Вышеславцева, «неолибералы». По существу же проблема остается нерешенной. И если бы я теперь возражал Г. Д. Гурвичу, я иллюстрировал бы свои сомнения новейшей практикой рабочего движения в Соединенных Штатах.

В высоко-индустриализированной Америке социалистического движения, как известно, не существует. Это противоречит и Марксу, и исходному утверждению проф. Вышеславцева, что социализм — порождение индустриализма. Рабочий класс в Америке в своей массе, если и не аполитичен, всё же *своей*, рабочей партии не создал. Но он создал своеобразную «хозяйственную демократию», которую расценивает очень высоко. Здесь укоренился неведомый в Европе институт «замкнутых» профессиональных союзов (*closed shop*), доступ в которые не свободен для всех желающих, а находится под контролем руководителей юнионов. Эта «замкнутость» чрезвычайно усиливает положение юнионов в споре с предпринимателями. Но она же делает их вершителями судеб рабочих, *вынуждаемых* к зачислению в члены юниона под фактической угрозой оказаться на положении безработных. Плюс это или минус применительно к общим идеям свободы, равенства и справедливости?

В Соединенных Штатах нет социализма, ни марксистского, ни другого типа, но классовая борьба существует. Она протекает часто в своеобразной форме, неизвестной в Европе. Недавняя стачка в сталелитейной промышленности закончилась тем, что рабочие очень легко и быстро договорились с предпринимателями о повышении заработной платы, ибо новая администрация Айзенхауэра разрешила то, что воспрещала администрация Трумана, — повышение цены на сталь. Таким образом выигрыш рабочих произошел не за счет прибыли предпринимателей, а за счет третьей стороны, непричастной к конфликту, —

потребителей и налогоплательщиков, то-есть громадного большинства населения. Улучшение уровня жизни рабочих произошло при сохранении уровня жизни предпринимателей: те и другие миролюбиво договорились в *своих* интересах и *против* интересов всех других.

В другом случае, щадя народные средства, правительство Айзенхауэра отменило заказ на транспортные самолеты, данный фирме Генри Кайзера, который поставлял их в три раза дороже рыночной цены. В предприятии занято было 12 тысяч рабочих, и юнион, в интересах *своих* рабочих, лишившихся заработка, заявил протест против того, что правительство, в интересах населения и казны, отказалось переплачивать Кайзеру лишние миллионы, извлекаемые путем налогового обложения.

Не следует отводить эти факты, как отдельные случаи или исключения, ничего будто бы не доказывающие. Существо проблемы состоит в том, что личные и групповые интересы, очень почтенные и достойные признания, могут сталкиваться и противоречить интересам других групп или даже всего населения. Такой возможности не отрицают ни старые социалисты, ни неосоциалисты. На июльской конференции транспортных рабочих в Англии секретарь трэд-юниона Артур Дикин открыто заявил: «чувствуется, что условия рабочих в национализированной промышленности улучшились за счет потребителей». И в подобных случаях необходимы арбитры или суперарбитр, за которым должно остаться последнее слово.

Хозяйственная демократия и конституция на фабриках и заводах может быть благом. Но она не может быть панацеей. И согласившиеся между собой предприниматели и рабочие не в праве решать вопросы, касающиеся не только их, но и прочих слоев населения, большинства народа. Высшей инстанцией или супер-арбитром здесь, как и в других случаях, остается *политическая демократия*, или народно-представительное учреждение, свободно избранное с соблюдением всех гарантий правильных выборов.

Что́ и говорить, современная политическая демократия очень далека от совершенства, — что́ и естественно. Но причиной здесь является не индустриализм, а человек, его природа и созданные им учреждения. Хозяйственная демократия может явиться лишь элементом или моментом в общем оздоровлении и укреплении политической демократии. Это не слишком утешительно, но зато единственно реально или — «идеал-реалистично».

**М. Вишняк**

# СОЦИАЛИЗМ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Двадцать пять лет тому назад в Германии был издан сборник «Хозяйственная демократия». Все участники сборника были демократическими социалистами, работавшими в германской социал-демократической партии и свободных (социалистических) профессиональных союзах. Этот сборник не был ни началом, ни концом. Он был результатом нескольких лет как работы мысли многих лиц, так и коллективного обсуждения. В свою очередь «Хозяйственная демократия» стала исходным пунктом для дальнейшей работы. И это не было предприятием одиночек, изолированных среди социалистического движения. Сборник был почти что официальной публикацией правления профессиональных союзов, в издательстве которого он и появился. Идеи сборника нашли широкое сочувствие — но и оппозицию «слева» — в партийных кругах. Он был составлен под редакцией Фрица Нафтали, бывшего тогда директором исследовательского института по экономической политике («Forschungsstelle für Wirtschaftspolitik») организованного с.-д. партией, свободными профсоюзами и социалистическими кооперативами. Принципиальное предисловие было написано сотрудником того же института — пишущим это строки. Изложенные в сборнике идеи хозяйственной демократии послужили основой для «программы перестройки хозяйства», принятой сначала объединением профсоюзов служащих, а затем с некоторыми изменениями и рабочими профсоюзами. Кроме того, автор настоящей статьи по поручению партии написал брошюру, излагающую новую концепцию пути к осуществлению социализма, как законченной хозяйственной демократии. В Германии эта работа прервалась с приходом Гитлера. Но до начала войны она в известной мере продолжалась в других странах — в особенности в Бельгии, где в ней участвовали некоторые социалистические эмигранты из Германии. Парал-

лельное развитие имело место в скандинавских странах, а также у некоторых французских социалистов и синдикалистов. После войны проблематика хозяйственной демократии стала очень актуальной в Англии. В Америке развиваются сходные идеи, только здесь они не называются социалистическими.

Я ограничиваюсь пока этой сухой фактической справкой. Она была мне нужна по особому поводу. В недавно вышедшей книге Б. П. Вышеславцева «Кризис индустриальной культуры» идее хозяйственной демократии придается очень большое значение. Причисляя себя к «неолибералам», автор считает возможным «разговор» неолиберализма с неосоциализмом, с чем я совершенно согласен. Но при этом он пишет: «Для неосоциализма останется только одно: признать *идеал хозяйственной демократии* и заявить, что в этом он совершенно согласен с неолиберализмом. Но ведь это совершенно чужой идеал и т. д.» (стр. 348). Демократическому социализму нет надобности делать такое заявление: хозяйственная демократия, неразрывно связанная с демократией политической, и есть социалистический идеал. Если пользоваться названием «неосоциализм», неприятно звучащим благодаря таким французским «неосоциалистам», как Марсель Деа, то оно применимо прежде всего именно к тем социалистам, которые разрабатывали идеи хозяйственной демократии. Но беда Вышеславцева в том, что он ни о развитии идеи хозяйственной демократии, ни вообще о развитии социалистических идей за последние полвека не имеет достаточного представления. О существовании «неосоциализма» он узнал из статей Б. И. Николаевского («Теоретическое завещание Гильфердинга» в «Соц. Вестнике» за 1947 г.) и Г. Я. Аронсона («Социализм в наши дни» в № 17 «Нового Журнала»). Кроме того, он знаком с одним докладом Гарольда Ласки, у которого — у социалиста! — он и заимствовал большую часть того, что он говорит о хозяйственной демократии. При такой степени знакомства с предметом не удивительно, что Б. П. Вышеславцев всё еще приписывает теории трудовой ценности такое значение, какого она для социалистических доктрин давно уже не имеет. Для опровержения этой теории, как он ее понимает, Б. П. Вышеславцеву понадобилось около ста страниц, переполненных ошибками и недоразумениями. Между тем неприменимость теории трудовой ценности к современным условиям можно было бы вполне убедительно показать на двух или трех страницах. Но для этого были бы нужны экономические аргументы, оставшиеся Вышеславцеву неизвестными. Вышеславцев даже приписывает Марксу представление о принципе трудовой стоимости, как чуть ли не вечном законе, действу-

ющем «как в капитализме, так и в коммунизме». (стр. 316). Между тем Маркс («К критике политической экономии») очень ясно говорит, что «осуществление (этого) закона зависит от определенных исторических предпосылок», одной из которых является наличие свободной конкуренции, о чем при коммунизме не может быть и речи. Каково бы ни было в прошлом значение теории трудовой ценности, той экономической действительности, к которой она была применима, больше нет. Но причины кризиса социализма не в ошибочности или устарелости этой теории. Более того: к кризису социализма эта теория вообще никакого отношения не имеет. О некотором, но гораздо менее остром, кризисе можно было говорить, — и говорилось, — уже тогда, когда возник ревизионизм, связанный в первую очередь с именем Бернштейна. Кризис этот, кстати сказать, росту социалистического движения нигде нисколько не повредил. Но я оставляю в стороне это уже сравнительно далекое прошлое. Для социализма исторической гранью решающего значения была Первая мировая война. Я имею в виду не только всем известный раскол, приведший к образованию непреходимой бездны между демократическим социализмом и коммунизмом. Менее известны другие факты, вызвавшие критический пересмотр господствовавших до войны социалистических идей и установок.

После войны социалистические партии в демократических странах одна за другой оказались в новой обстановке и перед новыми задачами. До войны они были партиями постоянной оппозиции и в правительственной деятельности участия не принимали. Такой факт, как участие французских социалистов под руководством Жореса в правительственном большинстве, был временным и единственным в своем роде исключением. Социалисты или ставили требования в пределах того, что было достижимо без участия в правительстве, или, наоборот, требования, явно невыполнимые, с агитационной целью демонстрировать коренные недостатки буржуазного строя.

После войны положение резко изменилось. Удельный политический вес рабочего класса и представлявших его партий вырос настолько, что участие социалистов в правительствах часто становилось неизбежным. При принципиальном отказе социалистов участвовать во власти демократия просто не могла функционировать. Не менее важно было усиление роли социалистов в органах местного самоуправления. Раньше всего эти изменения проявились в Германии и сильнее всего повлияли на германскую социал-демократическую партию. Эта партия в своем большинстве уже до войны не была революционной в

традиционном смысле слова. Социальная революция не представлялась больше как насильственный переворот, а должна была быть результатом завоевания власти демократическим путем. В своем партийном гимне немецкие социалисты пели, что они победят «под знаком свободного избирательного права»<sup>1</sup>, и это вполне соответствовало преобладавшему настроению. Всё же миф социальной революции оставался. Но несмотря на такую литературу, как брошюра Каутского о социальной революции и книги Атлантикуса (Баллода), о государстве будущего, конкретного представления о том, как должна эта революция осуществляться, в сущности никогда не было. Это «как» было делом неопределенного будущего. И вдруг после войны и явившейся ее следствием революции та же партия оказалась у власти и перед множеством труднейших задач управления и организации. Не имея собственного большинства, она была с тех пор настолько значительным меньшинством, что постоянно уклоняться от участия во власти уже не могла. Она перестала быть так называемой «безответственной» оппозицией. Не только участвуя в правительстве, но и находясь в оппозиции, партия не переставала чувствовать себя ответственной за судьбу государства и благосостояние всего народа, а не только рабочего класса. Новая ситуация поставила социалистическое движение — вслед за Германией и в других демократических странах — перед новыми проблемами: как согласовать текущую практику с основным социалистическим устремлением? Как сочетать представительство рабочего класса с защитой интересов всех слоев населения? В каком направлении и какими методами стараться преобразовать экономическую структуру общества и так далее. И всё это повелительно требовало новой формулировки самого социалистического идеала, нового и вполне конкретного представления о процессе социалистического преобразования. Эти проблемы вставали и перед теоретиками и перед рядовыми партийными работниками. Я помню, как в 1926 году в разговоре со мной один редактор провинциальной с.-д. газеты жаловался мне на трудности своего положения: «Раньше, — говорил он, — всё было так просто. Я или критиковал правительство или писал пропагандистские статьи о том, как всё будет хорошо при социализме. А теперь наши товарищи играют руководящую роль в городском самоуправлении. Мне приходится писать, например, о мошении

<sup>1</sup> Das freie Wahlrecht ist das Zeichen,  
In dem wir siegen...

улиц. А я не знаю, как нужно *социалистически* мостить улицы».

Я не могу дать здесь полную картину этого схематически намеченного мною развития и остановлюсь лишь на основных моментах, вводящих в круг идей хозяйственной демократии. Одним из них является имевшая место в первые годы после германской революции работа комиссии по социализации. Именно в этой работе и в связи с ней проявилось очень осторожное и скорее даже отрицательное отношение к далеко идущей *национализации*. С тех пор стало очень отчетливым и приобрело большое принципиальное значение различие между социализацией и национализацией, по-немецки «Vergesellschaftung», » и «Verstaatlichung». По-русски это пришлось бы передать словами: обобществление и огосударствление, последнее из которых очень неуклюже. Между тем Вышеславцев этого различия не знает. Термины «национализация» и «социализация» он употребляет, как синонимы, а в одном месте прямо заявляет, что «обобществление орудий производства — есть выражение, которое ничего не означает, ибо может означать вещи разные и совершенно противоположные» (стр. 301). Но если Вышеславцев спросит старого французского синдикалиста, а теперь и социалиста Леона Жуо, то тот ответит, «Я за социализацию, но против национализации», как он однажды сделал в моем присутствии. Собственность может быть общественной, не будучи государственной. Кроме того, возможно обобществление не только орудий производства, но и различных экономических функций. Наиболее распространенный пример этого мы имеем в муниципальном хозяйстве (снабжение водой, городские пути сообщения, муниципальные больницы, мощение и очистка улиц и так далее). Стоит вспомнить, что на своем «объединительном» съезде в 1906 году российская социал-демократия приняла масловскую программу муниципализации земли против ленинской программы национализации и против предложенного некоторыми другими раздела.

Даже всеобщая муниципализация, которой никто не предлагает, чрезвычайно существенно отличалась бы от всеобщей национализации. Последняя делает государство *единственным предпринимателем*, и в этом ее огромная опасность, так как все попадают в полную материальную зависимость от государства. Переменить предпринимателя, т. е. работать не на государство, невозможно. Такая монополия государства-предпринимателя является одной из основ тоталитарной диктатуры. При всеобщей же муниципализации было бы столько же пред-

принимателей, сколько имеется органов местного самоуправления.

Оригинальной идеей того периода, о котором идет речь, была идея органов *хозяйственного* самоуправления, руководящих различными экономическими функциями вплоть до управления целыми отраслями промышленности в областном или общегосударственном масштабе. Еще в комиссии по социализации возникла идея экономических органов, состоящих из представителей предпринимателей (или вообще руководителей производства), рабочих и *потребителей*. Возникла также идея центрального экономического органа, получившая в Германии очень несовершенное и не имевшее большого значения осуществление. Некоторыми развивалась идея нового типа демократической двухпалатной системы — не нижней и верхней, а политической и экономической палат. Так образовалась бы демократическая структура, начинаясь внизу с широкого участия рабочих представителей в организации и администрации отдельного предприятия — как это называлось в Англии, «конституционной фабрики», — и подымаясь вверх до общегосударственного хозяйственного парламента.

Я еще раз оговариваю неполноту своего изложения, но я должен сберечь место для еще двух пунктов основного значения и, во-первых, для вопроса о плановом хозяйстве. Социалисты и раньше представляли себе социалистическое хозяйство как строго планированное. Но до первой мировой войны это представление не было достаточно конкретным. Сейчас же после войны и опять-таки прежде всего в Германии проблема планового хозяйства стала разрабатываться более обстоятельно. Стимулом для этого был главным образом опыт вынужденного планирования во время войны. Интерес к проблеме ослабел в годы промышленного подъема, но снова очень оживился под влиянием начавшегося в 1929 году кризиса, а также происходившего в советской России опыта осуществления планового хозяйства. Здесь, однако, существенно указать на то, что постоянной причиной растущего интереса к проблеме планирования было перемещение идейного центра тяжести в социалистической проблематике. Проблема справедливого распределения постепенно теряла свое центральное значение — по мере того, как рост профессионального движения обнаруживал такие возможности повышения жизненного уровня *работающих*, о котором раньше нельзя было и мечтать. Тем острее становилась связанная, в особенности, с кризисами, проблема *безработицы*. Кризисы возникают вследствие развивающихся в неорганизованном, как целое, хозяйстве несоответствий — «дис-

пропорций» — между различными областями и факторами экономической деятельности. Организованное и планированное хозяйство является, казалось бы, естественным и бесспорным ответом. Но тут возникает вопрос, возможно ли при такой хозяйственной системе сохранить демократию. И с политической и с чисто экономической точки зрения возникают опасения не только чрезмерного усиления государственной власти, но и удушающей инициативу бюрократизации хозяйства. В этой связи развивались идеи «эластичного» планирования, не планового, а «направляемого» или «ориентированного» хозяйства. До общего согласия социалистов по этому вопросу еще далеко. С тех пор, как в конце 30-х годов властителем экономических дум стал Кейнс, на первый план выдвинулась проблема полной занятости («full employment»), над которой усиленно работают и социалистические экономисты. Некоторые из них так и определяют социализм: демократия плюс полная занятость.

Остается вопрос о национализации. После первой мировой войны он ставился уже совсем иначе, чем до нее. Национализация всё меньше рассматривалась как благо само по себе, а допускалась в определенных случаях как необходимость. Пример советской России, конечно, еще усилил эту возникшую независимо от большевистского опыта установку. Я не знаю, остались ли еще среди демократических социалистов сторонники всеобщей национализации. Вряд ли кто-нибудь думает, например, о национализации предприятий, работающих непосредственно на потребителя, в которых особенно важны применение к запросам потребителя и соревнование между производителями. В том круге идей, о котором я говорил в начале статьи, преобладающим было следующее отношение к национализации: она признавалась необходимой там, где сосредоточение в больших концернах огромной экономической мощи может стать опасным — политически для демократии, экономически для других отраслей хозяйства (например, в результате экономически неоправданных цен на сырье и другие средства производства). Это означает прежде всего национализацию предприятий монопольного характера и, в особенности, имеющих «ключевое» значение для всего хозяйства. Национализация таких отраслей представлялась не в виде создания бюрократических ведомств, а в форме органов хозяйственного самоуправления с широким применением принципа представительства потребителей.

Я надеюсь, что и эти беглые замечания дают представление об идее хозяйственной демократии. «Разговор» о ней с

«неолибералами» я, повторяю, считаю возможным и полезным. Но, прочитав книгу Вышеславцева, я остаюсь в недоумении, какой же «неолиберализм» он имеет в виду. То, что он говорит о хозяйственной демократии, Вышеславцев заимствует не у либеральных авторов, а у левого социалиста Ласки и у Гурвича, который вряд ли согласится признать себя либералом. По мнению Вышеславцева, «наиболее видными выразителями неолиберализма являются»: в Англии Хайек, в Америке Вальтер Липман и в Швейцарии Репке. Я недостаточно знаком с теперешними идеями Репке, но по тому, что у него берет Вышеславцев, я склонен считать его скорее представителем *старого* либерализма (каким он и был в догитлеровской Германии). Таковым, несомненно, является Хайек. Бывшего социалиста Липмана можно отнести к неолибералам на основании его довольно уже давней книги «Good Society», которую и имеет в виду Вышеславцев. Но американский неолиберализм имеет целый ряд гораздо более характерных представителей. А, главное, в Америке неолиберализм имел своим *политическим* вождем крупную историческую фигуру, наложившую своей деятельностью глубокую печать на всю американскую жизнь — президента Рузвельта.

Ю. Денике.

## М. И. РОСТОВЦЕВ И А. А. ВАСИЛЬЕВ

На протяжении семи месяцев ушли из жизни два выдающихся представителя русской эмиграции, тесно связанных друг с другом и общностью научных интересов, и многолетней личной дружбой. Михаил Иванович Ростовцев скончался 20-го октября 1952 года, на восемьдесят втором году жизни, а Александр Александрович Васильев — 30 мая 1953 года восьмидесяти пяти лет отроду. Оба историка были воспитанниками Петербургского университета, оба добились широкого, не только всероссийского, но и международного — признания еще в дореволюционное время, оба были вынуждены эмигрировать из России и оба закончили свою научную и педагогическую деятельность в Америке. Не только их научная и личная близость, но и этот параллелизм в их судьбе позволяют мне посвятить их памяти один общий очерк. Так же, как они были связаны в жизни, они останутся связанными и в нашем о них воспоминании.

---

М. И. Ростовцев родился в Житомире, но гимназию окончил в Киеве и после того в течение двух лет учился в Киевском университете. В 1890 году он перешел в Петербургский университет, который и окончил в 1892 году. С тех пор, за исключением частых и иногда продолжительных заграничных поездок, весь дореволюционный период жизни М. И. был неразрывно связан с Петербургом. В 1898 году он начал преподавать в Петербургском университете, в котором затем стал ординарным профессором. В 1916 году он был избран членом Академии Наук. Он эмигрировал из России вскоре после водворения советского режима и поселился сначала в Англии, а потом (в 1920 г.) в Соединенных Штатах, куда был приглашен Висконсинским университетом для занятия кафедры древней истории. Так начался тридцатидвухлетний американский период жизни и деятельности М. И., и за это время им были написаны и опубликованы главные его исторические работы, появившиеся на английском языке и пока еще недоступные русскому читателю.

Советский режим, к которому М. И. до конца своих дней сохранял неизменно и непримиримо отрицательное отношение, лишил Россию Ростовцева, и эта русская потеря оказалась огромным приобретением для Америки. Ростовцев сделался гордостью американской исторической науки, неоднократно представлял ее на международных научных конгрессах и был почтен избранием в председатели Американской Исторической Ассоциации. После пятилетнего преподавания в Висконсинском университете, М. И. был приглашен (в 1925 г.) в Йельский университет, один из старейших и лучших американских университетов, где он оставался профессором древней истории и археологии до 1939 года. Одновременно, и в течение нескольких лет после своей отставки, он был также руководителем археологических раскопок на берегах Евфрата, организованных по его инициативе Йельским университетом.

В небольшой записке, составленной М. И. Ростовцевым в 1941 году и представляющей собою его научную автобиографию<sup>1</sup>, он сам определил основное содержание своей исследовательской работы и особенности своего подхода к историческим проблемам. С самого начала его одинаково привлекали две области: древняя история и археология, причем в последней он видел необходимую вспомогательную дисциплину для изучения первой. В древней истории, пишет он, «внимание мое было привлечено главным образом проблемами экономической и социальной жизни». Но он спешит оговориться: «Не то, чтобы я был материалистом в истории. Напротив. У меня был такой же живой интерес к истории культуры, искусства и религии как и к истории социально-экономической. Но случай и инстинкт влекли меня к тому, чтобы посвятить главные мои усилия проникновению в социальную и экономическую жизнь (древнего мира) в ее исторических рамках и в ее развитии». История того или иного периода была для Ростовцева «куском жизни», и он утверждал, что историк должен *видеть* каждое историческое явление, что оно «должно предстать перед ним как картина жизни, а не как теоретическая абстракция». Отсюда же то предпочтение, которое Ростовцев отдавал источникам, «непосредственно отражающим жизнь»: для древней

---

<sup>1</sup> Записка эта была опубликована, повидимому, в извлечениях, американским учеником и сотрудником М. И., профессором Йельского университета *C. Bradford Welles*, в журнале *The Russian Review*, vol. 12, No. 2 (апрель, 1953 г).

истории — надписям, папирусам и археологическим памятникам.

Я позволю себе остановиться на одном из этих автобиографических показаний покойного ученого — на том, которое касается его преимущественного интереса к проблемам социально-экономического характера. Уже его ранние работы были посвящены таким вопросам, как налоговая система и организация земледельческого труда в римской империи. А в заключительный, американский период своей жизни он подвел итоги своим многолетним исследованиям в двух монументальных трудах, самые заглавия которых показательны: — «Социально-экономическая история римской империи» (1926) и «Социально-экономическая история эллинистического мира» (1941). Мы видели, что сам М. И. Ростовцев приписывал эту направленность своего научного интереса «случаю и инстинкту». Но мне всегда казалось знаменательным, что она совпадает с общей тенденцией русской историографии, начиная со второй половины 19-го века. Едва ли случайно, что интерес к социально-экономическим проблемам доминировал не только в работах русских историков, занимавшихся отечественной историей, но и в работах по всеобщей истории. Напомню только о двух примерах. Русский историк Виноградов сделался одним из главных авторитетов по аграрной истории средневековой Англии, а в применении к ранним периодам новой истории эта традиция была продолжена его учениками Петрушевским и Савиным, как позднее их учениками — Косминским и другими. Точно так же киевский историк Лучицкий и вышедшие из его школы Ардашев и Тарле сделали ценный вклад в литературу по французской социально-экономической истории предреволюционного и революционного периода.

Ростовцев был связан с русской историографией и в более прямом и осязаемом смысле. «Как русский, глубоко привязанный к своей родине», — пишет он в той же автобиографической записке — «я естественно заинтересовался историей России в классическое время». Плодом этого интереса явился ряд работ, завершившихся книгами об иранцах и греках в Южной России (1922) и о скифах в Босфорском царстве (1932). Эта работа, основанная почти исключительно на археологическом материале и в значительной своей части посвященная истории искусства, позволила Ростовцеву сделать ряд выводов более общего значения, относительно того культурно-исторического наследия, на почве которого выросло Киевское государство. Ростовцев несомненно сыграл большую роль в том хронологическом углублении изучения истории России, далеко

за пределы «призвания варягов», которое так характерно для русской исторической литературы последних десятилетий.

В своих работах по древней истории Ростовцев был, конечно, очень далек от всяких попыток модернизации (вроде тех, например, какие были сделаны Ферреро, а у нас в России Виппером), но всё же, перечитывая его главы о революционном кризисе III-го века в римской империи, я не могу отделаться от чувства, что, когда он писал эти главы, его не оставляла мысль о той революции, свидетелем которой он был на своей родине. Революционное движение в римской империи изображается им как восстание деревни против города — бунт низших классов, преимущественно сельских, против городской цивилизации, оставшейся им чуждой и во многом враждебной. Пафос этого движения — в стремлении ко всеобщему поравнению, а главное его орудие — армия, в подавляющем большинстве своем состоящая из крестьян. Из революционного кризиса империя выходит глубоко преобразенной: ее городская цивилизация фактически разрушена, а культурная и экономическая жизнь приобретает упрощенный, элементарный характер. На этой примитивной базе вырастает поздняя империя Диоклетиана и Константина, социально-политический строй которой, как он изображен Ростовцевым, имеет черты, предвосхищающие современное нам тоталитарное государство.

Ростовцев был одним из крупнейших историков нашего времени. В области древней истории его неоднократно сравнивали с Моммсенем, а из его современников наряду с ним ставили только Эдуарда Мейера. Как всякий подлинно большой ученый, он соединял с огромной эрудицией выдающуюся способность к научному синтезу. Но синтез его был тот частичный синтез, на который только и чувствует себя уполномоченным историк, основывающийся на тщательном изучении фактического материала в пределах избранной им для исследования области. Всеобъемлющей философии истории, стремящейся вывести «первоисточник» и «конечную цель» исторического процесса из какого-нибудь одного «начала», у Ростовцева не было. Даже по отношению к такой проблеме, как причины упадка античной цивилизации, он проявлял большую осторожность и сдержанность. В посвященной ей 12-й главе «Социально-экономической истории римской империи» он дает критический обзор различных существующих по этому вопросу теорий, приходит к выводу, что ни одна из них не является вполне удовлетворительной, но в сущности не предлагает своей собственной. Знаменательно, что глава эта кончается **на**

вопросительном знаке: «Не осуждена ли каждая цивилизация на упадок в тот момент, когда она начинает проникать в массы?».

М. И. Ростовцев отличался исключительной работоспособностью и был подлинным подвижником науки. Но он не был одним из тех кабинетных ученых, которых их наука отделяет и удаляет от внешнего мира. В нем был огромный интерес к жизни и к людям. Он любил, знал и понимал искусство; следил за литературой, за театром; принимал живое, если не всегда активное, участие в общественно-политической жизни. Среди его многочисленных знакомых и друзей были представители самых разнообразных культурных профессий. Те, кто стоял к нему ближе, знали его как внимательного, отзывчивого, прекрасной души человека.

---

А. А. Васильев был уроженцем Петербурга, кончил Петербургский университет и от этого же университета получил свою докторскую степень. В 1904 году он начал свою профессорскую карьеру в Юрьевском (Дерптском) университете, а в 1917 году был избран профессором Петербургского университета, где и оставался до 1925 года, когда ему удалось выехать из России. В том же году он прибыл в Соединенные Штаты по приглашению Висконсинского университета, предложившего ему занять кафедру, освободившуюся с переходом М. И. Ростовцева в Йельский университет. Его профессорская деятельность в Америке закончилась в 1939 году, но через несколько лет он был приглашен в качестве научного сотрудника в находящийся в Вашингтоне Византийский исследовательский институт (Dumbarton Oaks) Гарвардского университета, связь с которым он сохранил до последних дней своей жизни.

На протяжении его профессорской карьеры А. А. Васильеву приходилось преподавать и древнюю, и средневековую историю, но его настоящей специальностью была история Византии, которой и была посвящена его исследовательская работа. В начале своих университетских занятий А. А. думал было о том, чтобы стать востоковедом, но его учитель, известный арабист барон Розен посоветовал ему заняться историей арабо-византийских отношений, используя для этой цели свое знание арабского и греческого языков. Розен же направил А. А. Васильева к выдающемуся русскому византологу В. Г. Васильевскому, под руководством которого А. А. и стал работать по византийской истории. По утверждению самого А. А.

соединенное влияние барона Розена и Васильевского явилось решающим для всей его научной карьеры<sup>2</sup>.

Васильев начал свою исследовательскую работу с критического издания ряда текстов арабских историков, а затем опубликовал две монографии по истории арабо-византийских отношений. Труды эти не только выдвинули его в первые ряды русских специалистов по византиноведению, но дали ему и международное признание в качестве одного из самых выдающихся византологов нашего времени. Опубликованная им уже в Соединенных Штатах общая история Византии (в двух томах) получила широкое распространение, как одно из основных и наиболее авторитетных пособий при изучении византийской империи. Она вышла вторым изданием и была переведена на русский, французский, испанский и турецкий языки. Подобно монографическим работам А. А. Васильева, история эта отличается богатством фактического материала и критическим использованием источников.

Занятия в области византийской истории естественно привлекли внимание Васильева к некоторым проблемам древнерусской истории. Уже самое занятие его арабскими историками неизбежно направляло его мысль в эту сторону, так как писания этих историков заключали в себе ценный материал не только для византийской, но и для русской истории. Из позднейших работ Васильева в этой области можно отметить его монографию о первом набеге русских варягов на Константинополь и этюд об юридических взаимоотношениях между киевскими князьями и византийскими императорами (обе эти работы вышли в Америке).

Как и М. И. Ростовцев, А. А. Васильев, при всей своей научной продуктивности, отнюдь не замыкался в сфере исторических интересов. Наряду с историей другой его страстью была музыка. Он сам рассказывал, что в ранней молодости одно время серьезно думал целиком посвятить себя музыке. В состязании между двумя музами, Клио быстро одержала победу над Евтерпой, но победа эта была не полной, так как музыка продолжала занимать очень важное место в жизни А. А. Васильева. Он и сам играл на рояли, и, где бы он ни находился, не пропускал ни одного интересного концерта или оперного представления. При его изумительной памяти он помнил все под-

---

<sup>2</sup> Незадолго до своей смерти А. А. Васильев предоставил для напечатания в «Новом Журнале» главу из его воспоминаний, посвященную его учителям и началу его научной работы. Глава эта будет напечатана в одной из ближайших книг нашего журнала. **Ред.**

робности особенно его поразивших музыкальных событий — так, например, рассказывая мне как-то о премьере «Снегурочки», он перечислил исполнителей всех главных партий и сделал несколько замечаний о темпах, взятых в том или ином месте дирижером (кажется, Направником), — и это дало ему возможность составить, уже здесь в Америке, нечто вроде летописи его музыкальной жизни.

Всю свою жизнь он был неутомимым путешественником и помимо европейских стран и Ближнего Востока, побывал и в таких частях света, куда русские туристы обычно не ездили — до Австралии включительно. Из русских эмигрантов, с которыми мне пришлось встретиться в Америке, он был кажется единственным, успевшим съездить из любознательности на Аляску, и притом даже два раза.

В нем была огромная жизнерадостность и его запас жизненной энергии был неисчерпаем. Вспоминаю как после того, как он сделался заслуженным профессором, он говорил мне, что настоящая жизнь началась для него только после отставки, а ему было тогда уже семьдесят два года! И это не было с его стороны простой бравадой или шуткой. Он продолжал вести научную работу, писал и печатал статьи и книги, предпринимал путешествия, ходил на концерты, брал от жизни все, что можно, и поражал окружающих своей физической и душевной бодростью.

Эта жизнеспособность, повидимому, сохранилась в нем до конца: почти накануне смерти он успел слетать на аэроплане в Грецию, а незадолго перед тем сдал в печать свою последнюю книгу, которая скоро должна выйти в посмертном издании.

**М. Карпович**

# СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Ф. И. РОДИЧЕВ и П. А. СТОЛЫПИН

## Письмо в Редакцию

М. Г. г-н редактор,

С согласия А. В. Тырковой, обращаюсь к Вам с просьбой поместить в Вашем журнале некоторые поправки к её рассказу о заседании 3-ей Государственной Думы от 17 ноября 1907 года. В своей интересной книге «На путях к свободе» А. В. Тыркова пишет: «По поводу военно-полевых судов Родичев произнес одну из своих лучших речей» — и затем приводит заключительные слова этой речи в следующей форме: «Прекратите эти кровавые расправы, они пятнают наши суды, довольно с нас и того, что их уже зовут Столыпинским галстуком». Не имея стенографических отчетов думских заседаний, А. В. писала по памяти и сделала ошибку, которую следует исправить.

Заседание, в котором отец произнес эту речь, не было и не могло быть посвящено обсуждению вопроса о военно-полевых судах, так как действие последних прекратилось еще за семь месяцев до того, 20 апреля 1907 г. Речь его была ответом на декларацию председателя Совета Министров, П. А. Столыпина, и касалась всей внутренней политики правительства. Я выписываю из стенографического отчета то место этой речи, которое повело к инциденту:

«Правительство приветствовали бы мы, если бы оно бесповоротно вступило на путь права и в область суда не вносило бы угроз. Мы приветствовали бы его, если бы оно сошло с плоскости силы, которая составляет собою только оправдание преступлений. При наличии этой психологии рассчитывать на прекращение преступлений — это утопия, потому что тот, кто не осмеливается всенародно судить преступника, казнить его — тот прежде всего сомневается в правоте своей. И сомневающиеся в правоте своей насильем не созиждут власти своей, они могут похоронить её. Вот почему мы, защитники порядка (смех), закона и власти (шум, звонок председателя)... Да, господа, я вам скажу более: в то время, когда русская власть находилась в борьбе с эксцессами революции, только одно средство видели, один палладиум — в том, что г. Пуришкевич называет «муравьевским воротником» и что его потомок назовет быть

может «стольпинским галстухом»... (Оглушительный, продолжительный шум. Возгласы: — Довольно, долой, вон)».

На этом месте председатель прервал заседание и по его возобновлении предложил Думе исключить Ф. И. Родичева из Думы на 15 заседаний «в виду того, что он позволил себе оскорбить главу правительства Его Императорского Величества». В своих объяснениях отец сказал следующее:

«Я беру свои слова назад. Я не имел намерения оскорбить ни Государственную Думу, ни депутата Пуришкевича, ни тем более председателя Совета Министров, и настаиваю в настоящую минуту только на одном: в мои намерения никаких оскорблений не входило и слова мои должны быть восстановлены в стенограмме в том виде, как я их произнес. Думаю, что со временем вы сами убедитесь, что я говорю не только совершенно искренне, но и соответственно вполне объективной правде.»

Несмотря на это заявление, предложение об устранении Ф. И. Родичева на 15 заседаний было принято большинством членов Думы (против 96 голосов). Вот как вспоминал об этом происшествии он сам в предсмертном письме А. Р. Ледницкому:

«Собралась III-я Дума. Её уже звали не законодательной, но законопослушной. Я хотел этой Думе дать характеристику новой, послеоктябрьской реакции и развить, в противоположность ей, программу 1-ой Думы.

Мне не пришлось этого сделать. Помню как сейчас враждебный гул с самого начала речи. Когда я помянул генерала Скалона, угрожавшего полякам вмешательством Вильгельма, раздались рычания с правой стороны. Волнение только росло и разразилось бурным скандалом после фразы о «Стольпинском галстухе». Я сказал: «Пока правительство в борьбе с эксцессами революции, прибегает к тому средству, которое духовный потомок Пуришкевича назовет, быть может, «Стольпинским галстухом» и собирался сказать: «Вот почему и стремились мы развить нашу программу». Образ галстуха пришел мне на язык, потому что в предыдущих заседаниях Пуришкевич к крайнему удовольствию правых говорил два раза о «Муравьевских воротниках» — средстве управления. Поднялась буря. Все, что были направо, вскочили с мест и вопили. Помню Пуришкевича, который с ругательствами кинулся меня бить. Его остановил плечистый Гегечкори. Помню Крупенского, ругавшегося матерными словами... Больше всех поразил меня Плевако. С развевающимися волосами, он спускался по проходу сверху вниз и неистово ругался матерными словами... Заседание в страшном шуме прервано. Собрались к. д. В собрание пришел думский пристав звать меня к Председателю. Я вспомнил свое правило: оценивать слова не по намерению оратора, а по впечатлению слушателя, и решил с самого начала, что я возьму

свои слова обратно, заявив, что я не имел намерения никого оскорбить. Так я и сделал. — «Я Вас прощаю», заявил Столыпин и круто повернулся уходить. — «Вам нечего прощать мне» послал я ему вдогонку. Собрали Думу. Я сказал то, что сказал Столыпину. — «Это не извиненье», — кричали справа. Большинством против к. д. и левых я был исключен на 15 заседаний. То был для меня страшный удар. — «Вот чем увенчалось стремление всей моей жизни!» Всю ночь я не мог заснуть, повторяя: «Что они со мной сделали». Утром начались другие впечатления. Началось с того, что принесли огромный букет от Марии Николаевны Стоюниной. Потом явился Вильямс, впоследствии муж А. В. Тырковой, умерший редактором внешнего отдела газеты «Times». Не помню в какую газету писал тогда Вильямс. Он был чрезвычайно доволен и моей речью и возгласом о галстухе и надеялся, что весь инцидент послужит началом нового поворота в общественном движении. А потом начались визиты, цветы, подношения. Много было польских посетителей и, наконец, на третий или четвертый день прислали мне огромную литографию, где изображены польские дети под арестом, перед отправленьем в ссылку. На рамке серебряная дощечка с надписью: «Федору Родичеву на память о таком-то дне». Эффектная картина. Она меня очень тронула. Впоследствии большевики увезли её.

В дружеском доме Л. Ф. Пантелеева, я встретил депутата Румянцева не из октябристов — «Зачем вы меня исключили?» — «А зачем Вы делаете такие жесты?» — Он попытался изобразить петлю.

Как бы то ни было, я был надолго выброшен из Думы. В начале заседанья были редки и мое изгнание продолжалось до Нового Года... Долго в Думе царило враждебное отношение ко мне».

Из этого письма между прочим ясно, что слова о «стольпинском галстухе» явились импровизацией, вызванной ссылками Пуришкевича на «муравьевский воротник», а не были повторением чужих слов, как это можно заключить из передачи А. В. Тырковой.

А. Родичева

## Д Л Я И С Т О Р И И

### Письмо в редакцию

В последней книжке «Нового Журнала» помещена очень интересная статья «В. Брюсов и его окружение». Автор, Б. Погорелова, свояченица Брюсова пишет о Брюсове — писателе и поэте. Но мельком она касается и Брюсова — политика. Б. Погорелова пишет: «кажется, в 1921 году у Брюсова произошли две встречи, с Луначарским и Троцким».

Я свидетельствую о следующем:

В мае 1918 г. в Москве стала выходить большая ежедневная газета «Возрождение». Ее издавало бюро эс-эровской фракции распущенного большевиками Учредительного Собрания и редактировали ее И. И. Бунаков, М. В. Вишняк, И. Н. Коварский и Питир. А. Сорокин. Постоянными сотрудниками «Возрождения» были Лев Шестов, Ф. А. Степун и другие. Большевики терпели «контр-революционную» пропаганду не от избытка благодушия, а потому что не были уверены в прочности своего существования. Раздоры, возникшие в их среде в связи с подписанием «гнуснейшего» (выражение Ленина) брест-литовского мира с немцами, достигали таких форм, что отвлекали их внимание от более энергичной борьбы с «социал-предателями». Борясь против Бухарина и др. в своем Ц. К. и с, так называемыми, левыми эс-эрами в Совнарком и советском ЦИК-е, Ленин того времени еще не решался окончательно ликвидировать свободную прессу.

Либеральный режим длился всё же недолго. Боевой характер «Возрождения» навлек на него гнев власти, и газета была воспрещена. А когда вместо «Возрождения» мы стали выпускать «Сын Отечества», власть решила окончательно пресечь неугодные ей высказывания. И пришла бумага от большевистского учреждения — не помню уже его названия — за подписью Валерия Брюсова... Да, Валерия Брюсова, писателя-эрудита и поэта. Отчетливо помню, как подпись поразила нас больше самого содержания бумаги.

Брюсов, служитель чистого искусства и мистик, *один из первых* перекинулся на сторону физических победителей и предоставил им на службу свое перо.

Служил Брюсов большевикам не только из страха. Незадолго до его смерти умер в том же 24-ом году Ленин. И Брюсов составил следующие безвкусные вирши для мощартовского реквиема:

Горе. Горе. Умер Ленин.  
Вот лежит он скорбно тленен.  
Вспоминайте горе снова.

Горе. Горе. Умер Ленин.

И т. д.

Брюсов тогда еще не знал, что предусмотрительное начальство набальзамирует Ленина, чтобы он не был «тленен».

Большевики оценили по заслугам стремительный переход к ним Брюсова. Они простили ему и происхождение из «зажиточной купеческой семьи», и былой «шовинизм» и «милитаризм». Они закрыли глаза даже на вещее предсказание Брюсова о «Грядущих гуннах», которые уничтожат всю современную культуру. Брюсов 1904-05 г., конечно, не предвидел, что 13 лет спустя он сам окажется в числе этих «гуннов».

**М. Вишняк**

## БИБЛИОГРАФИЯ

*Through the Glass of Soviet Literature.* Edited, with an Introduction by E. J. Simmons. Columbia University Press. New York. 1953.

В какой мере советская литература является «зеркалом», отражающим подлинную советскую жизнь? В стране, где обязанность писателя «рабски следовать партийным директивам», литература отражает, — по выражению проф. Симмонса, — только «идеализированную жизнь». История «контроля» советской литературы развивается параллельно истории коммунистической партии. К ждановскому изуверству большевики пришли не сразу. Проф. Симмонс вспоминает, что в период относительной свободы, связанной с НЕП'ом, авторитетный критик, коммунист Александр Воронский мог еще писать, что «искусство не должно быть на службе у пролетарского государства». Ему до известной степени вторил Бухарин, говоря, что «партия должна воздерживаться от прямого вмешательства в литературные дела». Но уже 1928 год знаменует собой не только экономическое и политическое, но и полное *духовное* порабощение. Интересно напоминание проф. Симмонса, что шумевший в те годы РАПП (Росс. Ассоц. Пролет. Писателей) не сдался без боя. В его органе «На литературном посту» были критические статьи по адресу партии и «тех людей, которые, ничего не понимая в литературе, стараются навязать писателям свои концепции». Но РАПП был уничтожен так же, как и другие литературные организации. В пришедшем на смену всем литературным организациям «Союзе Советских Писателей» нет уже ни споров, ни фракций, ни мнений, а полное и обязательное принятие «социалистического реализма». Это, конечно, ничуть не помешало А. Фадееву для пропаганды среди «нейтраллистов» невозмутимо заявить на одном из конгрессов «мира» в Париже, что «ни партия, ни правительство у нас не вмешиваются в творчество художника; они никогда не диктовали и не пытались диктовать писателям, ни темы, ни их характер, ни их художественные формы».

Странно, что подобные циничные и фальшивые заявления Фадеева дают повод проф. Симмонсу изложить теорию, которая, быть может, приведет в восторг адептов «большевистской партийности» в литературе. Проф. Симмонс говорит, что когда художник верит в ком-

мунизм, то партийные директивы его не стесняют. У верующих коммунистов «идеологические ограничения и партийный контроль перестают быть помехой в творчестве», ибо в этом случае «акт художественного творчества становится актом веры в коммунистическую систему». Таким образом террор в этом случае чуть ли не равнозначущ свободе. Но ведь сотни когда-то искренних коммунистических писателей сидят в советских концлагерях и едва ли подпишутся под этой весьма сомнительной «умственной спекуляцией». Аналогии же со средневековьем и наполеоновской эпохой, которыми в этом случае пользуется проф. Симмонс, мало убедительны. Профессор как бы забывает, что мы живем в двадцатом веке, а не в четырнадцатом и что сущность явления изменяется, когда «количество переходит в качество».

Помимо вступительного обзора проф. Симмонса, рецензируемый сборник содержит пять отдельных работ сотрудников Русского Института при Колумбийском университете. Статья Роберта Халкина о «Развитии послевоенной советской идеологии» является как бы продолжением и дополнением к вступительной статье проф. Симмонса. Ждановщина слишком хорошо известна и самый тщательный анализ ее едва ли может добавить что-нибудь новое. В качестве образца ждановской расправы с советскими писателями, сборник приводит «случай с Зощенко», разбору которого посвящена статья г-жи Ребекки Домар.

Судьба «марксистской женщины — советского варианта» обрисована в статье г-жи Луизы Люк. Как и многое другое коммунистическая политика в отношении семьи была очень зигзагообразна. От «свободной любви» Коллонтай через «женотдел» и «охрматмлад» к декретам 1936 года об укреплении семьи. Отметим, что это «укрепление», означавшее по существу возврат к старым «буржуазным» устоям, было вызвано по свидетельству самих же советских авторов, ростом детской преступности и «заинтересованностью государства в увеличении населения».

Работа Б. Хосида «Евреи в сов. литературе» заслуживает и похвалы и упрека. Тщательная обработка материалов и богатство фактов не могут возместить недостаток статьи, выражающийся часто в отсутствии критического подхода к советским источникам. Известно, что в СССР исчезли все еврейские советские писатели, были закрыты все еврейские школы, газеты, театры. Этим фактам, не имеющим прецедента даже в советской действительности, автор не дает удовлетворительного объяснения. Можно понять ликвидацию отдельных писателей, повинных в «национализме» или прочих коммунистических ересях. Но ликвидация всей печати и всех организаций свидетельствует об определенной политике власти по отношению к евреям. Именно к этому выводу и пришел С. Шварц в своей книге

«Антисемитизм в Сов. Союзе» и Г. Аронсон на стр. «Нов. Журнала» (кн. 32). Ошибочно судить, как судит Хосид, по официальным советским цифрам, например, о падении интереса у еврейских читателей к еврейским книгам и газетам. В стране, где всё монополизировано государством, предложение регулируется совсем не спросом, а интересами власти.

Мало исследованной области о «Советском детском театре» посвящена интересная и содержательная работа Джина Сосина. В советской системе воспитания этот «участок» занимает ключевое положение. Цифры внушительные: в 1937 году в Советском Союзе было 112 детских театров, спектакли которых за один год посетили 10 миллионов детей. Советские эмигранты, с которыми беседовал автор, подтверждают, что влияние этих театров на формирование детских душ очень велико. В частности, московский корреспондент «Нью Йорк Таймс» Селсбери, присутствовавший на спектакле «Хижина дяди Тома» рассказывает, что во время этого представления ненависть юных зрителей к «американским каннибалам» дошла до предела. Разумеется, пьеса была снабжена соответствующим «прологом», долженствовавшим убедить юных зрителей, что нравы американцев по отношению к неграм ничуть не изменились со времен Бичер Стоу.

Несмотря на чрезмерное доверие, проявленное авторами статей этого сборника к советским источникам, всё же его надо признать ценным. Нам кажется, что сборник много бы выиграл, если бы был, например, дополнен очерком об *исчезнувших* советских писателях. Во многих произведениях этих исчезнувших писателей подлинная советская жизнь подана ярче, чем у официальных «дважды орденосцев».

Д. Анин

**БОРИС ЗАЙЦЕВ.** *Древо Жизни*, Издательство имени Чехова, Нью Йорк, 1953. Printed by Rausen Bros.

Читатель, уже знакомый с тихим Глебом, порывистой Элли, с маленькой Таней и ее родственниками, бабушками и дедушками («Юность», «Тишина», «Путешествие Глеба»), закрывая каждую часть этой семейной хроники, невольно спрашивает: — ну, а как же они поживают, этои милые люди, что с ними теперь? Спрашивает, как о своих близких друзьях, знакомых: бесфабульное, зачастую, очень интимное повествование Б. Зайцева неприметно втягивает в круг жизни его персонажей. Именно — персонажей: это не герои в обычно-литературном смысле, действующие лица острой беллетристической фабулы.

В «Древе Жизни» — опять встреча с милыми знакомцами. Их бытие начинается, примерно, с 1922 года. Героических черт здесь больше, потому что судьба всех русских людей после революции

становится напряженнее и драматичнее. Не всегда внешне, но всегда внутренне. В трудных поворотах жизни героями становятся мать Глеба, отец Элли. Героична девочка Таня, в Берлине выхаживающая больных родителей.

Семейная история идет в двух планах: Глеб с семьей — за границей (Германия, Италия, Франция). Он становится большим писателем-эмигрантом, — старики доживают свои смятенные дни на родине. Нет гнева в изображении жизни «там», но и нет ее признания. Много иронии. Писатель не отнимает у жизни права менять свой облик. Старые взгляды и формы быта закономерно отживают, отживали они и в молодости Глеба: сам Глеб был «новый» по сравнению со взглядами и привычками старшего поколения. Но что новое приходит после революции? Ветшающие перенаселенные квартиры прежней просторной Москвы? Грубеющие нравы? Господство новых невежественных начальников в научных учреждениях? Разрушение скромных, безобидных поместий? Недоедание? Гонения на церковь и верующих?

Близкие Глеба и Элли испытывают на себе эти новые «повороты жизни». Их частные, казалось бы, маленькие (по сравнению с многомиллионными трагедиями) горести в повествовании вырастают до обобщения, до типического изображения подсоветского бытования в 20-х годах (только не является ли анахронизмом реплика Сони Собачки об обильно рождающихся младенцах-стахановцах: термин появился лишь во «второй пятилетке», т. е. в середине 30-х гг.).

Еле приметными черточками, намеками, нежными акварельными мазками запечатлевает автор сложнейшие чувства и их противоречия. Как это давно подмечено, — слов часто не хватает для передачи полусознанных настроений, смутных симпатий и антипатий, растущих из душевных глубин, а они, не вырываясь на поверхность, властно звучат и определяют собою общение с людьми, странности поведения. Б. К. Зайцев сам говорит, что неясные ощущения словом можно означить всегда приблизительно (стр. 42).

Немалую роль играют у писателя пейзажи. Они «мгновенны», лаконичны и являются восприятием Божьего мира тем или иным персонажем или автором. «Тихий вечер, в нежных отсветах заката», «розовато-зеленые отсветы из окна», «прелесть прозрачного полумрака», «пролетают в лазури кисейные облачка», завораживает «сиреневая тишина моря», которое в другой раз кажется под солнцем «снеговым полем», «в окно доносит запах дождя, которого еще не видно», — всё это душевные мгновения, когда видится один и тот же мир по-разному, и это разное позволяет нам заглянуть очень глубоко в сердце чувствующего и найти у самого себя недосмотренное. Меняющийся ритм речи в зависимости от характера

картин, своеобразный порядок слов, непривычные, на первый взгляд, словосочетания («полукруглый странник неба», «небесно-пронзительно щебечут стрижи», «зеркальный туман» и т. п.) — сложный арсенал приемов художника.

Наиболее сложен и нелегок в психологическом рисунке образ старого ученого, нумизмата, Геннадия Андреича. Суровый, замкнутый в прошлом, он в конце жизни приходит к истине: евангельская любовь к людям — единственная непреложная ценность. Однако, внутренний путь душевных борений, перелом, утрата культа Петра Великого, — всё это намечено, но не выявлено с той убедительностью, с которой изображены другие лица хроники. Между тем, в образе Геннадия Андреича — сокровенная идея-тревога писателя (доминанта произведения): да знают ли люди, зачем они живут и к чему должен стремиться сердцем человек?

Нельзя не упомянуть здесь особенно сильные страницы, где с нескрываемым волнением автор говорит о неумной боли человека на чужбине. Родной мир обычно, при жизни на родине, как-то не ощущается, «как не замечает человек воздуха, которым дышит: воздух и воздух, так и надо. Когда же он заменяется другим...», — вот, тут-то и начинается тоска по родному, осложненная еще тем, что родное-то всё изуродовано, искалечено...

Глеб и Элли совершают из Парижа путешествие в Финляндию. Они в десяти верстах от русской границы! Они почти в родных лесах, на берегу родного моря... Девятым валом наплывают взбудораженные воспоминания...

И снова Париж. Встреча с повзрослевшей Таней. Начало новых трудов и дней...

— Ну, а как же теперь поживают Глеб, Элли, Таня?

С ними хотелось бы опять встретиться. *Петр Ершов*

*GEORGES BERNANOS. La liberté, pour quoi faire? Paris. 1953.*

Всякий раз, когда я беру в руки книгу Бернаноса, мне неизменно вспоминается июльское утро в Париже, солнечном, увешанном флагами, приготовившимся праздновать день штурма Бастилии. В то утро — 14 июля 1946 года я должен был покинуть Францию. Приятель, провожавший меня до аэро-порта, подарил мне огромную пачку газет, вышедших в тот день в Париже. В первой газете, которую я развернул, мне бросилось в глаза выразительное заглавие передовицы: «Общипанные наследники».

Меня поразила горечь, с какою была написана эта статья. В ней говорилось о французской молодежи, разочаровавшейся во Франции, не верящей больше ни в свободу, ни в демократию, не получившей от

отцов никакого духовного наследства. Но ведь так же — и в еще большей мере! — можно было сказать и о русской молодежи. Какое наследство оставили нам наши отцы?... Передовица была подписана: Жорж Бернанос. С чувством благодарности подумал я о человеке, высказавшем мою горечь, мою тревогу.

Вечером другого дня наш самолет приземлился в Рио де Жанейро. На улице св. Иосифа был книжный базар. На больших деревянных столах — россыпь книг. «Письмо к англичанам», «Г-н Уин», «Крестная дорога»... Все изданы в Бразилии. На всех — имя Жоржа Бернаноса. Оказалось, что с 1938 г. Бернанос жил в Южной Америке и только недавно уехал назад во Францию. Книги эти во Франции еще не были известны. Так я начал запоем читать Бернаноса: его романы — «Под солнцем Сатаны», «Дневник сельского священника», «Радость», «Г-н Уин», его неистовую публицистику — «Большие кладбища под луною», «Большой страх благомыслящих», «Письмо англичанам», «Крестная дорога», «Мы, французы», «Франция против роботов».

В июле 1948 года Бернаноса не стало. Он был солдат, израненный в боях под Верденом. Умер он не от старости, а от старых ран. И вот, перед нами посмертная его книга: «Свобода, а что с ней делать?»

В этой книге собраны лекции, которые Бернанос — по возвращении из Бразилии — читал в Париже, Бельгии, Швейцарии, Алжире. Не подвергавшиеся авторской правке, они, пожалуй, даже лучше, чем другие книги, дают представление о живом Бернаносе. Вот, выступая в Женеве, он шутливо, мимоходом, замечает, что ему предлагали кресло во Французской Академии, среди «бессмертных», — он отказался; тогда ему предложили министерский портфель, — он опять отказался. «Вот архиереем стать — этого мне еще ни разу не предлагали». В этой шутке — весь Бернанос, независимый, до конца свободный. «...Я принадлежу к породе людей, которых с каждым днем становится всё меньше, — людей средних, простых, но остающихся свободными, не научившихся еще скакать в подставляемые обручи». «... Те скромные мысли, которые я высказываю, не были мне доставлены из какой-нибудь государственной мастерской, занятой производством духовного ширпотреба. Я сам нашел их, не без труда и не без риска. Они, быть может, на вкус горьковаты, как бывают горьковаты лесные грибы».

В 1947-1948 гг., когда Бернанос читал свои лекции, его мучила одна мысль — мысль о том, что свобода «умирает в сердце человека». В свое время Ленин поставил циничный вопрос: «Свобода, а что с ней делать»? Бернанос взял название своей лекции у Ленина. Беда, однако, не только в том, что тоталитаристы душат свободу.

Гораздо хуже то, что в наш век механизации люди сами отказываются от свободы.

«...Свобода, а что с ней делать? Что делать с ней в мире машин? Она опасна в этом мире, — не может не быть опасной. По мере того, как машины размножаются и бесконечно увеличивают свою мощь, малейший саботаж грозит всё большими и большими последствиями. В тот день, когда новое чудо техники позволит любому физиксу фабриковать в своей лаборатории какое-нибудь взрывчатое вещество страшной силы, — ставя, таким образом, целый город в зависимость от первого попавшегося человека, — тогда, я думаю, девять десятых населения будет завербовано на службу в полицию, и никто не сможет перейти через улицу без того, чтобы полицейские не заставили его дважды — на одном тротуаре и на другом — снять штаны в доказательство, что на нем нет ни одного миллиграмма этого вещества...».

Бернанос, разумеется, не призывает разрушать машины. Механизация — не причина, а симптом болезни нашего века. Причина — в безрелигиозном и обездушенном человеке. Хотя, конечно, этот человек не стал таким сам по себе: его обездушила машина, его породило общество, в котором царит машина. Возникает, таким образом, порочный круг. Как из него выйти? Бернанос говорит, что несмотря ни на что, надо стараться заново одухотворить человека. Он отвергает банальный образ истории, как «потока»; он отказывается согласиться, что течение, несущее человечество, «необоримо». Люди делают историю, — и Бернанос сзывает всех, кто может держаться против течения.

Книга Бернаноса освежает душу читателя. Она — на мой взгляд, правильно — определяет болезнь века. Она вселяет надежду, что эта болезнь излечима. Но всего важнее — в особенности для нас, новых эмигрантов — то, что она учит свободе, независимости, духовной сопротивляемости.

*Мих. Коряков*

**РОМАН ГУЛЬ. *Конь Рыжий*.** Издательство Имени Чехова. Нью Йорк. 1952 (282 стр.). Printed by Rausen Bros.

Роман Гуль прежде всего современный русский писатель. Настаиваю на «современный» и на «русский». Не много в эмиграции писателей, к которым применимы эти два определения. Одни безусловно современны и по темам и по мироощущению. Но оторванные от России они потеряли всякую связь с ней, перестали ее видеть, слышать, чувствовать. Русскими писателями они считаются только потому, что не овладев до конца ни одним из иностранных языков, продолжают писать на своем собственном. Другие, напротив, безусловно русские. Зато современными их назвать мудрено. Читая их, кажется, что все эти повести, рассказы и ро-

маны были написаны еще «в те баснословные года» в Петербурге или в Москве. Или даже не в Петербурге, не в Москве, а где-то там в глубине непо потревоженной России, где стояла пресловутая вековая тишина...

Обрываю. Ведь меня сейчас интересуют не эмигрантские писатели вообще, а только один из них — Гуль. И даже не его творчество в целом, а только его «Конь Рыжий». «Конь Рыжий» написан на опасную тему — о самом себе и своем участии в событиях мира. Это история жизни автора, сплетенная с историей «роковых минут» России и мира. Это сознательное суждение о мире, о себе, о своем прошлом, требующее раздвоения, диалога со своей душой. И диалога души с миром.

Передача духовного опыта жизни — одна из труднейших задач. С первых же страниц становится страшно за автора. Опасностей слишком много. Как соединить субъективную правду о себе с объективной правдой мира, как слить эти две, часто враждебные друг другу правды в третью, в правду искусства? Опасность воспоминаний — этих фотографий памяти. Ведь банальное утверждение: «фотография не лжет» давно заменено таким же банальным — «фотография не может не лгать», не может не сдвигать планов, не искажать перспективы, не преувеличивать или преуменьшать деталей, не сгущать теней. Ложь фотографии — ложь воспоминаний. Банальное: «никто так не лжет, как очевидцы». Пусть бессознательно, незаинтересованно, искренно, а все-таки... Но опасения напрасны. Читая «Коня Рыжего» я не переставал удивляться его «правдивой правдивости». Гуль действительно вводит читателя в то «царство правды», где по известному выражению «никогда не заходит солнце». Не в пример всевозможным подражателям Пруста его «поиски потерянного времени» не бесплодны. Под его пером прошлое действительно становится настоящим. Но это «не прошлое, которое пожирает настоящее». Это прошлое превращаемое искусством в живую жизнь, в «жизнь, которая хочет жить».

Вместе с автором мы проделываем долгий — порою мучительный и страшный — путь из его родного Керенска до Гасконской фермы, где обрывается описание этого жизненного странствия. Мы присутствуем при его борьбе не только с внешним миром, но и с самим собой, когда «кричит дух, изнемогает плоть» (Н. Гумилев), присутствуем при таинственном рождении личности, при том творческом процессе, который бл. Августин называет *se faire vrai soi-même*.

Но несмотря на всю правдивость автор открывается нам не до конца. Он открывает нам о себе лишь то, что необходимо по его заданию. И это большое художественное достижение «Коня

Рыжего». Слишком подробная, слишком интимная автобиография, все эти «последние слова», и «совлечение покровов» превращают художественное произведение в «человеческий документ», обесценивая его.

О недостатках «Коня Рыжего». Конечно, есть и недостатки. Но они так незначительны в сравнении с достоинствами, что о них говорить не хочется. Всё-же укажу на несколько орнаментально-гиперболическое описание ночного греховного Парижа.

В заключение — о манере, в которой написан «Конь Рыжий». Она доставляет какое-то почти физическое удовольствие. Прав Ив. А. Бунин, сказавший о «Коне Рыжем»: «столько в нем совершенно прекрасных страниц...».

*Георгий Иванов.*

*FRANK ROUNDS JUNIOR. A Window on Red Square. Boston, 1953. Houghton Mifflin Co. \$3.50.*

Автор книги «Окно на Красную Площадь», Франк Раундс, провел два последних года в Москве при американском посольстве. Его первое впечатление: отсутствие свободы. «Я всего лишь один раз видел в России «Статую Свободы», — пишет Раундс, — маленькая потускневшая статуэтка на запыленной полке, в доме Чайковского, в Клину... В каталоге о ней ничего не сказано (как не сказано ничего о поездке Чайковского в Америку). Я уверен, что скоро эта репродукция, как признак чьего-то преступного недосмотра, будет замечена и выброшена...».

Книга Раундса написана в форме дневника. День за днем он тщательно записывает, что видел, что его поразило. Он ведет этот дневник чрезвычайно педантично. Его желание быть точным и беспристрастным часто замораживает то, о чем он пишет. Всё же изредка попадают лирические места, которые сразу делают книгу человеческой и живой. К таковым относятся места, где он описывает плачущую молодую подметальщицу московских улиц и задумывается об ее горькой судьбе; или когда он описывает впечатление, которое на него произвело «Эй, ухнем».

Очень хорошо рассказывает он о совсем особенной тишине московских улиц и скрипе сапог и башмаков, которого в других странах не услышишь. Читатель, интересующийся бытом России, найдет в дневнике Раундса много любопытных наблюдений. Так, например, около дома, где он жил в Москве, находился «Вытрезвитель № 3». Туда по вечерам, приблизительно каждые полчаса, привозили в больших грузовиках мертвецки пьяных людей и на носилках несли вытрезвлять. За вытрезвление, насколько известно автору, взымали 30 рублей. «В России пьют меньше, чем на Западе, но с худшими результатами, из-за крепости водки», — пишет автор. Он забыл еще причину: недоедание.

Интересны замечания о строгих правилах автомобильной езды. Раундса и его шофера раз остановил милиционер, из-за того, что они разговаривали друг с другом. «Разве вы не знаете, что тот, кто управляет автомобилем, должен молчать?» Автомобилей в Москве немного, в трамваи и троллейбусы попасть нелегко, они набиты людьми и ходят не часто, зато поездки в метро интересны и поучительны. «Сегодня (24 марта 1951 г.) я ездил в метро и записывал. Приблизительно половина пассажиров читает книги. Один из десяти читает газету. Из книг около 50% научные. Остальные — произведения классиков, вроде «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Горе от ума». Раундс неоднократно указывает на необыкновенную жажду знания русского человека.

Раундс, как и все иностранные наблюдатели, отдает должное русскому балету. Он восторгается всеми балетами, восторгается Улановой, рассказывает о случайной встрече с балериной Лепешинской на теннисном матче. Но от русской современной музыки и от оперных певцов автор далеко не в восторге.

Много места уделяет Раундс статистике, сравнению цен, разным экономическим данным; очень злоупотребляет выдержками из Толстого и других русских классиков, якобы показательных для «неизменного характера русского народа».

Несмотря на указанные недостатки, книга заслуживает внимания; она написана искренне, и в ней немало интересного и даже нового для каждого интересующегося жизнью в СССР. В. К.

**П. ПИРОГОВ.** *За курс!* Изд-во Им. Чехова. Нью Йорк. 1953. (416 стр.).

Название «За курс!» ярко выражает основную мысль автора: «За курс! На Запад!», прочь из коммунистического рабства, — в свободный мир! Автор спокойно и просто рассказывает свою жизнь и жизнь своих товарищей. Книга начинается рассказом о первых днях пребывания «по эту сторону грани». — Лиц... Неизвестность... А вдруг выдадут? «Мы плохо спим... Живым в руки «своим» я не дам, — говорит товарищ Пирогова по бегству Борзов, — лучше смерть, чем всё то, что ждет по возвращении».

В своей книге Пирогов откровенно говорит о себе — представителе массы подсоветской молодежи, вовлеченной властью, школой и жизнью в «строительство коммунизма». Сын крестьянина, в детские годы — «пионер»-активист, в дни сплошной коллективизации он в числе других школьников, шагал по селу с агитацией: «Папа и мама, идите в колхоз!» Прозрение наступило позже, когда семья Пирогова оказалась в числе гонимых. Эта «беда» заставила мальчика-Пирогова впервые увидеть жизнь с иной, мрачной стороны. «За неспаску твердого задания» власти реквизировали у семьи Пирогова

скот и имущество. Всё, вплоть до развешенного на веревках детского белья и постели. «Мать притихла. Ее глаза блуждали по комнате... Одиноко на стене красовался портрет Карла Маркса. Мать вскочила, сорвала его со стены и бросила под ноги председателю... — Все забрали, гады, так заберите и эту дрянь! — Лицо председателя передернулось, но он смолчал. Тут уж я не выдержал и зарыдал. Мне было жалко всех. И маму, и отца, и сестренку... И стало известно, что я, именно я, принес этот портрет в дом».

«Сталинское наступление» на деревню врезалось глубоко в память автора и направило на дорогу, приведшую много позднее на Запад. Тем не менее, Пирогов перед переездом в город вступил в комсомол. «Шел я туда без всяких иллюзий, по трезвому расчету — без этого мне невозможно было попасть в техникум». И опять — в последующих рассказах Пирогов — живой человек. В день объявления войны Финляндии он выступает перед товарищами. — «Мое воображение разыгралось и рисовало быстро сменяющиеся картины боя. Вот наши колют финнов штыками. Финны бегут. Гром пушек. Шум самолетов. Крики «ура». Мне страстно захотелось быть на фронте... Я вошел на трибуну, охваченный мыслями, которые были вызваны только что пронесшимися в моем сознании видениями. Что я говорил — не помню. Моя речь была очень удачной и вызвала всеобщее одобрение, она шла «от души».

Но тот же Пирогов, позднее, в присутствии четырех товарищей, глядя на портрет маршала Тимошенко, говорит: «Бездарный»... и он же отвечает на предложение особоуполномоченного СМЕРШ'а: «Это значит, что я должен следить за своими близкими товарищами?... доносить на них?.. Ведь это же подлость!». Пирогов не скрывает, что СМЕРШ всё же принудил его принять предложение. Выход из положения был найден сперва — в «формальном» исполнении новых обязанностей, в результате чего особоуполномоченный предпочел распрощаться с завербованным, — а затем, — в добровольной отprawке на фронт.

Цепь рассказов о войне так велика, что в краткой рецензии их не передать. Вот сцена встречи поезда с ранеными на станции Мелитополь. Милиция отгоняет толпу от вагонов. Пирогов спрашивает старика-железнодорожника: — «Почему, папаша, они не пускают людей к раненым? Что за дикость?! — Боятся, сынок, народ узнает, что творится на фронте то. Не хотят, чтобы знали больше, чем написано в ихних сводках и газетах... Страшные дела делаются!..». — Бывший колхозник-истопник в казармах, где жил Пирогов в бытность свою на Дальнем Востоке, откровенно ждет прихода... японцев: — «А так, что как только немцы Москву заберут, так, значит, через день жди здесь япошек». На вопрос Пирогова, в чем же тут радость?, — истопник отвечает: — «Я то не радуюсь, никак не радуюсь, а

только как-то на душе становится легче, как вспомню — сколько людей тогда свободными станут!».

Война завершила свой кровавый круг. А боль всё накапливалась. Постепенно, и чем дальше, тем чаще, приходят мысли, что — «так жить нельзя!». В авиогородке в Коломне Пирогов знакомится с летчиком Борзовым. Они доверяют друг другу. При обсуждении поступившего сообщения о побеге одного летчика на самолете в Турцию, Борзов первый рвет последнюю недоговоренность: — «Вот это молодец. Показал хвост и ищи ветра в поле. Вот это характер... натура.. — Знаешь, я согласен, хоть к чорту на рога, только бы отсюда... — Ну, Анатолий, — говорит Пирогов, — оба мы, ты и я, должны помнить одно: если я сейчас пойду и доложу в СМЕРШ об этом, ты получаешь 25, а я 15. Если наоборот, то и года соответственно меняются. — Это то я знаю. И знаю еще, что и тот, кто 15 получит, всё равно больше пяти не проживет. — Значит? — Значит, моя жизнь в твоих руках, а твоя в моих, вот здесь, в этой руке... — Хорошо. А куда же и когда? — *Куда*, это подумаешь ты, а *когда* — подскажет случай...». — Друзья не изменили себе. 9-го октября 1948 г., ровно в 12.00, Пирогов и Борзов взяли *заветный курс*.

*Б. Ольшанский*

*Княжна Ольга Трубецкая. Князь С. Н. Трубецкой.* Воспоминания сестры. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк 1953 (269 стр.).

Книга кн. О. Н. Трубецкой должна представить большой интерес для всех, кто желает знать наше прошлое. С одной стороны она дает яркий образ кн. С. Н. Трубецкого, одного из наиболее нравственно привлекательных деятелей знаменательной эпохи, непосредственно предшествовавшей революции 1905 г., с другой — знакомит нас с целым рядом фактов и настроений этого времени.

Кн. О. Н. начинает свое изложение с 1892 голодного года. Этот год был годом пробуждения русского общественного сознания после застоя 80-х годов. Именно с 90-х годов начинается усиленная культурно-просветительная и хозяйственная деятельность земств. Но постоянное, часто совершенно бессмысленное противодействие земствам со стороны правительства вызывало рост оппозиционного настроения и в этих, по существу, консервативных кругах.

В 1892 г. кн. С. Н. Трубецкой поехал в Рязань налаживать помощь голодающим. Оттуда он писал брату Евгению Николаевичу: «Кончаешь зимний сезон с другим чувством, чем то, которое было осенью. Тогда был ужас, страх перед катастрофой, сознание наступающего конца. Теперь сознаешь, что сие лишь начало болезней, и трудно выдумать исцеление... Право, увидав, что делается в России и как мало подготовлено общество к сознательному действию, как оно дико — страшно становится. Руки опускаются... Жатвы много,

а делателей мало, надо молить Господина жатвы, да вышлет делателей на ниву Свою».

Подготовка таких деятелей представляет естественную и необходимую задачу Университета. Но Университет в это время находился в совершенно ненормальном состоянии, показателем чего являлись почти непрерывные студенческие беспорядки. Университетский устав 1884 г. лишал профессорскую коллегию возможности наладить нормальную жизнь в Университете. Поэтому понятно, что кн. С. Н., помимо своей академической деятельности, отдает все силы борьбе за университетскую автономию, к чему были направлены усилия и всей лучшей части профессуры того времени. Много интересных подробностей этой борьбы читатель найдет в первой части книги кн. О. Н.

Борьба за университетскую автономию и связанная с ней публицистическая деятельность выдвинули кн. С. Н. на более широкое политическое поприще и привели его к участию в земском движении 1904-1905 гг. Этой стороне деятельности кн. С. Н. посвящена вторая часть книги. Здесь кн. О. Н. пользуется своей записной книжкой, в которой она отмечала наиболее важные события, и потому её изложение представляет интерес не только для выяснения политического и нравственного облика С. Н., но и дает много живых подробностей, рисующих ту эпоху.

Кн. О. Н. подробно останавливается на приеме Государем депутации земств и городов 6 июня 1905 г., приводит полный текст речи С. Н. и ответной речи Государя, в которой он произнес знаменательные слова: «Моя воля — воля царская, созвать выборных от народа — непреклонна».

Последняя глава книги посвящена рассказу о выборе С. Н. ректором Московского Университета, тем нравственным страданиям, с которыми была связана его деятельность в должности ректора, его последней поездке в Петербург, смерти и похоронам.

Книга кн. О. Н. выгодно отличается от многих мемуаров своей объективностью. Когда пишутся воспоминания о давно прошедшем, то неизбежные пробелы памяти восполняются авторским воображением, и почти всякий мемуар представляет не только *Wahrheit* (истину), но и *Dichtung* (вымысел). Книга же кн. О. Н. строго документальна. Первая её часть основана главным образом на сохранившихся письмах и выдержках из статей С. Н., вторая на записях, сделанных автором непосредственно после событий, к которым они относятся.

Эту книгу хочется горячо рекомендовать всякому русскому человеку.

Н. Р.

Л. РЖЕВСКИЙ. *Между двух звезд*. Издательство Им. Чехова Нью Йорк. 1953 (408 стр.).

Прежде всего надо сказать о языке этой книги. Известно, что Лев Толстой очень любил простоту пушкинской прозы и «учился» ей у Пушкина. Об этом вспоминает и хорошо рассказывает А. Л. Толстая в ее только что вышедшей, прекрасной книге о Л. Н. Толстом. Эту истину о простоте в литературе (но о простоте высокой и трудной) хорошо выразил еще Паскаль. Он сказал: «*si vous voulez dire qu'il pleut, dites: il pleut*». («Если вы хотите сказать что идет дождь, скажите: идет дождь»).

Язык книги Ржевского — пример как раз обратного. Автор, к сожалению, ни о чем не говорит просто. Даже вместо таких, казалось бы, простых слов, как «воскресенье быстро приближалось», автор пишет: «воскресенье надвигалось на-рысах» (131 стр.). И таким языком написана вся книга, мешая селькоровские словечки («жизнь протоколила», «сыпняк размножался», «дребезжал полусвет» и мн. др.) с каким-то «экспрессионизмом» очень дурного вкуса. Чтобы не быть голословным, дам примеры. Вот как девушка завлекает героя книги, лейтенанта Заряжского: «Нагнувшись, она потянулась к тарелке и от этого размахайчик разлетелся широко к плечам. Круто выголились, полыхнув теплом, большие, разделенные сочной светотенью груди. Почти целиком выпрыгнули и Заряжский быстро взял в рот кусок торта и зажевал» (194 стр.). Дальше: «со вплющившейся в плечо горячей груди будто искры посыпались» (194 стр.). А вот — прощанье с сыном, уходящего на войну отца: — «Заряжский тихонько притянул мальчика к себе и поцеловал в обе горячие, как утюг, пахнущие почему-то сливками щеки» (58 стр.).

Но в этой книге дело не только в ее плохом языке. Ее тема — «между двух звезд» — бесспорно интересна. Это — советские люди, очутившиеся между коммунистической и американской звездами. Только выполнение этой темы, к сожалению, совсем не на высоте. Если сравнить книгу Л. Ржевского с книгой Евг. Гагарина «Возвращение корнета», вышедшей одновременно в том же издательстве, сравнение будет целиком в пользу Гагарина. У Гагарина — та же тема, но она подана живо, образно, он показывает и плохих людей, и хороших, и героев, и негодяев, и все они под его пером живут. У Ржевского же все персонажи утонули в каком-то розово-сентиментальном резонерстве героя книги. Этот герой так много и — надо отдать ему справедливость — так скучно «думает» и «рассуждает», что порой вся книга воспринимается, как сплошной, длинный, скучный монолог. Характерно для книги и то, что автор (в лице героя) словно боится всякой определенности. И в обрисовке характеров, и в обрисовке обстановки, и в

политических суждениях, он везде словно ищет какой-то золотой середины, какого-то «средне-арифметического». От этого, естественно, проигрывает вся книга, становясь неубедительной ни в чем. Как пример совершенно неубедительной сцены приведу сцену в лагере, когда герой книги, лагерный переводчик, публично целует руку молодой еврейке, увозимой гитлеровцами на смерть.

В целом книга и художественно и по разрешению темы — неудачна. А жаль, мы не раз читали интересные и хорошо написанные статьи Л. Ржевского на литературные и литературоведческие темы (в частности, и о языке). Видимо, художественная проза не ремесло автора.

*Роман Гуль.*

**РОДИОН БЕРЕЗОВ.** *Далекое и близкое.* Рассказы. Издательство «Дело». Сан Франциско. 1952 (116 стр.) и *Народные Жемчужины.* Изд-во «Дело». Сан Франциско. 1952 (96 стр.).

В Советской России Родион Березов примыкал к группе крестьянских писателей. Его талантливая книга «О чем шепчет деревня», вышедшая в 1925 году, имела заслуженный успех. За годы революции писатели этой группы (Клюев, Клычков, Орешин, Ширяевец, Наседкин, Доронин и др.) были либо уничтожены, либо приведены к молчанию. Березову посчастливилось уйти на Запад.

В отчетных книгах Березова — та же, его, тема — русская деревня (и прежняя, и советская). Надо отдать справедливость — деревню Березов знает доподлинно. Хорош язык в крестьянских диалогах, хороши многие зарисовки крестьянских характеров (мать в рассказе «Клоун», баба-песельница в рассказе «Катерина» и др.). Почти все рассказы Березова автобиографичны и ведутся от первого лица, при чем действие многих из них происходит в родном автору самарском селе Виловатое. Это придает рассказам скорее характер очерков, но это же делает их убедительнее. Авторское чувство, проходящее сквозь всё написанное Березовым лучше всего выразится цитатой из рассказа «Русские люди»: «... Народ уцелел. Душа его осталась такой же. Перенесет он и теперешнюю невзгоду, не утратив душевного клада... Рязань, Самара, Тула, Воронеж, леса и степи, долины, реки и горы — все это Россия, все это любимая родина».

Очень хорош рассказ «Клоун», написанный мастерски.

*Роман Гуль*

**MARC SLONIM.** *Modern Russian Literature: From Chekhov to the Present.* Oxford University Press. New York. 1953. IX + 467 pp.

Новой своей книгой проф. М. Л. Слоним завершает ту историю русской литературы, первая часть которой, под названием «Эпопея русской литературы», вышла три года тому назад. Первый том, по-

мимо краткого (и, надо сказать, крайне неудачного, экскурса в область древней русской письменности и фольклора, охватывает литературу XVIII и XIX вв. до Л. Н. Толстого включительно; настоящий том, вопреки заглавию, начинается с народничества 1870-х годов — а не с Чехова — и кончается отчетом о послевоенной советской литературе. Книга Слонима, несомненно, большой, серьезный и добросовестный труд, свидетельствующий о том, каким обильным и сложным материалом автор свободно владеет. Она является «продуктом двадцатипятилетнего исследования», как сообщает автор в предисловии к первому тому, и нельзя в этом сомневаться: только на основании огромной начитанности и знания предмета можно было предпринять такую трудную работу обобщающего характера.

Как-то неизбежно сравнение книги Слонима с другой двухтомной историей русской литературы на английском языке — князя Святополк-Мирского (недавно переизданной, но почему-то в сокращенном виде). Такое сравнение, конечно, вряд ли справедливо, так как любому историку литературы трудно выдержать сопоставление с исключительно блестящей книгой Мирского. Но... оно всё-таки неизбежно и, может быть, бесполезно, как путь к характеристике и книги Слонима.

Литературные корни Мирского лежали глубоко в «серебряном веке» русской культуры. Мирский был как бы живым олицетворением этого этапа русской культурной истории. Чтобы употребить его же любимое слово, он был «насыщен» культурой. Книги для него всегда были живыми: он чувствовал их душу, как редко кто их чувствует. Поэтому в его истории русской литературы на английском языке (и, вероятно, особенно потому, что он писал для иностранцев), он смотрел на русскую литературу не только как человек, выросший в ней и знающий ее насквозь, но и глазами «всечеловека», видящего ее *sub specie* всей мировой культуры. Именно эта «высота» точки зрения, вместе с пронизательностью, дает книге Мирского ее оригинальность.

Книга Слонима более обыкновенное явление. Всему отдается дань, и методологически и критически. Употребляются подходы и социально-исторический, и идеологический, и психологический, и (слабее всех) формально-эстетический. Лозунг критических суждений везде — осторожность, трезвость, здравый смысл. Такая «эклектика», может быть, не плоха сама по себе, но у Слонима не чувствуется за ней цельного критического взгляда. Автор как будто неуверен в своих суждениях. Он очень любит слово «почти». Рассказы Вольнова *почти* фотографичны; проза Бунина *почти* скульптурна; большинство стихотворений Белого имеет неуловимый, *почти* двусмысленный характер, и т. д. Иногда эта книга производит впечатление полного собрания всех «принятых» суждений о русских писателях вме-

сте со всеми возможными оговорками. Там, где Мирский, даже когда его суждения кажутся ошибочными, поражает и возбуждает мысль, Слоним лишь регистрирует очевидное. Но в этом есть своя доля пользы: оригинальность Мирского иногда может опьянить, ввести в заблуждение; история Слонима более трезвый путеводитель по русской литературе.

Очень жаль, что автор, потрудившийся так много над своей книгой, не потрудился еще немного, чтобы обеспечить больше точности в передаче материала. В этом отношении книга его довольно нерышлива. Заглавия романов и повестей иногда даются в собственном переводе Слонима, иногда в форме опубликованного английского перевода, иногда совсем неправильно («Товарищ Кисляков, или две пары шелковых чулок», «Дело Артамановых»). Перевод заглавия рассказа Горького «Вывод» как «Conclusion» неверен, так как здесь слово «вывод» употреблено в буквально-этимологическом смысле, т. е. «Leading Out». Система транслитерации до невероятности произвольная и путаная: напр. сочетание ch заменяет в разных местах три разные русские буквы, ч, ш, и х (Chekov, Rechetnikov, Rachmetov). Царское Село в одном месте появляется в форме Czarskoye Selo, а в другом переводится Czar's Hamlet. Имена то даются по-русски, то по-английски и иногда это случается с тем же самым именем и даже с тем же самым лицом: на противоположных страницах встречаем и Paul Якушкина и Pavel Мельникова; имеется и John of Cronstadt и Ivan of Kronstadt. Фактических ошибок и простых опечаток тоже много, особенно во второй половине тома.

Жаль также, что Слоним не дает ни русских заглавий художественных произведений, ни библиографических справок (кроме далеко не полного списка английских переводов). В настоящее время когда изучение русского языка в английских и американских университетах достигло широких размеров, такие данные очень полезны, даже необходимы для серьезного читателя и не слишком затрудняют чтение для незнающих по-русски.

Ю. Маклейн

Russische Heiligenlegenden. Übersetzt und erläutert von G. Apel, E. Benz, W. Fritze, A. Luther und D. Tschizewskij, Herausgegeben und eingeleitet von Ernst Benz. 52 Abbildungen. Verlag die Waage. Zurich, 1953 (524 SS.).

В своем редакторском предисловии к этому сборнику житий русских святых на немецком языке проф. Эрнст Бенц правильно отмечает, что подобного издания не существует и на русском языке. Действительно, перед нами не просто перевод известных текстов, а ученый труд, большой и ценный вклад в русскую агиологию. Редактор сборника проф. Бенц является в настоящее время крупнейшим немецким специалистом по истории восточного православия, его перу

принадлежит ряд интереснейших исследований, одно перечисление которых заняло бы несколько страниц. Компетенцию проф. Д. И. Чижевского в области древнеславянской письменности вряд ли нужно доказывать русскому читателю. Его немецкая «История древне-русской литературы в 11-12 и 13 вв.», вышедшая несколько лет тому назад (Франкфурт н/М, 1949) уже признана классической всеми работающими в этой области. Среди участников настоящего коллективного труда он занимает первое место как по количеству написанных им глав, так и по научной ценности и оригинальности его введений в различные жития. Все другие авторы также специалисты по русской истории и литературе.

Книга открывается обстоятельным введением, в котором проф. Бенц дает общую характеристику русских житий и русской святости. Сами тексты распределены по пяти отделам: 1) «Древнейшие русские святые XI века», проф. Фритце (мученичество двух варягов-христиан, литература о свв. Владимире и Ольге, жития св. страстотерпцев Бориса и Глеба, похвала Ярославу Мудрому, преп. Феодосий Печерский и начало Печерской обители); 2) «Повествования о древних русских святых из Киевского Патерика» — здесь дано 12 полных глав из Патерика с интереснейшим введением и примечаниями проф. Чижевского; 3) «Древне-русские святые с 13 по 15 век» — свв. Александр Невский, Варлаам Хутынский, Прокопий Устюжский и Сергей Радонежский (проф. Чижевский, Фритце и Апель); 4) «Московские святые 16 и 17 веков»: преп. Максим Грек, св. Филипп Московский, святые юродивые и прав. Юлиания Лазаревская (проф. Чижевский и Лютер) и, наконец, в пятом отделе собраны «легендарные» или «сказочные» жития — св. Антония Римлянина, Иоанна Новгородского и др. (проф. Чижевский и Бенц). Как видно из одного этого перечня, мы имеем здесь настоящую историю русской святости в основных её памятниках, а также главных её «типах». А специальные введения, рисующие для каждого отдела исторический фон эпохи, связывают все эти тексты в одно целое и дают нам возможность проследить развитие русского религиозного сознания и древне-русской культуры вообще. Прибавим еще, что составители сборника не ограничились простым переводом житий, но проделали кропотливую работу по установлению их наилучшего текста, и таким образом настоящий перевод должен быть признан шагом вперед и в области литературно-критического изучения древне-русской письменности.

Не имея возможности остановиться подробно на многих интересных деталях, перечислить все вопросы, возникающие при чтении этого замечательного труда, позволим себе одно замечание общего порядка. Изучение России на Западе за последние годы сделало огромный шаг вперед. И всё же слишком часто оно бывает отравлено

и извращено либо систематическим «развенчанием»: всю русскую историю рассматривают как «введение» к большевизму, — либо зловредным мистическим туманом: «русская душа», «русская святость» принимаются на веру, как какие-то самоочевидные, извечные величины, позволяющие мерить всё совершающееся в России особыми, «русскими» мерками. Великая ценность таких трудов, как тот, о котором мы пишем, состоит в том, что они восстанавливают правильную историческую перспективу, возвращают «Святой Руси» всё ее земное, человеческое измерение. И это не только не умаляет ее духовной ценности, но напротив, заставляет видеть и ценить по новому всё многообразие и всю глубину древне-русского религиозного опыта. Составители сборника всё время отмечают зависимость этого опыта от Византии, от западного славянства, от общехристианского наследия. Русская святость, как хорошо говорит проф. Бенц, есть проявление не «русской души», а проявление «подлинно христианской, древнецерковной харизматической жизни», единой по существу во всех своих многообразных формах. Но эта жизнь была действительно усвоена лучшими представителями древней Руси, и этот опыт, конечно, лежит в основе всех лучших проявлений и достижений русской культуры. Так, устанавливая историческое преемство русской житейной литературы от византийской, русского религиозного сознания — от общеправославного, составители сборника заставляют нас лучше видеть и всю его подлинность, и всё его значение в сложной истории России.

Надо особо отметить прекрасные иллюстрации, которыми изобильно снабжена книга, а также подробные указатели имен и предметов. Для западного читателя эта книга надолго станет незаменимым пособием при изучении истории России и Русской Церкви. Но и русский читатель найдет в ней много нового и ценного материала.

Прот. А. Шмеман

*The Caine Mutiny*, by Herman Wouk. Doubleday & Co., NYC, 1951, p.p. 494, \$3.95.

Роман Германа Воука «Мятеж на Кэйне» имеет колоссальный успех. Уже сейчас разошлось более миллиона экземпляров и со списка «бест-селлеров» роман не сходит уже третий год. Казалось бы, трудно объяснить успех этой книги. Это произведение, в котором развивается лишь одна интрига, с сохранением единства места и времени. В «Мятеже на Кэйне» почти отсутствует «романическая» часть. И всё же, прочтя книгу, можно понять в чем секрет ее успеха.

Содержание книги в том, что избалованный сын состоятельных родителей, Вилли Кит, идет добровольцем во флот в последнюю войну. Идет он во флот, главным образом, потому, что в противном случае окажется призванным в сухопутную армию, а флот и авиация

считаются привилегированными видами оружия. После непродолжительной муштровки в школе Кит получает назначение мичманом на старый тральщик «Кэйн», на Гавайских островах. Назначение незавидное, так как вылавливание мин дело опасное и, в тоже время, малообещающее в смысле карьеры.

Первоначально, служба на «Кэйне» кажется Киту невыносимой, его третируют старшие офицеры, на добродушного Вилли наказания сыплются за наказаниями, но он мужественно, сжав зубы, выдерживает все испытания. Однако, положение осложняется, когда капитаном тральщика назначается командор Филип Куэг. Куэг, кадровый морской офицер, с самого начала превращает жизнь команды тральщика в ад. Он никому не спускает малейшего проступка, терроризируя и матросов, и офицеров. Кроме того, у него много странностей. Он обожает мороженое, и устраивает повальный обыск на корабле, когда из шкапа кают-компания исчезает блюдечко клубничной подливки. Чтобы выяснить — у кого есть ключ, которым можно отпереть шкап, обыскиваются все каюты и матросский кубрик, все офицеры и матросы. Куэг оставляет всю команду тральщика без воды на несколько дней только оттого, что один из младших офицеров, вопреки запрету капитана, рискнул умыться, когда запас воды становился недостаточным. Периодами капитан Куэг безвыходно сидит в своей каюте, а разговаривая с другими всегда вертит в руке два металлических шарика.

Помимо подобных чудачеств, капитан иногда обнаруживает патологический страх, кажущийся совершенно ненормальным остальным офицерам. Непосредственный начальник Вилли Кита, лейтенант Кифер, писатель в обычной жизни, внушает офицерам, что капитан Куэг — сумасшедший, вернее, что он находится на той неуловимой грани, которая отделяет здравомыслящего человека от безумца. Он убеждает в этом старшего офицера тральщика, лейтенанта Марика. И когда корабль попадает в страшный тайфун и капитан Куэг, утративший от страха контроль над собой, начинает отдавать неразумные приказания, Марик отстраняет его от командования кораблем, принимая на себя всю полноту власти. Его поддерживает Вилли, бывший в этот момент вахтенным офицером. В этом, собственно, и заключается акт мятежа. О происшедшем Марик докладывает командующему тихоокеанским флотом. Куэг отзывается в Соединенные Штаты, война заканчивается, и «Кэйн» возвращается в Сан Франциско. Там лейтенанта Марика и Вилли Кита ждет военный суд, так как медицинское освидетельствование показало, что командор Куэг психически совершенно здоров и что, поэтому, не было никаких законных оснований для устроенного Мариком мятежа.

Во всей истории постоянно переплетается две «правды»; одна — нормального здравомыслящего штатского человека и другая — кад-

рового флотского офицера. Симпатии читателя всецело на стороне язвительного и остроумного Кифера, добродушного и честного Вилли и простака Марика. Моментами кажется, что офицеры в военном суде по-человечески понимают «мятежников», — настолько несимпатичным выступает при судебном разбирательстве капитан Куэг. Но и судьи в трудном положении: «мятежники» — вчерашние штатские, которые с концом войны снова возвращаются в гражданскую жизнь, а Куэг — свой, кадровый моряк. Марика и Вилли на суде защищает талантливый адвокат Гринвальд, также офицер военного времени. Он проводит защиту с таким блеском, что подсудимых оправдывают. Осмеянный и опозоренный Куэг получает назначение в какой-то флотский склад.

После суда торжествующая компания офицеров отправляется в ресторан, где лейтенант Кифер, уже нашедший издателя для написанного им на «Кэйне» романа, дает торжественный обед в честь Марика и Вилли Кита. Приглашается туда и адвокат Гринвальд. И вот тут-то, на обеде, в длинной и не совсем связной речи пьяного Гринвальда, читатель впервые начинает понимать иную, «флотскую правду». Гринвальд доказывает, что Куэг, при всех своих странностях, не заслуживает ничего, кроме симпатии и сочувствия, а что зачинщик всей истории Кифер, подстрекавший Марика и других против капитана, ничто иное как трусливый интриган, совершенно не ценящий героической роли флотских офицеров, вынесших на себе всю тяжесть борьбы с гитлеровцами и японцами. В заключение, Гринвальд выплескивает в лицо Киферу бокал шампанского.

Может быть, один из секретов успеха «Мятежа на Кэйне» и заключается в том, что уже почти дочитав книгу и проникшись определенными симпатиями и антипатиями, читатель вдруг вынуждается к пересмотру всего, что уже сложилось у него в голове. Дочитав до конца, хочется вернуться к началу, прочесть книгу еще раз и разобраться, кто же, в конце концов, прав? Командир Куэг, как олицетворение, пусть дурное и одностороннее, флота, или «мятежные» офицеры из штатских, обладающие обычным здравым смыслом?

Хочется выразить пожелание, чтобы книги, подобные «Мятежу на Кэйне», хотя бы изредка выпускались Чеховским издательством.

*В. Петров*

*Вестник Института по изучению истории и культуры СССР.*  
Том 4-й. Редакция Б. А. Яковлева и М. А. Миллера. Мюнхен. 1953. (256 стр.).

Перед нами 4-й том трудов Института. В первом и втором отделах помещены статьи, сообщения и материалы; третий отдел посвящен критике и библиографии, четвертый — хронике (съезды,

конференция, заседания). Статья проф. А. Филиппова «Ленин и советская наука» посвящена теме опеки над духовной жизнью народа, что выражается в беспрекословном требовании *партийности* в философии, науке и искусстве. Ленин является столпом советской науки, а его произведение «Материализм и эмпириокритицизм» её основой и «бездной премудрости». А. Филиппов убедительно показывает, что это «гениальное» произведение представляет собой «сумбурную и невежественную» книгу, в которой отсутствует всякое понимание философских проблем. Трагизм того, что Ленин стал «учителем и вождем» многомиллионных масс, блестяще вскрыт Н. Бердяевым в его книге «Самопознание» (1949 г.): «Ленин философски и культурно был реакционер, человек страшно отсталый, он не был даже на высоте диалектики Маркса, прошедшего через германский идеализм. Это оказалось роковым для характера русской революции: революция совершила настоящий погром русской культуры».

В очерке: «О работе Сталина 'Экономические проблемы социализма в СССР'» Г. Ахминов дает анализ экономического и политического положения в СССР. Общие выводы автора: коммунизм — в тупике, и именно поэтому вожди СССР будут вынуждены искать выхода во внешне-политических авантюрах.

Свою статью: «Вопросы конструктивной антикоммунистической пропаганды» Л. Ржевский посвящает вопросу, в чем должна состоять эффективная антикоммунистическая пропаганда. Стремясь к воздействию на массы, тоталитарная власть «апеллирует прежде всего к человеческой подлости». В антикоммунистической пропаганде, говорит Ржевский, следует апеллировать к справедливости, к голосу совести, морали советского человека. Статья содержит ценные указания.

В очерке «Партизанское движение в СССР в годы второй мировой войны» Н. Галай, на основании ряда фактов, развивает тезис: советская «партизанщина» не была только военным средством, а являлась особым социальным явлением, питавшимся демократическими чаяниями и тенденциями социального равенства и справедливости.

Говоря об «Изменениях социального облика крестьянства в СССР», доцент А. Поплюйко рисует подробную картину жизни советского колхозника, сопоставляя его положение с положением крестьянина крепостной эпохи. Автор указывает на стремление советской власти добиться полной пролетаризации крестьянства, но выражает надежду на падение коммунистического строя до осуществления этого замысла.

Много интересного в разделе книги, озаглавленном «Сообщения и материалы» (стр. 87-162). Здесь помещены статьи об Урало-

Печорской железной дороге, о преподавании литературы в СССР, о славянах и их соседях в новейшей советской интерпретации, об историке С. Б. Веселовском, о том, как делается газета «Правда» и др. В этом же отделе опубликован список главнейших дат из жизни Сталина.

В отделе критики и библиографии (стр. 163-188) отметим рецензию Ч. Лисовского на книгу польского писателя И. Чапского «На бесчеловечной земле» (советская политика по отношению к Польше в 1939-1942 гг. и жизнь в СССР на основании наблюдений автора) и отзыв Г. Штакельберга о книге С. М. Шварца «Антисемитизм в Советском Союзе (Нью Йорк, 1952). Дан также библиографический указатель новой литературы об СССР и о коммунизме (86 названий).

3.

### И С П Р А В Л Е Н И Я

Указываем на необходимые исправления в кн. 33 «Н. Ж.». На стр. 279-й, строка 20-я сверху, пропущено слово «того» между словами «наблюдателей» и «что». На стр. 281-й, строка 3-я снизу, напечатано «деятельности» вместо «бдительности». На стр. 302-й, в заглавии книги П. Б. Струве год издания должен быть «1952», а не «1925». На стр. 304-й, строка 3-я снизу, между словами «последнего» и «может» пропущено слово «пробела».

*Ред.*

## “НОВЫЙ ЖУРНАЛ”

продается в Бразилии в магазине «Книга»

LIVRARIA “KNIGA”

rua SAO-BANTO, 217, I andar, sala 124

SAO-PAULO, BRASIL

Цена 30 крузейро

КНИГА 32-я. С о д е р ж а н и е: М. Алданов — Повесть о смерти. Н. Берберова — Большой город. И. Красуский — Берлога. Н. Федорова — Темная совесть. Вл. Корвин-Пиотровский — Бродяга Глюк (поэма). СТИХИ — В. Злобина, Д. Кленовского, С. Маковского, Ю. Одарченко, Н. Оцупа. К. Померанцева, Е. Таубер, И. Чиннова, Л. Яковлевой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: К. Мочульский — А. Добролюбов. Р. Менский — Н. Клюев. В. Вайнтрауб — Литература независимой Польши. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Протопр. Г. Шавельский — Вел. кн. Николай Николаевич. К. Кромпади — Сов. военнопленные в Германии в 1941 г. Подп. В. Ершов — Репатриация. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: А. Далин — Пути и зигзаги революции. Б. Гепнер — Маркс и Россия. Г. Аронсон — Сов. антисемитизм после войны. Н. Бердяев — Третий исход. М. Карпович — Комментарии. БИБЛИОГРАФИЯ: Вяч. Иванов — О дневниках Т. Л. Сухотиной. М. Вишняк — W. Reswick «I dreamt Revolution» и М. Новиков — «От Москвы до Нью Йорка». Б. Филиппов — А. Ахматова «Избранные стихи». М. Коряков — К. Mehner «Stalin versus Marx». А. Борман — *Rouet de Journal* «Monachisme et Monastères russes». Роман Гуль — Г. Иванов «Петербургские зимы» и Ю. Терапиано «Встречи». В. К. — Ch. W. Thayer «Hands across the Caviar». Н. Б. — Н. Ульянов «Атосса». Д. Анин — G. Akhminov «Puissance dans l'ombre». Ю. Иваск — Г. Струве «Русский европеец». Д. Кленовский — Г. Лахман «Пленные слова».

КНИГА 33-я. С о д е р ж а н и е: М. Алданов — Повесть о смерти. А. Величковский — Рассказы. Г. Газданов — Пилигримы. Ю. Марголин — Галя. СТИХИ — Георгия Иванова «Дневник», Марины Цветаевой, В. Злобина, И. Легкой, Л. Алексеевой, А. Васильковской. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: В. Вейдле — О религ. корне русск. искусства. Г. Кохановский — История янтарной комнаты Царского дворца. В. Завалшин — Съезд партии и «рецидив бурж. декаданса» в литературе. З. Юрьева — Новолунье (о поэзии К. Вежинского). ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Б. Погорелова — В. Брюсов и его окружение. Р. Березов — По сов. провинции. З. Гиппиус — Серое с красным. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Лосский — В защиту Вл. Соловьева. Е. Занкевич — Вл. Соловьев, как публицист. Д. Анин. — Франц. компартия и Ж. П. Сартр. Н. Тимашев — На карательно-террористическом фронте. М. Карпович — Комментарии. ПАМЯТИ УШЕДШИХ: М. Вишняк — Н. Д. Авксентьев. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: А. Тарсаидзе — День рождения Красной Армии. БИБЛИОГРАФИЯ: Ю. Сазонова — И. Бунин «Весна в Иудее» и М. Алданов «Живи как хочешь». М. Карпович — П. Струве «Соц. и эконо. история России» и В. Nolde «La formation de l'Empire russe». В. Филиппов — Иванов-Разумник «Тюрьмы и ссылки». Роман Гуль — Н. Нароков «Мнимые величины». Н. Тимашев — А. Гольденвейзер «В защиту права». В. Коварская — М. Kelly «Mirror of Russia». З. Юрьева — Н. Федорова «Семья». В. Булгакова — М. Chekhov «To the Actor». Ю. Иваск. — В. Яновский «Портативное бессмертие». А. Ш. — Вестник Русск. Христ. Движения. В. Завалшин — В. Пантелеймонов «Последняя книга» и С. Гусев-Оренбургский «Глухой приход».

